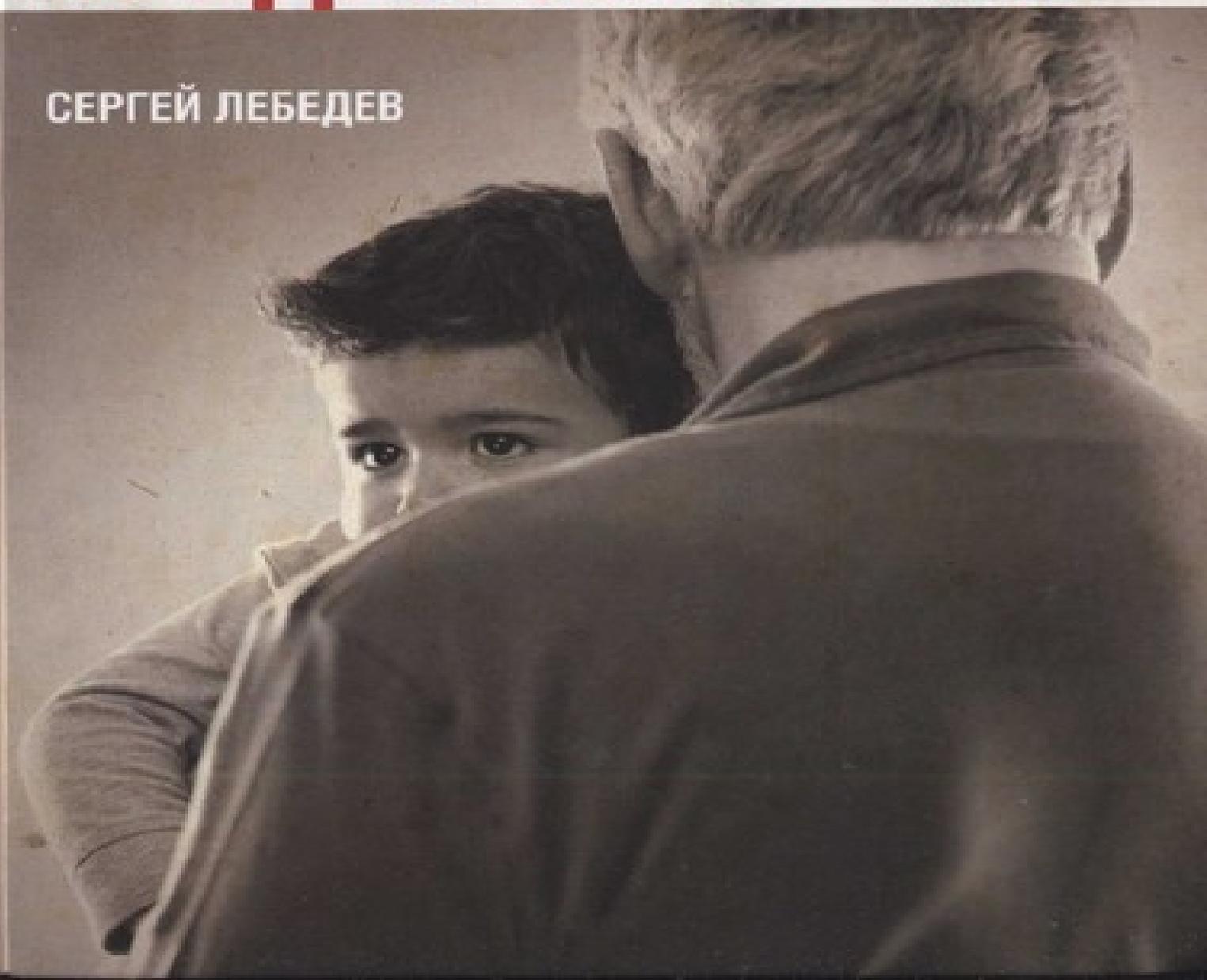


«Роман, который не забудешь... он звучит как та мучительнозвонящая музыка, которой создатели фильмов любят сопровождать триллеры. До отчаяния пугают и сжимают сердце судьбы людей, оказавшихся в памяти героя волею его загадочного деда. В этой книге есть мощная сила, словно слившаяся из мускул тысяч возводивших «стройки века».

Елена Колядина, писатель, лауреат премии «БУКЕР»

ПРЕДЕЛ ЗАБВЕНИЯ

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ



«Роман, который не забудешь... он звучит как та мучительнозвонящая музыка, которой создатели фильмов любят сопровождать триллеры. До отчаяния пугают и сжимают сердце судьбы людей, оказавшихся в памяти героя волею его загадочного деда. В этой книге есть мощная сила, словно слившаяся из мускул тысяч возводивших «стройки века».

Елена Колядина, писатель, лауреат премии «БУКЕР»

ПРЕДЕЛ ЗАБВЕНИЯ

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ





Сергей Лебедев
Предел забвения

*Не жилец этих мест,
не мертвец,
а какой-то посредник...*

Иосиф Бродский

Часть первая

Я стою на пределе Европы. Здесь каждый обрыв над океаном обнажает желтую кость камня и охряную, рдяную, схожую с плотью почву; кость крошится под ударами волн, плоть почвы пожирает прилив.

Океан же столь велик, что глаза не могут охватить его; кажется, он наваливается на смотрящего и вот-вот выдавит зрачки, как иллюминаторы, хлынет внутрь, целиком затопит разум. И только редкие мысли, словно острые вулканические пики Мадейры и Канарских островов, еще будут возвышаться над водами; это мысли о великом тяготении отсутствия, о пустоте горизонта, зовущих преодолеть их, воображением поднять из вод, словно Атлантиду, новый материк, где все неведомо, где пространство не знает компаса и циркуля картографа.

Здесь кончается Европа; берег убывает, словно континент съеживается, и ты впервые чувствуешь, что Мировой остров — не выдумка по-английски романтических геополитиков начала минувшего века; ты ощущаешь его границу, совпадающую с линией берега.

Ты прибыл сюда из тайги и тундры, чтобы увидеть Геркулесовы столбы, узнать мир, породивший атлантов, которые держат сумрачный небосвод твоей родины, вдохнуть из уст Гибралтара животворящий воздух легких Средиземноморья, — но встретил не средостение этого мира, а его край: для родившегося в России здесь по-прежнему предел ойкумены, как то полагали древние греки.

Этот предел заключает в себе вызов: только за подобными смерти безликими водами океана лежит новая, иная жизнь; суша, земля — постепенность, а океан означает перерыв постепенности, требует духовного усилия, великой цели, ради которой можно отрешиться от привычной твердости земли и ступить на зыбкую палубу.

Я стою на черте, с которой, казалось бы, можно шагнуть вперед, но для этого нужно было выйти на нее с легким сердцем и свободной душой. А мои душа и сердце полны памятью пространств, тяготеющих к Полярному кругу, полны их немоты, страждущей слова, полны выедающей глаза белизны снегов — белизны неприкосновенного

листа — и черноты, подобной глянцевиной, ждущей претвориться в жар пламени черноте угля, — черноты ночи, черноты шахты, где воздух обеднен дыханием и не знает рассвета.

Поэтому для меня, вышедшего на край света, цель лежит не впереди, а позади: мне предстоит вернуться. Мое путешествие закончилось, и должен начаться обратный путь — в слове.

Я ощущаю — это ощущение внезапно, хотя вызрело оно давно, — что я в большей степени европеец, чем жители этой страны, смотрящей в Атлантику, как балкон — на улицу.

Я был на другом краю Европы, который обрывается скальными уступами в болота Западной Сибири; видел темные задворки европейского континента, его финно-угорские чуланы, его тыл, его основание; я стоял в заполярных горах Уральского хребта, где сходятся Европа и Азия: на европейском склоне там растет лишь низкая, крученая ветрами полярная березка, а на азиатском — высокие, мощные, ломающие корнями камень кедры, и в небе над горами схлестываются грозные фронты с двух великих равнин.

Именно там, где жизненная сила Европы слабеет, где ее хватает только на ягель и лишайник, а из-за хребта грозит перелиться азиатское густолесье, густотравье — я впервые ощутил себя европейцем. В медленных, текучих схватках облаков я внутренне был с теми, что пришли с запада, со стороны Инты и Печоры; шов миров — Уральский хребет — научил меня узнавать свое и чужое, ведь на шве, на стыке обостряются чувствования, случаются не только духовные, но даже и физиологические озарения: ты гортанью, желудком, всей протяженностью кишок узнаешь, что пьешь сейчас неродственную тебе воду азиатской реки, и эта чужая вода не смешивается с той, которая уже есть в твоём теле.

Там, на середине хребта, размышляя или разговаривая, пробуя что-то записать, вдруг понимаешь: ты вышел на *край языка*. На азиатской стороне уже приходится прилагать некое усилие, чтобы называть предметы; они словно уклоняются от поименования. Или иначе — между именем и вещью возникает тонкая и тугая пленка сродни той «рубашке», которой окружен младенец в животе матери; здешние вещи как бы еще не родились для того языка, на котором ты говоришь. Язык может управлять ими, может вменять им названия, и они подчинятся, но тот, кто чувствует, жива или мертва речь, увидит, что это

лингвистическая колонизация. Пихта и сосна будут для тебя пихтой и сосной, но эти имена останутся чуждыми их сущности, которая требует каких-то иных созвучий и гармонично откликается только на них.

Край языка, окраина европейского мира; дальше — только плоскость болот Сибири. Здесь узнаешь, что такое действительная немота: ты можешь говорить, но мир не отзывается речи. И ты понимаешь, что твоя родина — твой язык; его достоинства, его ущербность — твои неотъемлемые достоинства и твоя ущербность; вне языка тебя не существует.

Я вспоминаю, как ранней, морозной весной был в одной деревне: избы, задавленные слежавшимся, серым снегом, отвердевшие следы валенок и полозьев на дороге; неохотное пробуждение после зимы — в воздухе дома еще растворены косматые, отдающие известкой и войлоком зимние сны.

В деревне недавно закрыли школу, там было слишком мало учеников. Здание, старый особняк, заколотили досками. Школа стояла на приметном взгорке, и деревня несколько месяцев жила с видом на покинутый, словно при отступлении, бывший помещичий дом.

В школьном палисаде торчал памятник космонавту, словно тот приземлился здесь и за ненадобностью в хозяйстве был поставлен на пьедестал, выкрашен серебристой, в тон скафандру, краской. В школе, несмотря на стужу, вымораживающую запахи, пахло сырыми обоями и мышами. У печи в коридоре сидел на табуретке сторож — человек из валенок, ватных штанов, телогрейки и ушанки; половицы скрипели, и казалось, что это мел скрипит по затертой доске; в замочные скважины можно было разглядеть парты и стулья — неуклюжие, тяжелые, под стать ученическим ранцам; на одной из парт лежала чертежная линейка, словно учительница забыла ее и еще придет.

Сторож сидел у печи; у стены лежали стопки истрепанных, изрисованных, сменивших много рук учебников — «Родная речь», четвертый класс. Сторож брал по книге, раздирал переплет, сминал страницы, чтобы лучше занялись в пламени, и бросал в печку. «Школу закрыли, — сказал он. — Дров не дают. Вот так и топим, разморозить-то нельзя. Библиотека большая, до апреля хватит».

Печь в закрытой школе топили *русским языком*. Как ненавидел ты в детстве эти книги, эти «вопросы к тексту», отчеркнутые параграфы

«проверь себя», этот увеличенный, нестрогий, закругленный, — как углы школьных парт, чтобы дети не поранились, — шрифт! И ты готов был рыдать, потому что теперь все это не имело никакого значения, как обида не имеет значения перед настоящим горем.

Там, в приволжской деревне, среди покрытых березовым подростом полей, я узнал, что значит для человека его родной — уже без кавычек, без школьной наставительности родной язык.

Березы, снег, дрова, небо, дорога, огонь, дым, мороз — я повторял про себя слова, которые помнил чуть меньший срок, чем помнил себя. Березы, снег, дрова, небо, дорога, огонь, дым, мороз — слова разрастались, слова были материальны, как материальна энергия; слова звучали симфонически, одно сквозь другое, но не смешивались, и мороз был морозен, огонь — огнен, дым — дымен; слова становились просвечивающимися, чуть плящимися, как чистое пламя, их фонетические оболочки теряли затверженную четкость, и взгляду представало чистое вещество значений — как пузырек воздуха в драгоценном камне, по-иному преломляющий свет.

Пузырек воздуха, который на мгновение, но старше самого камня — воздух уже был, когда минерал еще не возник. Вот этот малый вдох старшего воздуха, неотъемлемая душа слова — он и делал слово настоящим, причастным жизни и смерти, — так я увидел и почувствовал тогда, в заснеженной деревне, где белая крыша школы покрылась пятнами книжного пепла — учебники горели дымно и грязно, и пепел был металлически-сальным от густой типографской краски.

Я узнал, что русский язык — моя родина, мое отечество; те, кто населяет русский язык — мои сограждане, мои товарищи. И то, что я теперь пишу, я пишу не по праву памяти, а по праву языка; язык живет тем, что должно быть на нем сказано. Я вижу и вспоминаю; эти строки необходимы мне, как пианисту нужно коснуться клавиш, проверяя податливость тишины, прежде чем играть; за ними я слышу звук идущих из темноты букв.

Здесь, на пределе Европы, я вижу на пляже людей, прекрасных, как nereиды или дриады греческой мифологии, срачивавшей человека с животным или растением, чтобы получить бессмертное существо. В сугубо человеческой красоте есть уязвимость, предчувствие умирания, которые и определяют ее индивидуальность. А в красоте растения или

животного нет трагической ноты, родовое заменяет в ней индивидуальное. И купающиеся на пляже ближе к дельфинам или орхидеям: движение, цветение, покой, нега, отдохновение. Но едва скрывается солнце, они уходят и никогда не узнают, что в сумерках пляж слишком похож на помпейский прах — прилив разглаживает остывающий песок, смывая отпечатки бедер, локтей, ступней.

Я вижу игроков в гольф, бесконечно повторяющих урок Декартовой геометрии, урок артикуляции пространства, уловления его в сетку координат. Я представляю их посреди тундры с мячом и клюшками — и мне кажется, они застынут, пораженные: бывает столько пространства, что им нельзя обладать даже в воображении; они оставят свою игру, пойдут в разные стороны, чтобы убедиться, что видимое ими — не декорация, и никогда больше не сойдутся вместе, потому что там, где на квадратный километр, по данным статистики, приходится меньше одной сотой человека, они расщепятся на эти сотые, тысячные, станут погрешностью, затеряются, как третьи или четвертые цифры после запятой, которыми можно пренебречь в расчетах.

Я вижу кафе у океана, где каждый вечер крепчающий бриз спутывает обрывки разговоров на десяти языках, играет ими, словно синхронист-переводчик на конференции, включающий на громкую связь то французскую, то немецкую, то польскую речь, — и вспоминаю кладбище ссыльных, где так же смешивались разноязычные имена, которые произносил человек, по собственной воле ставший там сторожем. Не было ни крестов, ни оград, ни могил, только едва заметные ровики, заплывшие влажной весенней землей, над которыми он на память проговаривал имена. Чуждые этим местам созвучия падали в землю как семена, и казалось, будто это молитва, сложенная единственным выжившим, почти утратившим память и разум, чтобы вместить тех, кому не было иного приюта в мире.

Я вижу ровный асфальт шоссе — и вспоминаю северный тракт, который вел на золотые прииски. По нему катили вахтовые «Уралы» и «КамАЗы», вездеходы, бульдозеры, обочины его напитались соляным выхлопом, заветрились до маслянистой корочки, хрустящей под сапогом. Мощные машины шли поодиночке и караванами, из высокой кабины было видно, как разбегаются от шума моторов тундровые зайцы, взлетают куропатки, уходит, буровя воду, рыба вверх по ручьям;

казалось, что низинная, рождающая лишь чахоточные деревья, эта местность замирала при виде рубчатых колес и лоснящихся бульдозерных ножей, готовых растоптать мхи и ягодники, вспороть тонкую почву.

Но вдруг за крутым спуском открывалась Царь-Лужа — так ее называли все шоферы. Одни говорили, что это место проклято шаманами, мстившими за то, что в священной горе пробрили штольни на золото, другие — что здесь был олений мор, третьи — что в пургу тут замерз целый этап, несколько сот арестантов, которых гнали на прииски в сороковые годы. Вообще-то шоферы были народ тертый, несуетливый, не верящий ни в Бога, ни в черта, но человеческий разум и в самом деле не мог справиться со зрелищем Царь-Лужи: казалось, что это место отмечено особой печатью, у него есть свой страшный и мстительный характер, спящий зимой и в летнюю сушь, но просыпающийся, когда тает снег или идут затяжные дожди.

Объехать Царь-Лужу было невозможно: длинная полоса заболоченной земли, напитанной водами тающей вечной мерзлоты, тянулась между двумя грядами холмов на сотню километров. И когда машины тормозили, не доезжая до края Царь-Лужи, взгляду представала драма места: земля окрест будто ходила ходуном, все было залито гниющей, ржавой водой, из которой торчали измочаленные гусеницами, растерзанные в щепу бревна и доски, исцарапанные железом камни, раздавленные бочки саперных понтонов, которыми кто-то пытался замостить Лужу, исчезающие островки гравия и песка — следы попыток сделать насыпь через земляную прорву. В стороне выступал из болота теряющий последнюю краску череп тракторной кабины, высилась погнутая стрела подъемного крана. А по берегам Лужи рос диковинный лес: десятки вбитых в землю железных труб и бетонных свай, часть из которых была выворочена, — на них набрасывали петли лебедок с застрявших машин. Тут же валялись разлохмаченные, каждый с десятком узлов, лопнувшие тросы, не выдержавшие мертвой хватки Лужи. Если подойти ближе, ступая осторожно, чтобы сапог не ушел в подсохшую клейкую жижу, можно было увидеть остатки малых драм, отчаянных попыток переправиться, когда на приисках вставала работа; нужны были топливо, взрывчатка, еда, а в аэропорту непогода прижимала к бетонке вертолеты, и начальство снаряжало в путь две-

три машины, суля шоферам все, что те попросят, лишь бы груз был доставлен по назначению.

Так возникла среди шоферов каста знатоков Лужи, северных авгуров, гадавших по уровню воды, по звериным следам на поверхности Лужи — считалось, что лось или косуля выберут самый сухой путь; одни уезжали в сторону, чтобы рискнуть в новом месте, их машины долго потом тянули тракторами на берег; большинство же пробовали переправиться по старой колее. Следы этих переправ и были видны с края Лужи: рассыпанные консервы, вдавленные колесами ватники, доски с бортов машин, жесь, которой обивались вахтовые фургоны, скамьи, печки — все бросалось в колею, чтобы машина шла, и все неустанно поглощала Лужа. Иногда Лужу вспучивало, на ее поверхности появлялись истлевшие, переваренные соками земли вещи-мертвецы; словно подавившись, Лужа исторгала из себя брезент, шифер, буровые трубы, прикипевшие друг к другу, спаявшиеся в гигантские подобию выкорчеванных пней, выплевывала мусор, выкинутый в нее, бутылки, пакеты, выдавливала с комом земли скелет лисы, польстившейся на объедки, и снова за день или за два заглатывала исторгнутое.

Когда караван подходил к Луже, шоферы долго курили, а пассажиры расходились по сторонам: Лужа странно притягивала к себе, заставляла смотреть и смотреть, как извергающийся вулкан или водопад. Влажное, зыбучее, приемчивое естество земли открывалось в ней; глотка без рта, распаханное отверстие лоно, Лужа не смотрела на людей, а, наоборот, вбирала взгляды, как вбирала человеческие усилия и труд машин. Казалось, у Лужи нет дна, иначе на ее месте давно уже возникла бы гора бревен, песка и гравия. И там, в глубине, медленно двигались в течениях жидкой земли утонувшие тракторные гусеницы, колеса машин, бочки, тросы, домкраты, доски, лопаты, ломы, шланги насосов, промасленные телогрейки и рукавицы — целый погребенный космос предметов, в чьей строгой форме человеческий разум воплотил все, что мог противопоставить отрицающей форму стихии Лужи, воплотил, бросил в бой — и отступил в бессилии, а утроба Лужи лишь разбухла от проглоченного.

Я вижу овчарку, которую мужчина ведет на поводке по набережной; псу жарко, он неловко ступает по горячим каменным плитам, ошалело дышит, высывая розовый, с лиловыми прожилками

язык; он жалок, этот пес, перекормлен и стар, привычен к ошейнику, равнодушен к обрюзгшим голубям, ищущим крошки в стыках плит, но мне его не жалко: я помню других овчарок, помню тягучую, густую слюну, повисающую на верхних клыках, розовеющее, ребристое, как разрубленная туша на прилавке, нёбо в пасти, помню лай, в котором уже нет ничего собачьего.

Обычно звук лая, каким бы остервенелым он ни был, напоминает о городском сквере или деревенской улице — по дальним отзвукам собачьей свары, слышным в лесной, болотной ночи, понимаешь, что где-то близко жильё, люди, ночлег. Но лай конвойных овчарок — не лай перебранки, схватки, бега, охоты. За арестантом не нужно гнаться, он отдан в полную власть собаке, однако в закатившихся от натуги глазах, в комках звуков, рвущихся из глотки, комках, похожих на сдавленные зародыши слов, есть такая степень ненависти, в которой животное восходит уже до человеческого чувствования; человеческая — по природе чувства — ненависть, привитая псу, оказывается больше и сильнее его самого, и он должен выместить ее на арестантах: если он не успеет это сделать, ненависть разрушит слабый разум, разорвет голосовые связки, сведет челюсти. И оттого лай конвойных псов, даже если он негромко разносится в дальнем углу железнодорожной станции, где по коридору выстроены в две шеренги солдат с собаками перегоняют из машины в вагон зэков, — лай этот сразу напоминает о желтоватых, словно прокуренных, клыках, о ненависти, разделяющей человека и животное глубже, чем человека и человека, потому что животное идет в ней до конца, до самоутраты, до хруста сухожилий и позвонков; о ненависти, выплеснутой с лаем в воздух тысяч мест, никуда не девшейся, живущей в собачьем и человеческом потомстве, впитанной со скудным молоком, с мозгом разгрызенных костей.

Я вижу рыбаков, кончики их больших спиннингов светятся в сумерках, словно они ловят на это зеленоватое свечение летучих рыб; после ловли рыбаки идут в ресторанчик на берегу, выпивают пива или вина, пока рыбу потрошат и чистят на кухне; особенно хорошо идет к ней местное белое вино в бутылках из голубоватого стекла, чистое и легкое, чуть горчащее; это вино не опьяняет, не будоражит, не тяжелит, а словно омывает чувства.

Ты делаешь плоток этого вина, и женщина, которую ты встретил и полюбил здесь, мягкие пути постельного белья, дважды соленый — от морской воды — пот, рыжая пыльца бесстыдных пальмовых соцветий на ее коже — все это отдаляется, и само желание вдруг становится почти бесполой нежностью, ощущением, что она — лишь сосуд своей жизни, недоступной для тебя. Ты смотришь уже не на нее, а на то, как живет в ней ее жизнь, незнакомая, может быть, и ей самой; как отливает и приливает кровь, брезжит румянец, курчавятся волосы. Эта повседневность ее тела становится для тебя драгоценна и необходима; хочется взять ее за руку, чтобы почувствовать пульс: биение сердца, зародившегося в теле ее матери, возникшего из ничего, из нескольких клеток.

Ты знаешь, что ближе, чем она, у тебя никого не было; но и она — не близка. Приносят рыбу, ей — дораду, тебе — рыбу-меч, потому что мясо рыбы-меч не похоже на рыбе; у него крупные волокна, оно выглядит как выбеленная говядина, и только поэтому ты можешь его есть. И ты мог бы рассказать ей, почему ты отводишь взгляд от ее тарелки, пьешь вино и глядишь в океан, и она — чувствующая, понимающая — почувствовала бы тебя и поняла бы, но все равно это был бы лишь рассказ; есть та конечная определенность опыта, которую невозможно разделить.

Поэтому ты следишь за рыбаками на берегу, смотришь, как дрожат и гнутся спиннинги, когда они тянут рыбу на берег, и в этих изогнутых тонких хлыстах угадываешь так же гнущиеся ветви дикой смородины на берегу северной реки, отягощенные бледными, розоватыми на просвет, водянистыми ягодами; в каждой ягоде, пронизанной белесыми жилками, зреют слабые зерна, а лист смородины уже вянет, хотя еще зелен. Речная вода купает листья и грозди в стремнине, дальше прозрачность переходит в темноту и в объем цвета: там омут, вода кружит медленно, густо, и на ее поверхности держатся, словно следы от капель, упавших в отвердевающий расплав стекла, легкие круги — хариусы хватают насекомых.

Лето течет под уклон, крепнет ранняя темь, холодеют утра, и ветер бросает легкокрылых стрекоз на воду, словно выметает сор — чешуйки, крылья — из проема между оконных рам; хариус — рыба смерти, речной охотник — глотает мух, комаров, стрекоз, чтобы вскоре уйти вниз по течению, забиться в донные ямы, замереть в снулом сне

до весны; радужные крылья всплескивают, и сквозят в воде радужные рыбы тела.

Привал. На шесте исходит паром котелок, готовится уха; хариус нежен, его нельзя варить долго. И как деликатес — свежее рыбье мясо, перетертое с солью и перцем, протомленное под гнетом, отдающее сок. Но потом вы идете маршрутом вдоль реки, тропа перескакивает с берега на берег, и на одной из переправ кто-то наступает ногой на человеческий череп, застрявший среди камней, поросший осклизлой зеленой тиной.

Череп. Череп в воде. А выше по течению — подмытый обрыв, черная торфяная туша. В торфе — еще черепа, кости, полуистлевшая, дряблая, как пролежавшая зиму под снегом клюква, плоть; лагерное кладбище, которое начало размывать, когда река сменила русло и ушла в новую протоку. И тебя рвет съеденной рыбой, в мясе хариуса — эта плоть, и ты уже — людоед, и все вы — людоеды, потому что ели эту рыбу, пили эту воду, в которой растворены умершие. Тебя тошнит, но нечистота не проходит, она в твоём теле, в твоей крови навсегда.

И ты проклинаешь спиннинг, леску и насадку, в твоей губе теперь торчит крючок с «бородкой», ты проглотил блесну, разрывающую кишки. Рыбы скелетики, выброшенные в реку, и человеческие кости — ты вдруг осознаешь, что всегда был звеном в цепи поглощений, память твоя служила орудием убийства: в ней было слишком много тебя самого, и своей жизнью, полнокровной, сильной, ты как бы настаивал, что нет скорби, нет урона бытию — жизнь все преодолеет, все изгладит.

И тогда ты понимаешь, что смертное причастие принято тобой сейчас не случайно. Через него, как через вновь обретенный дар зрения, ты видишь свое тело, свою память, свою судьбу как предуготовление: наследство крови, наследство воспоминаний, наследство чужих жизней — все жаждет слова, ищет речи, ищет до-исполниться, случиться до конца, быть узанным и оплаканным.

Ты видишь и вспоминаешь; и этот текст — как памятник, как стена плача, если мертвым и оплакивающим негде встретиться, кроме как у стены слов — стены, соединяющей мертвых и живых.

Часть вторая

Летние дни, долгие, просторные, как анфилада светлых комнат; дни, когда в природе ни в чем нет убытка, сон краток, а пробуждение наступает с рассветом — летние дни, лето жизни!

Осенняя память вбирает угасание природы, переход от объема листвы к пустоте облетевших лесов, и это развоплощение продолжается в ней, словно ее силы подточены болезнью.

Темнота зимних дней умножает лакуны памяти, оставляя ей круг света настольной лампы; от одного воспоминания до другого нужно идти, словно по снегу от деревни к деревне, увязая, сбиваясь с дороги, только слухом улавливая путеводную нить — гудение проводов.

Память весны робка, не уверена в себе самой, похожа на сны выздоравливающего, ломкие, как лед утренних заморозков, не подкрепленные еще силами тела.

И только память лета говорит: запоминай, все это было с тобой и уже не повторится, но в воспоминании всему найдется место; запоминай — вот синяя гроздь дельфиниума, клонящаяся от густоты цвета, вот дымчато-сизые ягоды можжевельника, пахнущие смолой, чистым древесным потом, вот бабочка-поденка, летящая безвольно, словно ветер несет клочок белой ткани; запоминай — и это будешь ты: дельфиниум, можжевельник и бабочка, они станут оснасткой твоих чувств и мыслей, помогут тебе, когда чувство будет искать слова, а мысль — образа. Запоминай — в полноте присутствия в жизни, и эта полнота сохранится в тебе, большее возродится через меньшее — бабочку, можжевельник, дельфиниум.

Август — месяц твоего появления на свет; ты был рожден в лето, и мир предстал тебе летним. Была жара, градусник тянулся к отметке тридцать шесть и шесть; тепло тела совпало с температурой воздуха, и ты, наверное, почувствовал, что мир принимает тебя.

Тот младенец, что смотрит на фотографиях из коричневой и желтой, в клетку, коляски, смотрит, еще не принадлежа целиком жизни, — такое выражение лица бывает у зрителей в кино, поддавшихся впечатлению, но не могущих участвовать в происходящем на экране, — тот младенец, думаю, помнит первые

мгновения бытия с благодарностью. Они стали чувственной основой любого другого воспоминания, привносящей в него, каким бы оно ни было, уверенность, что жизнь все-таки обращена к человеку светлой стороной, что он ей небезразличен. И даже если он оставлен ею — это как морской отлив, когда притяжение небесных тел уже возвращает за горизонтом волну прилива.

Август — в августе ты упал, взобравшись на ручку коляски, рухнул вместе с ней на камень; кровь брызнула из разбитых губ, рот обратился раной, молочные зубы выкрошились, ты ощутил боль, которая на годы вперед обернулась косноязычием, металлическими дужками брекетов, хранящими железный привкус крови; боль, исковеркавшую, парализовавшую речь, будто любое слово протискивалось через прутья ее решетки. Однако увечье не превратило тебя в изгоя, как это часто бывает среди детей; наоборот, благодаря ему ты стал старше своих сверстников. Но причиной тому были не боль, не перенесенные страдания, которые иногда делают взрослее.

Не выговоренные, не прозвучавшие тогда, когда их хотелось произнести, слова накапливались в тебе; другие дети собирали машинки или, кто постарше, почтовые марки, а ты стал коллекционировать слова. И как прямоугольник марки означал для кого-то обещание иной жизни, в которой есть другие страны, слава и свершения, настолько великие, триумфальные, что лицо героя, излучающее в пространство его портрет, запечатлелось и на марках, на самых малых частях мозаики мира, — так ты в любом слове ощущал отсвет той большей жизни, из которой оно пришло.

Именно этот, настоящий и глубокий, возраст, сокрытый под внешним возрастом детства, возраст молчания и жизни среди слов, разговоров — со словами, сделал возможными все те понимания, которыми двигалась в детские годы моя судьба.

На моем рождении настоял человек, которого я буду звать Второй дед — так я про себя звал его в детстве; разумеется, у него были имя, отчество и фамилия, но они несущественны; детское восприятие точно уловило прикрытую вежливостью чрезвычайную отчужденность этого человека. Он не то чтобы держался отстраненно, был замкнут, дело было не в поведении и характере; он был отчужден от жизни почти что в юридическом значении слова и лишь вследствие этого отчужден и от людей. Все, что происходило в настоящем времени, происходило не с

ним, а по касательной к нему — но не от отсутствия восприимчивости, а оттого, что он как бы уже прожил жизнь, существование оказалось длиннее судьбы, и ни одно событие не могло теперь его затронуть; на всех событийных чертежах его фигура была как бы выпущена, словно он был наказан — оставлен — отрешен.

Второй дед был слеп. Слепца трудно описать внешне, незрячие глаза не просто лишают человека одной из привычных деталей облика — они создают ощущение, что изъян этот больше, чем изъян во внешности и в органах чувств, что слепой недееспособен и в каком-то ином, чем ориентация в пространстве, отношении.

Глаза — что-то невероятное для гладкого, плотного, непроницаемого, как стена, человеческого тела; они кажутся сгустками энергий другого рода, чем те энергии, что обретаются в крови и мышцах. Там — кровяные тельца, формулы расщеплений и превращений; в глазах — что-то на порядок более тайное при всей их очевидной открытости. Время есть свет, как говорят физики, свет входит в человека через глаза; может быть, они есть орган времени.

Тот же, кто слеп, как бы потерял во времени, не совсем определенно присутствует в каждом мгновении; и эта потерянность делает несколько смазанными внешние его черты, будто человек двинулся, когда его фотографировали.

Поэтому Второй дед не задерживался в сетчатке смотрящего, просачивался сквозь нее, оставался смутным силуэтом; ты скорее запоминал его профиль, чем фас, он всегда словно оказывался повернут боком, чем-то заслонен, находился будто бы в толпе, среди кого-то, даже если был один; запоминалась одежда, может быть, разворот плечей, что-то из походки, но все это не создавало цельного портрета.

Сейчас, пытаюсь представить его лицо, я вижу какие-то моменты воспоминаний, в которых оно обязательно должно быть, вижу фотографически точно, но лица там нет; оно словно засвечено. Я могу перечислить внешние приметы — среднего роста, худощавый, седоволосый, но ключ к описанию лежит не в них; скорее — в том слое восприятия, где впечатление уже не связано напрямую с тем, что мы видим.

Второй дед — только так; когда ты произносил его настоящее имя, тебе казалось, что ты бросаешь записку через вспаханную следовую

полосу, какие опоясывают границу, но записка всегда не долетает, падает на полдороге; ты зовешь человека по имени, но звук этого имени не порождает между вами никакой сцепки, никакой близости; анонимное числительное — Второй дед — отвечало действительному твоему ощущению.

Второй дед не был мне родственником; сосед по дачному участку, слепой старик-садовод. Всю прошлую жизнь будто бы стянутый жестким контуром армейского или какого-то другого кителя, он носил теперь только мягкие, следующие вольности тела льняные ткани; он ослеп давно, за десятилетия до моего рождения; он как бы прошел сквозь свою незрячесть, сквозь привычки, закабаляющие слепца в его слепоте, и был свободен в неспособности видеть; он свел свою жизнь к нескольким маршрутам, главный из которых был из дома на дачу и обратно, в быту положился на домработницу — и с годами на слухе и осязании сотворил в голове образ того усеченного пространства, которое отвел себе для обитания.

По сути, он жил на нескольких островах, где была твердая почва знакомых звуков, запахов, осязательных ощущений; он жил, можно сказать, среди этой почвы, воспринимая ее всем телом, опираясь на нее, и в этом смысле его положение было даже устойчивее положения зрячего. Единственное, что для него было опасно — новизна.

Новый мосток через канаву, новая дверь в подъезде, сменившаяся остановка автобуса разрушали тот муляж, который Второй дед вылепил из звуков и телесных впечатлений; для зрячего это разрушение незаметно именно как разрушение, он видит лишь перемену, а слепой ближе к истинному пониманию вещей: новизна — это смерть, обновление — убийство; и поэтому, хотя и не только поэтому, Второй дед относился к прошлому серьезнее, чем другие люди.

Кем был Второй дед раньше, никто не знал; на дачных участках уже почти не осталось старожилов, которых можно было бы расспросить. Дачная жизнь располагает к знакомствам, к коллекционированию биографий и местных знаменитостей, — а это дача такого-то! — но Второй дед всегда существовал вне этих расследований.

Он казался привлекательно неинтересным: на его фоне каждый казался кем-то чуть более значительным, чем был на самом деле;

Второй дед представлял собой идеальную выгородку, размытый задник сцены, апофеоз незаметности — не скромности, не умения остаться в тени, а именно незаметности; скромность и умение не выпячивать себя — отличительные черты, а он как раз не имел отличий.

Не мимикрия, не маскировка, а всеядность существования, полная ко всему приемчивость, незаметность как производная от неспособности или нежелания хоть как-то обозначить себя, через слово или поступок проявиться в определенности собственных черт. Второй дед словно бы жил так, чтобы никогда не обратить на себя внимание жизни, и достиг в этом почти монашеского совершенства.

Старший бухгалтер какого-нибудь треста; остаток привычки управлять проявлялся в нем, но уже совсем слабо, когда он по-особому важно садился за стол, взвешивал в пальцах ручку, чтобы расписаться на квитанции; казалось, что глаза его за дымчатыми очками съела цифирь. И только кое-кто из деревенских стариков — дачи стояли там, где когда-то была грибная опушка леска за деревней — говорил, что Второй дед вовсе не бухгалтер. Деревня дает другое зрение на людей, другую чуткость к судьбам, чем город, там по-другому чувствуют причастность человека к государству, будь он в прошлом лишь почтальон или лесничий, — и старики считали, что Второй дед «с душком»; «казенным сапогом пахнет». Впрочем, деревенские далеко в своих предположениях не шли — милицейский счетовод или хозяйственник; казенный сапог, по их мнению, пах слабовато.

Но дачники судили мерками не города даже, а дачной жизни. Обладание дачей в те времена и среди тех людей воспринималось как своего рода амнистия, отпущение прошлого, каким бы оно ни было; не мнимых или действительных грехов, а прошлого как такового.

Прошедшая жизнь становилась угощением, которое можно подать как нечто необременительно вкусное к чаю, к вечерней беседе; на дачах поселялись жить, чтобы пересмотреть память, в ретроспективном взгляде переустроить ее, тщательно и разборчиво увериться в доброкачественности прожитого. Дачники чувствовали неопределенное сходство судеб, сродство отношения к жизни; оказавшись в соседстве друг с другом, они внезапно обнаружили себя как общность: им всем было что забывать, что подчистить в прошлом;

и дачное существование в этом смысле воспринималось как другая — следующая за уже прожитой и отдельная от нее — жизнь.

Вряд ли среди того, о чем они хотели бы не помнить, были нравственно непоправимые поступки. Нет, скорее само положение средней руки начальства, предполагавшее чуть большую нравственную конформность, чем та, которую человек может проявлять, не вступая в объяснения с самим собой, — вынуждало их теперь приосаниться, преобразиться в моложавых стариков, которые неизвестно как стали стариками, — стариков пустых, от которых веяло чрезмерным вниманием к телесному, какое бывает у атлетов. Они были теми абстрактными «пожилыми людьми», которым надо уступать место в электричке и автобусе, картинкой к соответствующей строке в правилах проезда.

И конечно, вопрос, кем когда-то был Второй дед, просто не мог прозвучать в этом кругу — звук не встретил бы воздуха; там все были приличными людьми, и это словосочетание — приличный человек, не достойный, не хороший, а именно приличный — было высшей дачной похвалой. В сущности, это и объединяло всех дачников: они сумели выйти из непростого времени приличными людьми — то есть людьми, о которых в силу разных причин никто не скажет ничего дурного.

На первый взгляд дачи были оазисом, островком умиротворения, спокойствия, дружелюбности. Но дети — дети чувствовали, что все это показное, напускное: нас слишком жестко и ревностно воспитывали, не зная ни прощения, ни пощады в нравственных вопросах. В головах у взрослых была четко очерченная область затмения, и если это затмение наступало — украл, солгал, не выполнил обещания, то наказание было столь несоответствующим — не по жестокости, а по готовности отказаться от сына или дочери, мгновенно стать им чужими людьми, — что казалось, будто это не ребенок, а враг, обманом проникший в семью, подменыш из роддома.

Родные разыгрывали целую сцену: наш ли это сын? наша ли это дочь? И я помню, как один мой товарищ, восьми лет от роду, не выдержав этих вопросов, — разбиралось дело о краже слив, — вдруг подступил к своим родителям и стал громко, в голос, твердить: я ваш сын! я ваш сын! я ваш сын! — и они отступили, они не знали, что делать с мальчиком, трящимся, потерявшим расстегнувшуюся сандалию, кричавшим без злости, без упрямства, с внезапной

твердостью слабого: я ваш сын! я ваш сын! я ваш сын! — они, взрослые, боялись в этот момент восьмилетнего ребенка, стояли, мать, отец и хозяин сада, пока мальчик не сник, не забрался в канаву и не заплакал.

Детей словно бы готовили для жизни, в которой каждый проступок плох не сам по себе, а потому, что он бросает тень на родных, заставляет присмотреться к ним — кто вырастил ребенка таким? — а родные очень не хотели бы, чтобы к ним присматривались; в результате возникала выморочная нравственность, и все пропиталось взаимным корректным двуличием: призыв не лгать, сопровождаемый страхом, только умножает ложь и заставляет ухищряться в ней.

Детство на тех дачах — их давно уже нет, они стали пригородом, поменялись дома, обновились, стали глухими заборы, — детство было школой двоедушия; я не могу в полной мере отнести это к своей семье, к семьям некоторых из моих товарищей — но общее поле отношений было таким. Каждый из нас, дачных детей, в той или иной степени вел двойную жизнь; и речь не о потайных проказах, нарушении запретов, умолчаниях и вынужденной скрытности. Мы — каждый по-своему — были преданы родными, слишком ясно видевшими каких-то других детей, которыми мы не были, но должны были стать.

Впрочем, я-то благодарен детству; если бы не усиленная почти до шизофрении наука раздвоения личности на того, кто был сыном, внуком, племянником, сыном друзей, мальчиком-с-участка-напротив, и на себя самого, я бы не стал тем, кем я стал; и уж конечно я бы не смог разглядеть, уловить настоящую натуру Второго деда.

Однажды — я забегаю вперед — я понял, наивно, по-детски, что взгляд — это зеркало; мы видим не людей, а то, как люди отражаются в нас; мне казалось, что я открыл тайну и оставалось только уяснить, как же пройти за собственный взгляд, как увидеть то, чего, по идее, ты видеть не можешь.

И вот, обдумывая это, я начал играть со своей тенью: старался встать так, чтобы по ней нельзя было узнать, что ее отбрасываю именно я; подходил к яблоневому пню, бочке, пугалу, втягивал голову в плечи, прятал руки, стараясь, чтобы моя тень повторяла их тени; играл несколько дней, выбирая время вечером, когда тени четче, гуще и длиннее, играл бездумно, не замечая времени. И вдруг, уже устав и только дурачась, обернулся — и замер: у меня была *не моя* тень. Я

упустил момент подмены и теперь стоял, боясь двинуться: а что, если и движение не поможет, если эта чужая тень повторит его, оставаясь чужой? Однако замер я очень неудобно, переступил ногами, едва успев зажмуриться, а когда открыл веки, увидел, что тень — моя.

Игра приобрела теперь опасный смысл: я сознательно искал то состояние возбужденного забытья, в котором настолько заигрался, отдался движениям, последнему солнечному свету, что на мгновение потерял сознание и оказался чужд сам себе; обрел не свою тень.

Правда, больше я этого состояния не испытал; тогда я стал изучать тени взрослых — это было уже не забавой, не игрой, а неким ходом познания. Мне казалось, что тени их различны не только по очертаниям: тень отца была много больше его, и когда он гасил свет в комнате, пожелав спокойной ночи, мне чудилось, что тень осталась здесь, растворенная в темноте, разросшаяся и грозная, она следит, вправду ли я сплю. Тень матери была текучая, музыкальная в очертаниях, казалось, коснись ее — она отзовется певуче, как виолончель; бабушкина — мелькающая, как шерстяная пряжа, как вязальные спицы, — добрая тень.

Но тень Второго деда я так и не смог прочувствовать; она не отзывалась воображению, сколько я ни старался что-то уловить в ней; нельзя сказать, чтобы она была заурядной, обыкновенной, не содержащей зацепки для фантазии; мне казалось, что Второй дед знает, какова его тень, управляет ею, следит, чтобы она не сказала о нем лишнего, постоянно поддегивает ее, как длинную полу плаща.

Впрочем, это сюжет на опережение; мне нужно было лишь пояснить обстоятельства детства и всю завязку дальнейшей истории — истории постепенного вхождения Второго деда в нашу семью, моего рождения и моих с ним отдельных и особых отношений.

Дачный участок моей семьи соседствовал с участком Второго деда; ограды между ними не было, заменой ей служила труба водопровода, и как-то сразу получилось, что люди, продавшие нам дачу, передали с ней и добровольную обязанность заботиться о Втором деде. Вся разделенность дачных участков, отсоединенность соседей держится на зримых приметах — на изгородях, на трубах, как то было у нас; что же спросишь с незрячего? Так и вышло, что преграда не сработала, и отношения со Вторым дедом переступили грань соседства.

Насколько я могу судить, очевидного интереса в сближении для Второго деда не было; слушателей он не искал, в товариществе не нуждался; все произошло будто само собой, Второй дед даже тонко делал вид, что вынужденно уступает соседской общительности. Теперь я думаю, что для Второго деда сближение было пробой: он десятилетия жил замкнуто, отживая прошлое, и впервые рискнул близко сойтись с незнакомыми людьми, чтобы их глазами, их чувствами поверить, насколько хорошо упрятано все, что должно было быть упрятано.

Впрочем, это слишком простое объяснение; причин было больше. Здоровье Второго деда было прекрасным; природа, отняв зрение, словно на долгое время исчерпала этим причитающийся ему телесный ущерб, и возрастные хвори миновали его; только кости ломило к непогоде — когда-то он, видно, обморозился, и теперь организм загодя упреждал о холодах; однако Второй дед искал — и нашел в моей семье — людей, среди которых он мог бы умереть; и искал он в первую очередь не надежности, не помощи «в случае чего», а щепетильности к чужим секретам.

Он выстраивал отношения — но не для жизни, а для отложенной пока смерти; этот ракурс, этот поворот дела было сложно заметить изнутри отношений, и я могу судить о нем лишь в памяти. Второй дед не то чтобы вошел в семью, не то чтобы навязался в иждивенцы — наоборот, он старался не быть в тягость, не напрашиваться на близость, и все это без подчеркнутости, без искусственности, без упора на жалость. Но была в этом какая-то наигранная достоверность театральной роли, когда актер не допускает даже малейших отступлений от избранной методы.

Конечно, так может вести себя и человек, безукоризненно благородный в помыслах; однако он был бы естественен в своем благородстве, а поступки Второго деда всегда казались несколько оторванными, отъединенными от него самого: ими управляло только намерение, а не внутренняя невозможность поступить иначе.

Впрочем, это ремарка из последующего времени — тогда так никто не думал; наоборот, насколько я могу судить, в семье говорили о Втором деде как о человеке искреннем, пусть и замкнутом.

Второй дед умел быть полезен — взвешенным советом, нужными сведениями; с ним появлялось то ощущение добротности жизни,

которое возникает, когда рядом человек, многое испытавший, приноровившийся существовать среди трудностей. Оба моих родных деда погибли в войну, и Второй дед постепенно занял место старшего мужчины в семье, хотя сам себя к семье открыто не причислял; он не претендовал на это место, не старался вытеснить память о родных дедах, наоборот, относился к ней уважительно. Медленно, годами он притирался: давал саженцы для участка, учил прививать деревья, выбирать самый жизнестойкий черенок, сращивать его со стволом, обмазывать варом, ухаживать в первые годы — и сам постепенно сращивался, присоединялся, будто знал про долгую силу времени, которая не терпит поспешности, а допускает только малое каждодневное усилие, — так пишутся тексты, так разрешаются невозможности и противоречия в отношениях, — малое усилие, создающее и наращивающее поле; поле, которое сначала прирастает количественно, а с какого-то момента начинает обладать собственными качествами, созидающими новые связи, новые, прежде невозможные, события, случаи, мысли и поступки.

В конце лета на даче варилось варенье — Второй дед помогал, мыл медные тазы; заготавливались соленья — он подносил ошпаренные кипятком банки. Крыжовник, смородина, яблоки — летняя плодовая влага, летний сок уваривался, густел, летнее плодоносное время закупоривали до зимы, до холода и темноты; летние душистые травы ложились в банки с огурцами, помидорами и патиссонами, ими перестилали соленые грибы в ведрах, пускавшие пузырчатый, младенчески слюнявый сок.

Семью составляет общность отношений со временем у разных людей, и Второй дед был постепенно принят в этот круг, принят сначала как не чужой, а потом и как свой. Ему читали вслух романы, журналы и газеты — домработница его читала деревянно, без интонаций, книга не пускала ее в себя, — а он рассказывал что-то из прошлого, очень обрывочно, как бы все время натываясь на границы некой области, о которой он положил себе молчать, и у моих родных складывалось предположение, что там, в его прошлом, — драма, несправедливость, может быть, арест, ссылка, срок. Второй дед любил настольные игры, лото, карты, только кто-то должен был сидеть рядом с ним, касаниями руки подсказывая, как ходить, и дачные вечера под тряпичным абажуром благодаря ему становились очень правильными

— такими, какими должны быть вечера на даче, где собрались люди разных возрастов, где нет пробела в поколениях, где все добросердечно связаны друг с другом, потому что есть тот, чья немощь опрятна и не причиняет неудобств, кому легко и просто помогать; катились по столу пузатые бочонки лото, ложились на скатерть карты, вечерело, и было, наверное, даже слишком хорошо ощущать, что вечер к кому-то ближе, от кого-то дальше; вечер жизни.

Так — единственно силой постепенности — Второй дед вошел в нашу семью. Впрочем, в дела сугубо семейные он никогда не вмешивался; если при нем обсуждалось что-то важное, он устраивался на стуле так, чтобы было понятно, что он считает себя вправе присутствовать, а вот права голоса не имеет; с каждым годом в таких случаях он садился на стул все увереннее, миллиметр за миллиметром приближаясь к той позе, в которой сидят не друзья дома, а домашние; он стал кем-то вроде нотариуса, и его уже специально звали, когда предстоял серьезный разговор.

Но вот однажды, когда моя мать была мной беременна, врачи сказали, что роды для нее чрезвычайно рискованны, и прямо посоветовали аборт; разумеется, это не обсуждалось за столом, но вся семья знала и переживала. Нерожденный, я как бы уже был среди людей, уже бабушка искала по сундукам старые пеленки и шерсть — вязать чепчик и носки; но все колебалось, все двоилось, и домашние — с опозданием — постарались быть сдержаннее в словах, укоротили, подобрали взгляды; решалась жизнь, и никто не хотел ненароком опустить книзу не ту чашу весов.

Все ждали, что решение созреет и разродится само собой; все существование дома исказилось, набухло, как живот беременной, налилось мутными водами ожиданий. Мать твердо думала рожать, но в доме уже скопилось слишком много невысказанных опасений, незаконченных вопросительных фраз. И чем ближе подступал день, после которого аборт уже делать было нельзя, тем с большим испуганным и брезгливым удивлением, — как перед склянками кунсткамеры, — часть родных, считавших, что рожать не нужно, наблюдали, как новая жизнь, пока еще целиком принадлежащая физиологии и в этом схожая с болезнью, с опухолью, готовится появиться на свет ценой возможной смерти носящей ее.

Все старые разлады между двумя ветвями семьи, материнской и отцовской, проявились в тот момент; встретились две крови, две наследственности, и то, что я — еще никто, еще только плод во чреве — готовился родиться именно так, через смертную опасность, проявило давние противоречия; кровь шла на кровь, род на род.

В отце — убывающая, слабеющая кровь давней дворянской династии; трое моих двоюродных дедов по отцу пропали без вести в войну — пустивший корни в восемнадцатый и девятнадцатый века, род погибал, попав в чужеродное для себя время, как погибает организм в чуждых условиях, и судьбы принадлежавших ему были гибельны ровно в той степени, в которой человек нес в себе родовое.

В матери — кровь южной семьи, где детей в каждом поколении рождалось не меньше десятка, где они всегда были во множественном числе и каждый ребенок был в большей степени чей-то брат или чья-то сестра, чем он сам; где — если собиралась вся семья — столы накрывали в саду; где были крепки телом, погибали, но не пропадали без вести, как будто соединенность родственными связями, — по прямому родству, двоюродному, троюродному, — никого не оставляла без пригляда, никому не давала пропасть без следа; будто кровь этого рода в известном смысле пренебрегала отдельным человеком, и новые побеги всходили, как трава после покоса — втрое гуще.

Две крови, две родовые судьбы скрестились во мне; два прошедших времени искали во мне глагола будущего. И две родственные мне, но не родственные друг другу силы, род матери и род отца, непримиримо сошлись между собой: каким мне быть, в кого пойти, и каждая готова была и ценою смерти не допустить, чтобы верх взяла другая. А люди стали только орудиями этих сил, данниками крови.

И я знаю, что эта непримиримость, столь же объективная, как несовместимость белков, непримиримость двух не противоположных, а как-то иначе различных и потому не могущих сойтись в единстве начал и сегодня составляет противоречие моей жизни. Две любви, две ненависти, два страха — по матери и по отцу. И чувство разъединено в себе самом, и желание раздвоено — два разных желания одного и того же, спорящие и соревнующиеся; и страх умножается на два. Вдвое больше сил, чтобы утишить, утолить, насытить; вдвое меньше уверенности, основательности, твердости; две крови —

жизнестойкость и незащитность, жадность к жизни и открытость гибели, — две крови, два взаимоисключающих наследия. И еще тогда, когда мать была беременна мной, они схватились между собой, завязав узел отложенного события — грозящих смертью родов.

В ту пору к нам домой приехал Второй дед. Лишенный возможности видеть то напряжение скрытого конфликта, которое проявляется во взглядах, жестах, позах, динамически выстраивает общее поле движений, он, однако, всегда как-то иначе узнавал о ссоре или разладе. В тембрах голосов, в изменившихся звуках дома, — что знаем мы о том, сколько может сказать слепому резкий и дробный стук вилки о фарфор, натужный скрип дверных петель, вода, слишком обильно и громко, против обыкновения, льющаяся из крана на кухне, — Второй дед улавливал (как животные загодя слышат землетрясение, слышат шум будущего, ведь всякая катастрофа еще и катастрофа времени, нарушающая плавность его течения), — улавливал в изменившихся звуках некую партитуру разлада. Молчание и тишина для слепого вещественные явления, для него молчат, стихают предметы, и край стула или стола есть острый угол тишины; Второй дед узнавал перемены в молчании мебели, штор, люстры, дверей, паркета; узнавал — и будто инженер, композитор стали и бетона, чувствующий, что конструкция где-то звучит не так, принимался искать эту область переменившегося звука, область каверны, скола, надлома. Искал Второй дед в расспросах — он, вероятно, слышал не только слова, но и то, как они сталкиваются, в лоб или по касательной, разминовываются, поглощаются атмосферой или, наоборот, заставляют ее резонировать; слова были для него теми незримыми частицами, чье существование физики могут определить только по сумме производимых ими эффектов, и вот эти эффекты, интонационные, смысловые, Второй дед буквально вбирал в себя; он распрямлялся, будто бы слушал телом, превращая его в резонатор или радар, телом, его поверхностями улавливал скрытые токи событий.

Довольно скоро — семья час как сидела за столом — Второй дед, вероятно, понял всю ситуацию; одной обмолвки о том, что матери не следует есть острое, и тона, каким это было произнесено, ему было довольно, чтобы уяснить себе, что беременность для нее опасна. И тут — все знали про Второго деда, что он бездетен, — он неожиданно, после долгой задумчивости, произнес речь, обнаруживая в ней все то,

что складывалось исподволь, вводя себя этой речью в семью на полных и окончательных правах родства.

Второй дед говорил сбивчиво, перескакивая с одного на другое, что само по себе было удивительно. В его суждениях, при всей их разумности и опыте, всегда присутствовало нечто затверженное, ученическое; он никогда не предполагал, не судил о возможностях и вероятностях, будто бы слепота приучила его уповать только на твердые — во всех смыслах — факты. Эту твердость как свойство он ценил, может быть, больше содержания самого факта, отчего производил впечатление чтеца энциклопедий, любителя дат, метрических сведений и юридических дефиниций; но здесь он ступил на незнакомую прежде почву разговора о жизни как таковой, и это придавало его речи дополнительное ощущение искренности.

Он говорил, как заговаривают зубную боль, — нарочно повторяясь, уводя от настоящего времени, в котором все так или иначе о боли напоминает; убаюкивал, успокаивал неродившегося младенца, словно делал беременной расслабляющий массаж. Он начал почему-то с тридцатых годов в деревне, где ему довелось жить; там у помещика прежде был огромный яблоневый сад. В старые времена помещик пускал деревенских, отдавая им треть урожая, и хотя он всегда предлагал саженцы, их никто не брал — привычнее и проще было по осени собирать яблоки в чужом саду. А после революции сад стал общественным, и каждая деревенская семья решила теперь иметь во дворе яблоню; старые садовые деревья выкопали с корнями и на телегах повезли в деревню. Была осень, урожайная на яблоки, и желтолистые кроны яблонь плыли через поля, словно сад решил уйти из этих мест; ни одно дерево не прижилось — был не тот возраст, хотя в деревне вырыли большие ямы, выложили их соломой и навозом; яблони вымерзли в первую же зиму.

Второй дед говорил с обидой на яблони, обидой на законы природы, согласно которым старому дереву невозможно укорениться на новом месте; потом стал говорить о севере, о нересте рыбы, идущей из океана, о том, что весь мир для нее становится сетью рыбака, и она стремится прорваться через сети, тони, верши, пробиться через пороги, преодолеть силу встречного течения, и так мощно ее движение, что она прорывается — но прорывается в смерть, гибнет,

произведя потомство, будто бы существуют те препятствия, которые нельзя превозмочь, не примирившись заранее с будущей гибелью.

Но заметим — по речи Второго деда нельзя было понять, сочувствует ли он яблоням, гибнущей в сетях рыбе; то были отзвуки каких-то его мыслей о себе. Он что-то задумал и теперь пытался расположить моих родных к своему замыслу, не называя самого замысла. Он почти не успевал за собственной речью, он слишком долго, может быть, десятилетия решал что-то, и теперь энергия этих подспудных размышлений, высвободившись, выхлестывала из него, а он только успевал ставить на ее пути плотину за плотиной, менять русло, разделять на протоки, облекать масками и иносказаниями, чтобы нечто, давно сказанное про себя очень прямо и ясно, не прозвучало в этой прямоте.

Впрочем, все это слушалось и слышалось иначе; собравшиеся за семейным столом чувствовали, что Второй дед ищет какие-то подступы к тому, чтобы разрешить всеобщее многодневное напряжение, трактовали его речь так, будто он говорил не о себе, а исключительно о ситуации, к которой оказался причастен. Переставшие плодоносить, вымерзшие яблони, рыба, погибающая, выметав икру — что-то смутно брезжило в этом, и было непонятно, на какую чашу весов ложатся слова Второго деда. Но вдруг он, опамятавшись, круто развернул разговор: к всеобщему изумлению, он заговорил, как бы вдруг обнаружив все невысказанные опасения — и с ходу их отбросив. Он сказал, что обязательно нужно рожать, медицина теперь хороша, а врачи напрасно перестраховываются — и стал перечислять случаи родов, когда младенцы появлялись на свет в трамвайном вагоне, ламповой комнате шахты, на кукурузном поле, в среднеазиатской степи у космодрома, в булочной, в кресле у стоматолога, в бомбоубежище. Более внимательный слушатель понял бы, что Второй дед выхватывает эти случаи из воздуха, берет место действия либо из знакомой ему жизни, либо из газет, но он настолько переполнил, перенаселил комнату этими внезапно народившимися младенцами, бесконечными спазмами родовых схваток, что внимание слушавших расфокусировалось. А Второй дед уже обещал устроить мать в самую лучшую больницу, в закрытую ведомственную клинику, обещал, что все пройдет в наилучшем виде, будто сам был акушером; он говорил о себе, о собственной бездетности — я сам на себе

заканчиваюсь, и нет мне продолжения — и столь упорно просил, умолял рожать, обязательно рожать, ничего не бояться, что никому в голову не пришло: он просит — для себя.

С этого разговора в семье установилось, что рожать — надо; так среди людей, стоящих у истока моей жизни, появилась фигура Второго деда. Родовые схватки были очень долгими, мать измучилась мной; с каждым часом родов ей становилось все хуже, нас нужно было скорее отъединить друг от друга, освободить ее от меня, — но нельзя было; началось кровотечение, кровь не останавливалась, и как говорили потом врачи, они в какой-то момент не знали, кого спасать — мать или ребенка. Я родился отчасти по чужому слову, родился на волоске от смерти, своей и матери; то была удача, случай, но задним числом все это укрепило веру в благополучные предчувствия Второго деда.

Так Второй дед вошел в нашу семью; так — негласно — было установлено, что я его внук; через меня свершилась эта связь, через меня создано это родство и мной впоследствии держалось. Своим словом, своей жизненной силой, воплотившейся в уверенность, Второй дед как бы откупил меня у не-существования, сделал меня — сущим, отворил мне двери; связь спасшего и спасенного, сотворившего — и сотворенного. И я был в некотором смысле отдан Второму деду; очень многие раздоры между воспитывающими происходят из-за того, кому принадлежит конечное право собственности на ребенка, и вот это право ментальной собственности, порождающее рабство более тонкое, чем отношение к человеку как к вещи, и принадлежало Второму деду.

Впрочем, в первые годы моей жизни он не спешил им пользоваться; насколько я понимаю, он самоустранился, словно взял передышку, когда основное было сделано. Вдобавок он как-то не очень жаловал младенцев, избегал даже находиться с ними в одном помещении, будто они ему были противны — агукающие, сосущие, плачущие, кричащие, не умеющие говорить; на слух — невразумительные существа.

Он, наверное, ждал, чтобы младенец скорее вырос, обрел разум и речь — тогда с ним можно говорить, относиться к нему как к маленькому взрослому — то есть вести себя так, как Второй дед вел себя со всеми людьми. Младенчество же требует какого-то другого отношения: вовсе не обязательно умиляться, заигрывать, сюсюкать,

можно быть отстраненным, но внутри себя ощущать значительность и масштабность случившегося; человека не было — и вот он, призван жить. Собственно, через младенца и поверяется способность к серьезным и бескорыстным чувствованиям между людьми: он еще никто — и уже кто-то совершенно автономный, одно сконцентрированное «я», которое годы будут лишь разбавлять. И если взрослый действительно может проникнуться событием откровения новой, только самой себе принадлежащей жизни, если у него есть на это внутренние слух и зрение — он вряд ли посягнет в отношениях на другого человека; другой для него — цель, а не средство. А вот когда взрослому нужно обязательно что-то делать с маленьким ребенком, и он не знает что, — тогда можно предположить в этом человеке искателя пользы и выгоды в отношениях; с младенцем не проходит ни один из его привычных способов исподволь управлять другими, и он теряется, попадает в дискомфортную для себя ситуацию, чреватую разоблачением.

И то, что Второй дед после моего рождения, которого он так ждал, устранился, могло бы дать пищу размышлениям; могло бы — но не дало.

Я уже говорил, что Второй дед жил как человек без прошлого; один, наружный, недостаток — слепота — скрывал другой: это самое отсутствие прошлого. Произошло замещение — слепца будто бы неловко, неуместно спрашивать, что он видел, как жил, кем был. Подразумевается, что такие вопросы напоминают ему о недуге, об утраченном здоровье, и Второй дед спрятался за свою слепоту столь естественно, что никто не заметил маневра. Он не прикидывался немощным, не выпячивал свою незрячесть, требуя особого отношения, — он всего лишь *не видел*, не видел со всей скромностью осознанной и принятой неспособности; не роптал, не жаловался, и только я, вероятно, понимал, что Второй дед специально сделал себя довеском к собственным незрячим глазам; он вряд ли мог вернуть дар зрения, диагноз пересмотру не подлежал, но смирение его было напускным.

В нем была та гордыня, которая незнакома обычным людям, не представляющим, что человек может быть скульптурным слепком своей гордыни; гордыня столь великая, что ее носитель почел бы за унижение обнаружить ее; гордыня — и презрение.

Впоследствии я смог все это увидеть лишь потому, что привычки Второго деда, его скрупулезный самоконтроль, втрое, вчетверо усиленный необходимостью учитывать случайный взгляд, которого он не заметит, все же были рассчитаны на то, как живут взрослые; а они не играют в прятки, не сидят молча, дыша через нос, под столом, когда кто-то входит в комнату.

Второй дед словно забыл, что в доме появилась еще одна пара глаз. Он никогда, с самого рождения, меня не видел, и, вероятно, я был для него поначалу чем-то вроде говорящего сквозняка. Он мог лишь умом отслеживать, как я расту, и незнание моего облика, неспособность уяснить себе мою действительную личность сделали меня — в его восприятии — разумным растением или домашним животным. Вторым дед был слишком сосредоточен на том, чтобы всегда верно выглядеть перед взрослыми, удерживать в голове мысленную картину, построенную по звукам — кто куда пошел, кто где находится, кто откуда может смотреть, — и я «выпал» из этой картины, точнее, до времени так и не появился в ней. Вторым дед не ждал от меня проницательности, не поставил на мне метку возможной опасности; он мог судить обо мне лишь по разговорам, которые вели со мной взрослые, и из этих разговоров — таково общее свойство бесед с детьми, если слушать их отстраненно, — мог возникнуть лишь образ копуши и недотыкомки.

Будь Вторым дед внутренне ближе к его собственному детству, будь его память не столь переполнена заслоняющими друг друга событиями, он бы, возможно, понял, что ребенка следует опасаться прежде всего; что рассеянность, которой меня попрекали, на самом деле есть признак другого рода внимания: не суженного, а расширенного, охватывающего и вбирающего некую кайму происходящего, то, что не вмещается в сфокусированный хрусталик. Но Вторым дед — я догадался об этом потом — прожил такую жизнь, которая разводит человека с ним самим; и вряд ли он что-то помнил о собственном восприятии — в детстве.

Когда мне было семь лет, Вторым дед наконец предъявил свои права на меня. В последние дачные дни — родные уже присматривали, какие гладиолусы срезать для школьного букета, — у меня нашли вшей. До школы оставалось всего несколько дней, вывести вшей за такой срок было невозможно; взрослые собрались на совет, а я сидел в

соседней комнате; я думал, что меня решат коротко остричь, и заранее переживал эту стрижку: мало того, что волосы были моей единственной, может быть, свободой, но и само дело стрижки я не ощущал как что-то бытовое и безопасное.

Мое внутреннее волнение всегда было несоразмерно велико, если предстояло стричь волосы. Штопаная простыня, которой укрывала меня мать, казалась ветхим саваном, ее белизна переставала быть привычной белизной постельного белья и приобретала, — наверное, потому, что простыня была старая, застиранная, — тот оттенок незримого сумрака, который улавливаешь на белых смертных покровах: сами они не тронуты тлением, но тень тлена лежит и на них, будто солнечный свет вбирает из воздуха и оставляет на ткани частицы той же лиловеющей синевы, что проступает на обострившихся скулах усопшего.

Одиночество — при взгляде в зеркало — человеческой головы, отделенной простыней, близость лезвий ножниц, волосы, падающие на пол, только что бывшие частью тебя — и вот уже сметаемые веником; стрижка казалась мне маленькой смертью. Я даже придумал своеобразную иерархию, стрижка в ней стояла вровень со смертью кошки или собаки; животное погибало, а человека такая смерть не умерщвляла, слишком она была мала как доза — но я и сам был невелик и оттого замирал на стуле, и до сих пор несколько раз прохожу, тревожась, мимо парикмахерской, прежде чем шагнуть внутрь. Запахи мыла, пудры, пены, возгоняемые жаркими волнами фена, сладкость и липкость — все это отсылает меня к чему-то другому, и два библейских сюжета сплетаются в один: Далила обрезает волосы Самсона, Саломея несет на блюде главу Иоанна Предтечи; отстриженные волосы и отделенность головы от тела — в этих образах угадано нечто про жизнь и смерть, что открыто в переживаниях и ребенку; я лишь потом узнал, как подобные ощущения иносказательно претворены в Книге.

И вот тогда, когда нужно было что-то делать с моей головой, Второй дед предложил: обрить и намазать керосином.

Обрить. Наголо.

Меня меньше пугало то, что задразнят лысым, будущие насмешки были отделены от меня самим бритьем; оно было равнозначно и равносильно смерти, уже не маленькой, как при стрижке, а

полноразмерной, совсем настоящей. Меня собирались «обнулить», вновь сделать младенцем, то есть лишить того небольшого, что было прожито и зримо выражено в постоянной длине волос.

И я испугался еще сильнее, когда понял, что взрослые не возразят Второму деду: они даже рады, что он предложил то, о чем думали, но из жалости не решались предложить они. Второй дед как нельзя лучше подходил для такого предложения: вши, керосин, обрить — от этого пахло давним временем, беспризорщиной, суровостью в средствах; скажи это кто другой — взрослые, может, и заспорили бы, но тут было обаяние строгости: хватит нюнить, пострижем, представь, что ты в армии, там не спрашивают, нужно уметь преодолевать неприятности, учись терпеть, для мужчины дело нужное. Все это говорилось как бы по праву возраста и опыта, с той интонацией поверхностных и потому жизнерадостных людей, которые любят фразу «не надо делать из этого трагедии». Такие идут в военруки, в тренеры, в учителя физкультуры, не любят растяп и нерях; им кажется, что и чувства должны быть молодеваты, кратки — три минуты на прощание; ничто их не задевает, ничто не проникает в них, все заживает до свадьбы. Второй дед говорил именно так, взрослым, вероятно, казалось, что он играет, что это уместный тон, который меня подбодрит, а во мне росло ощущение, что дело не только в стрижке; что Второй дед решил — а никто этого не понимает! — взять меня в свою власть.

Ощущение это имело предысторию; я давно заметил, что Второй дед относился к длинным волосам ревниво и даже жестоко.

Он, слепой, сразу же угадывал, что у вошедшей в комнату и незнакомой ему женщины волосы свободны, а не стянуты в узел. Женщина, к примеру новая соседка, приходила к нам впервые, однако Второй дед словно улавливал незримые возмущения, исходящие от распущенных, вьющихся, длинных волос — и проводил рукой по своим седым, остриженным «под ежик»; это означало, что Второй дед гневается. В свободе локонов, в легкости разметанных по плечам прядей он, вероятно, улавливал смутную опасность: и символ, и источник некой чувственной свободы — и потому чрезвычайно любил, будто забываясь относительно мужской своей природы, шпильки, заколки, всю ту железную амуницию, которая призвана укротить, лишить вольности женские волосы. Домработница при нем всю жизнь проходила в платках, он покупал ей их едва ли не с каждой пенсии;

ими накрывали телевизор, стелили на этажерки, как маленькие скатерти, домработница тайком раздаривала их, благо Второй дед не мог их сосчитать; лишь много позже я узнал, что однажды якобы случайно Второй дед сжег ее волосы раскаленными щипцами для завивки, которые он слишком близко поднес к прядям.

Когда Второй дед обнимал меня и гладил по голове, его пальцы захватывали волосы под корень и делали такое движение, словно средний и указательный — лезвия ножниц. В нашем дачном домике ножницы висели на гвозде за шкафом, и Второй дед иногда подходил проверить — на месте ли они. То, что ножницы висели на гвозде, а не убирались в ящик комода, создавало особое ощущение; они были старые, сработанные скобяной артелью в двадцатые годы, — клеймо можно было разобрать, — почерневшие, словно в металл за десятилетия впитались свечной нагар, печной дым, угольная пыль; ножницы висели, будто знак и напоминание, знак власти. Равным им по силе предметом был только карандаш — раз в год, накануне дня рождения, Второй дед ставил меня к дверному косяку, клал на голову книгу, потом я отходил, и по линии книги Второй дед проводил карандашом черту — насколько я вырос, а затем делал по черте зарубку. О, как я боялся этого карандаша, граненого, отточенного: мне казалось, что однажды я не совпаду с той меркой, которую Второй дед заранее наметил мне, и моя вина — я не смог вырасти, напрасно ел хлеб нашего дома — будет столь велика, что мне даже никто ничего не скажет: просто отвернутся, и все.

Ножницы и карандаш: если бы требовалось составить герб, воплощающий власть Второго деда надо мной, я бы взял два эти предмета. Ножницы и карандаш, а еще, может быть, циркуль: когда я впервые увидел в комнате Второго деда готовальню, увидел аскетичную точность лежащих в ней инструментов, сухопарую вытянутость их ножек, я сначала даже не взял в толк, что эти вещи предназначены для черчения по бумаге; я сразу подумал, что назначение их — так сказать, черчение по человеку, антропометрия, и предположил, что Второй дед вызвал меня, чтобы свериться с помощью этих приборов с неким чертежом: годен ли я быть человеком, нет ли во мне какого несоответствия?

Итак, я ощутил, что стрижка будет иметь второй, дополнительный смысл; что, выводя вшей, Второй дед на самом деле хочет завладеть мной, и стриженная моя голова представлялась мне безволосой головой младенца. Может быть, я бы не ощущал все так остро и болезненно, если бы не еще одно впечатление — воспоминание.

Кроме волос, второй загадочной, особой частью организма были ногти; их стригли маленькими кривыми ножничками, и для меня это

был ритуал расставания, ритуал роста и потери; на ногтях иногда появлялись белые пятнышки, похожие на звездочки или облачка, и я гадал по ним, думая, что в их очертаниях можно прочесть знаки будущего. Я уже знал, что ногти растут и после смерти, и потому считал, что они — и в этом и в том мире одновременно, что мы, того не зная, все время как бы стоим перед смертной пеленой и проникаем кончиками пальцев за ее покровы. И те белые пятнышки и звездочки — они приходят оттуда, из смерти, из единства времен.

Я подносил руку близко-близко к глазам и смотрел на ноготь как на экран, небосвод планетария, на который проецируются — с той, смертной стороны — послания, тени близящихся событий; поэтому нельзя было просто стричь ногти, нужно было поймать настроение и момент, сделать все так, чтобы не спугнуть тени; ногти казались мне самой чувствительной, — если говорить о предчувствиях и о других ощущениях, в которых сведены воедино чувство и время, — и почти запретной, не принадлежащей мне частью тела.

И вот весенним днем, когда лягушки метали икру и в лужах светились ее газовые туманности, полные черных точек, из которых возникнут головастики, я забежал в дом ко Второму деду; дом был весь просвечен, белые плетеные занавеси в дверных проемах раскачивал сквозняк, и потому Второй дед не услышал меня. Он сидел среди комнаты на дубовом табурете и стриг ногти на ногах; желтые, как прошлогоднее сало, вросшие в пальцы, по-птичьи кривые ногти. Второй дед распаривал ноги в тазике с теплой водой, щелкал щипчиками; с той же безучастностью к себе можно колоть сахар или резать колбасу. И я поразился: он не только не видит знаков, которые видел я, но и предположить не может, что такие знаки случаются; он отщепляет частицы себя — бесстрастно, безмысленно; он сам для себя — вещь.

Сидя в ожидании стрижки, — взрослые советовались, где достать керосин, в «летучей мыши» осталось слишком мало, может не хватить, — я вспомнил эти мгновения; я уверился, что Второй дед хочет сделать меня таким же, как он сам; вещь, вещь, вещь — крутилось в голове; я вдруг увидел комнату как заговор вещей; моими шагами была натоптана узкая светлая дорожка — среди темной их жизни, и я понял, что пойман; Второй дед знал, с кем меня оставить, кому меня поручить.

Он единственный из всех взрослых действительно владел вещами; между ним и вещью устанавливались отношения именно власти, а не обладания или собственности.

Разница в том, что обладание и собственность умертвляют предмет, укореняют в косности материи; человек, по сути, повторно порабощает вещи, и так отданные ему в услужение, — из страха, что он потеряет их, что они откажутся ему служить, что ими завладеет кто-то другой; порабощает, на самом деле не имея над ними настоящей власти.

А власть — в данном случае над вещью — несет в себе, как это ни странно, толику одухотворения. Человек, у которого есть эта власть, не нуждается в праве собственности: обладая властью, он обладает любой вещью, она сама признает его руку рукой хозяина. Одухотворение же заключается в том, что такой человек как бы напрямую обращается к замыслу, к смыслу, воплощенному в вещи, высвобождает его.

Я видел, как Второй дед брал колун — ржавый, с восково лоснящейся, разохшейся ручкой, и вдруг становилось ясно, что это *его* колун; категория принадлежности была здесь ни при чем — просто Второй дед и колун становились одним организмом из плоти, дерева и металла, человек подстраивался к балансировке и центровке инструмента, инструмент на лету ухватывал позабытое предназначение собственной формы; я понимал, что Второй дед может колоть сейчас, пока не треснет рукоять колуна, но и тогда колун — если бы вещи могли говорить — будет благословлять руки Второго деда, подарившие ему на время смысл существования.

Так было не только с инструментом: Второй дед мог взять чужую авторучку, ложку в чужом доме — и у меня было ощущение, что он оставлял эти вещи осчастливленными, оставлял как завербованных через идею, через убеждения агентов, и сахарница, откуда он достал кусок рафинада, была уже готова тащить свой стеклянный живот на коротких никелированных ножках к телефону, чтобы сообщить Второму деду, что о нем говорили за столом, когда он ушел. Казалось, что вещи сами ищут покровительства Второго деда: они падали ему под ноги, катились к нему по полу; он, слепой, постоянно что-то находил и никогда ничего не терял; за любой из немногочисленных потерь в конце концов обнаруживалась чья-то оплошность или недосмотр.

Я был один в комнате; я был не один; вещи — соглядатаи, слуги Второго деда окружали меня. Я был пойман; я боялся даже подумать о том, чтобы убежать. Казалось, обивка диванов, старые шторы — все уподобилось хищному растению росянке, наэлектризовалось, выпустило тончайшие нитяные усики и слушает мои внутренние колебания; ловушка — я был в ловушке, — я знал, что поставил ее Второй дед, я даже подумал, не подпустил ли он мне вшей, он сам рассказывал, как беспризорные подходили на улицах с коробком вшей и предлагали: либо обсыпем, либо давай деньги; я стал искать дырку, через которую мог бы убежать — и еще глубже увяз в ощущении пойманности, соединив себя и мышей, чьими ходами был источен дом, мышей, чьей незаметности я позавидовал.

Второй дед изводил мышей; некоторые взрослые считали эту охоту проявлением его склонности к порядку: мыши в данном случае выступали как нечто иррегулярное, мелкое и пакостящее; другие — они думали, что видят глубже и точнее, — предполагали, что мыши слишком памятны Второму деду по временам, о которых он ничего не рассказывает; что в образе мышей, подбирающихся к сахару и крупам, Второму деду мерещатся лишения его прошлого.

Но я видел, что он находил особое, иронически-жутковатое удовольствие в том, что мыши гибли в мышеловках, поставленных им, слепцом; что не нужно видеть лазеек, проделанных грызунами, искать правильное место, где расположить мышеловку, подбирать особую приманку — достаточно просто поставить ловушку, и мышь найдется сама, будто ее притягивает не приманка, а именно ловушка, притягивает самым фактом своего существования. Второй дед не мышей изничтожал, они, вероятно, были ему безразличны — он вновь и вновь искал подтверждения интуитивно открытому им закону: важен капкан, а не дичь, важно взвести пружину, приподнять зубчатую дужку, и жертва появится — в силу одного только наличия капкана.

Теперь в комнате — за дверью уже молчали, сговорились насчет керосина, вот-вот позовут меня — я чувствовал, что был прав; у Второго деда была своя ловушка на каждого человека. И я понял, что если дам остричь себя, сяду на стул, укутаюсь простыней, над ухом металлически зачавкают в прядях ножницы, волосы сором посыпятся вниз, а потом кожи на голове коснется синеватое, звонкое, если щелкнуть ногтем, отполированное о замшевую изнанку ремня лезвие

опасной бритвы, — я лишусь будущего. Будущее время — в предощущении — отнялось, закаменело, утратило зрительную перспективу; оно отнялось и в языке, глаголы словно стали на треть легче по весомости слова. Я ощутил, что если лезвия ножниц рассекут время на «до» и «после», «после» будет чужим мне, но я не буду уже знать, что оно — чужое, уже не вспомню, как боялся, хотел бежать, думал о ловушке. Поступить по-своему, не дать себя означало даже не проявление собственной воли; не воля — жизнь против не-жизни, в которой меня можно взять, как вещь, остричь — присвоить.

Внезапно во мне появилось прежде неизвестное ощущение *присутствия духа*, будто в этот миг решалось все будущее сразу, и человек, частью которого я был и буду в каждый момент жизни, вступил в стиснутое мгновение настоящего, в комнату-ловушку — и ловушка треснула, рассыпалась. Не нужно было ни смелости, ни мужества — одно только присутствие духа; я увидел, что я протяженнее, чем любой момент настоящего; и эта протяженность «я» в трех временах изгнала страх, отомкнула заговор вещей.

Волосы — рост — время; бритва и ремень; еще минуту назад я думал бритвой резануть по горлу, на ремне удавиться; но теперь я просто вышел из комнаты. Взрослые сказали мне, чтобы я сел за стол, но я пообещал вернуться через пять минут; они остались в доме, а я откинул крючок на калитке и ушел в лес.

Это был не побег; я много раз убегал, скрывался, прятался, но в тот раз мне просто нужно было дойти через лес до поля. Произошло нечто, чему нужен был простор, чтобы оно случилось до конца, зажило, задышало во мне, и я шел к полю; на нем всходила год за годом рожь, был склон лета, ее еще не убрали, и я скоро переступил через вывороченные, растрескавшиеся земляные губы огнезащитной полосы.

В сухих травяных люльках спали зерна; дорога извивом врезалась в поле, как длинный язык, и пропадала за краем; за лесом тронулась, стала набирать ход, запела электричка; и я почувствовал, что я один; пожалуй, впервые почувствовал это без испуга, без инстинктивной внутренней оглядки — где же взрослые.

Меня искали; мне говорили потом, что Второй дед корил себя, твердил, что все из-за него; что он испугался так сильно, будто бы однажды уже предложил наголо постричь какого-то мальчика и

обмазать ему голову керосином, а с мальчиком после этого произошел несчастный случай, никак не связанный со стрижкой, но два события стояли столь близко, что волей-неволей оказывались в связи; Второй дед поднял всех, погнал на поиски, но при этом не переживал об обиде, нанесенной мне; казалось, обида его не волновала — ему нужно было только убедиться, что я жив.

После побега Второй дед на некоторое время перестал меня замечать; кажется, он понял, что я растолковал подспудный смысл его намерения, и теперь мы были соединены этим знанием; родные судачили о моей впечатлительности, о непозволительной детскости, а Второй дед молчал; он, вероятно, понимал, что я буду о нем думать, буду на свой страх и риск доискиваться объяснений произошедшему; он был уверен, что я не заговорю об этом с другими взрослыми, — одно дело испугаться стрижки, другое — даже просто намекнуть, что в чем-то подозреваешь Второго деда.

Он стал вести себя так, чтобы мы чаще оказывались наедине. Я помню дачную комнату, где на полу были обрезки ковровых дорожек, купленные, наверное, в какой-то гостинице, когда их списали, — бордовые, с темно-зеленой каймой; ими были устланы все комнаты нашего дома, к ним привыкли и не замечали, что с ними в дом вкрались неслышные шаги, длинные коридоры, где негде присесть. Дорожки — их достал по своим знакомствам Второй дед — приводили на ум, конечно, не гостиницу, а райком, министерство, а то и ведомство, которое предпочитали не называть; Второй дед, можно сказать, вступил в дом по этим дорожкам — такой подарок, такая услуга! — но мне казалось, что он постелил их себе как нечто более привычное подошвам, чем крашеные доски.

Я помню эту комнату, где я остался один — мне нужно было зубрить английский, которому меня учили летом, а Второй дед вошел, остановился у окна. Он не делал вид, что просто шел мимо, не маскировался какой-нибудь надобностью — просто стоял, позволяя мне разглядывать себя; я должен был увидеть в нем нечто, вовлечься в нейтральное вроде бы рассматривание, постепенно сократить дистанцию между нами, подходить — во взгляде — все ближе и ближе; так большая рыба, широко раскрыв челюсти, замирает в воде, чтобы мелкая рыбешка сама вплыла внутрь.

Так и повелось: Второй дед больше не пытался воздействовать на меня прямо; только возникал на периферии зрения то в доме, то в саду, словно пытался замылить глаза — или, вопреки собственной незаметности, по частицам запасть в сетчатку. Вскоре я обнаружил, что во многих мгновениях прожитого дня, если брать их в отдельности, как кадры, появляется он. При этом Второй дед не старался непременно обозначить свое присутствие — он словно рассчитывал именно на периферийное зрение, знал, что оно — щель, сквозь которую можно тайком проникнуть в сознание, просто зрительно повторяясь. Увиденное мельком, рассеянно, вне сферы направленного внимания все-таки попадает в общий поток восприятия, но переносится в нем неузнанным, накапливается и может однажды совершить переворот в сознании.

Второй дед правильно все рассчитал, но недооценил мой испуг от намерения обречь меня; конечно, боязнь со временем стихла, но опаска осталась, и, пытаясь теперь вести себя иначе, но опять с каким-то двойным дном, он только насторожил меня и, по сути, сам дал начало моему становлению в чувстве и мысли.

Когда мы говорим о детской живости восприятия, нам кажется, что живость — это почти синоним резвости; что оно живое — в смысле переменчивое, увлекающееся, непостоянное. Но, может быть, детское восприятие именно живо, то есть наделено не даром тонких различий, а даром — игра в «горячо» и «холодно» в этом смысле не случайна — ощущать, что живо, а что нет в бытийном смысле; проходить за подмененный облик, чувствовать не нюансы, а саму природу человеческого отношения.

Вот это ухватывание природы отношения, присущее ребенку, узнавание живого и не-живого и связало меня со Вторым дедом неразрешимыми в то время узами.

Я ощущал, что он внутренне мертв, рассоединен с миром живых; не призрак, не дух — обстоятельный, телесный, долго живущий (а что ему сделается) мертвец; но при этом в его отношении ко мне была странная забота и, на свой манер, приязнь. Он — может, неосознанно — пытался воспитать меня, чтобы развязать какой-то узел в прошлом, разрешить некую драму, сделавшую его тем, кем он был. В настоящем же времени объяснений его поступкам, от способствования моему рождению до стрижки и выведения вшей керосином, по большому

счету не существовало. Родные привыкли воспринимать текущие события как данность и не особо доискиваться их причин, но стоило посмотреть под другим углом — и вся история между Вторым дедом и мной оказывалась лишней, добавочной, как зуб или аппендикс, он вполне мог бы прожить, вообще никак со мной не соединяясь, и никакие обстоятельства не вынуждали его к сближению.

Я чувствовал, что жизни, живого в отношении Второго деда ко мне нет; но было нечто другое — безымянное; что — я смог понять лишь через два десятка лет.

Меня любила женщина; она призналась мне в своем чувстве и, не встретив взаимности, некоторое время чрезвычайно настойчиво добивалась ее: звонила ночью, писала письма от имени моей подруги, а потом прекратила, и я подумал, что страсть ее иссякла или она нашла кого-то другого.

Через несколько лет она погибла в катастрофе, ее не сразу опознали, мы, ее товарищи по работе, стали разыскивать ее; вместе с участковым вскрыли квартиру — вдруг что-то случилось в доме.

Увидев то, что было за дверью, я попросил, чтобы мои спутники вышли, вышел и милиционер.

На вешалке в прихожей висел мой шарф; он пропал из общей раздевалки нашего учреждения, ношенный уже, недорогой, и я не мог понять, кому он понадобился. На столе, на подоконниках лежали листы с пометками, сделанными моей рукой, черновики научных работ. Все, что можно как бы невзначай попросить, незаметно взять, она собрала в квартире: мои авторучки, зажигалку, пачку сигарет; диски с музыкой, брелок, книжку правил дорожного движения, календарик, пятьсот рублей с надорванным уголком, которые она одолжила, сказав, что на такси.

Из этих мелочей она создала фантом моего присутствия. Здесь она проживала свою настоящую жизнь — со мной, а в обычной жизни была только следящей тенью. И я понял вдруг, сколь велико было постоянное напряжение, которым она — из незначущих вещиц! — творила это бытие двойника.

И тут же я ощутил, что вокруг меня собирается мутный звенящий вихрь; все несбывшееся с ней, но питавшееся силой ее помраченных чувств обретает подобие существования, в котором выражается вся плотность ее надежд, боли, страданий; затем развоплощается — и в

последнем стремлении быть, уже тронутое тлением, обезображенное, все же бросается ко мне, пытаюсь вызвать ответ чувства и тем спастись, переродиться.

В этом вихре передо мной открылось ее внутреннее существование: свернутые в тугой хлыст желание, страсть, ревность. Там, внутри, была другая жизнь, в которой я был рабом этой женщины, тем более послушным, чем менее мы были близки на самом деле. Там коренились те силы, что высвободились после ее смерти; они были наделены зрением, не различавшим других людей, или вообще слепы, ослеплены при рождении ее безрассудным выбором, отрицавшим других мужчин. Безглазые гончие, они находили след одним чутьем, спешили исполнить свое назначение, передать мне породившую их страсть — и одновременно прилепиться к чему-нибудь в этом мире, мире живых.

Она убила себя при жизни, уничтожила целиком, чтобы жить только одним мной, и поэтому любовь ее была любовью мертвеца; неким почти потусторонним эквивалентом чувств, способным, однако, участвовать в сплетениях судьбы.

Отношение Второго деда ко мне было именно такой природы. Тогда, в детстве, я ощущал только эту безымянную, неизвестную силу; я и представить не мог, что в голове Второго деда разворачивается некая другая жизнь, в которой мне отведено главное место, и он, как — через годы — та, любившая меня, женщина, уже не соотносит ее с действительностью. Там, в его голове, — слепота в этом случае играла ему на руку, — я уже был тем, кем он назначил мне быть; и то, как он вел себя в реальной жизни, — я принимал это поведение за единственно существующее, — было лишь урезанным, частичным отражением его вымысла.

Второй дед осторожно приближал меня к себе; он попросил, чтобы в прогулках и делах, когда есть возможность, я сопровождал его, и получил согласие родителей. Я не просто стал его поводырем — я вынужденно проходил его дорогами, двигался его орбитами. Иным показалось бы, что я веду его, слепого, но на самом деле он вел меня; мы могли пойти за грибами, я искал белые или подосиновики, Второй дед нес корзину, и встреченные грибники умилялись, хвалили меня за участие и заботу; но я-то знал, что я — слеп, а Второй дед видит, что делает, видит недоступные мне собственные намерения. В лесу в

жаркий день липла на лицо паутина, и мне казалось, что эта паутина — овегцествленные замыслы Второго деда, и я счищал ее, умывался черной гнилой водой из ям, лишь бы не чувствовать этих нитей; в ранние сумерки — мы могли гулять долго — лес превращался в наслоения теней, между стволами возникали чернильные роднички темноты, и я даже успокаивался — теперь не нужно было ждать подвоха, уходило мучительное ощущение, что солнечный день — только обманка, что мы вдвоем идем каким-то другим пространством, которое лишь видится светлым. Я брел за белеющей в сумерках фигурой и знал, что именно так — тьма, бесформенность, незримые касания трав и ветвей — и выглядит по-настоящему все вокруг.

Мой возраст отдавал меня Второму деду; что ни случись, поверили бы ему, а не мне. И Второй дед, не останавливаясь на том, что сделал меня поводырем, стал постепенно вести со мной особую игру. Началась она однажды у колодца; мы пошли за водой, Второй дед крутил ворот, а я наливал ведра. «Хочешь, ты сядешь в ведро, а я опущу тебя вниз, — сказал Второй дед. — Из колодца даже днем видно звезды».

Я посмотрел в колодец. Было жарко, роились слепни — мимо недавно прогнали коров; все жгло, сверкало, нагревалось; мир зудел, как расчесанный укус, вспухал волдырем, стрекался крапивой, пылил, горячо мерцал, а под крышей колодца, откинув дверцу, ты сразу, без перехода, оказывался как бы в изнанке этого разгоряченного мира.

Меня всегда немного страшила колодезная вода — казалось, что ее нельзя пить, пока она не постояла на свету, не привыкла к воздуху, к простору. Ведра накрывали крышкой, а я тайком снимал ее, чтобы вода не затаила в себе то, чем напиталась под землей; родители однажды рассказали мне, что такое грунтовые воды, как они скапливаются, текут по склонам водоупорных пластов, образуют подземные реки и озера; второй ландшафт открылся мне, второй мир, в котором — тайны круговорота веществ, все, что смыто, унесено, растворено, все, что видела вода прозрачными тугими зрачками капель; там — истлевшие палые листья, истаявший весной снег, позавчерашний дождь; там под настоящим — прошлое, текущее своими путями, и колодезная вода в ведре казалась иной, чем водопроводная — более плотной, похожей на трепещущий слиток, будто в ней больше сила притяжения молекул. И

вот Второй дед предложил мне опуститься туда, в круглый створ колодца, в холод вчерашней воды.

Я опасался оказаться там, у воды, еще не пережившей подъем наверх, еще подземной, темной. Второй дед сказал: если не хочешь спускаться, просто выпей водички — жарко. Мне запрещали пить воду из колодца, чтобы не простудился, и предложение Второго деда выглядело таким понимающим жестом: пей, пей, все равно ведь пьешь, когда никто не видит, чего уж таиться; но я-то знал про себя, что никогда не пил такой воды.

У колодца была приделана на цепочке жестяная кружка, Второй дед зачерпнул ее полную и протянул мне.

Сколько их было потом, кружек на цепочке, — у колодцев, у титанов в «пятьсотвеселых» поездах, у цистерн на казахстанских рудниках; вода в них — то отдающая гнилью, то десяток раз прокипяченная, то с привкусом ржавчины; арестантская, кандальная кружка, обмятая, исцарапанная, обмотанная грязным пластырем, с неровным дном и блестящим от касания губ краем; но то была первая, самая запомнившаяся кружка. Я не посмел отказаться и сперва немного отхлебнул; ледяная вода обожгла губы, как металл зимой, а Второй дед стал рассказывать, что далеко на севере вода и летом бывает столь холодна, что у человека останавливается сердце; это не вода уже, а вещество холода. Я пил из кружки, а Второй дед ждал; потом он зачерпнул еще и выпил сам.

С той поры, с той фразы про ледяную воду севера между нами окончательно установились странные, полные недомолвок, пауз, долгих натяжений отношения. Второй дед словно выбрал меня в младшие товарищи, в наперсники, заведомо зная, что я почти ничего не пойму в том, что скрытыми намеками, умолчаниями, загадками будет открыто мне; именно моя неспособность понять, кажется, и соблазнила, прельщала его завести со мной растянутый во времени разговор.

Иногда он давал мне «отпить из кружки» — будто бы причащал меня, позволяя глоток прошлого, которое я не мог ни достоверно представить, ни встроить в более объемную картину. Второй дед рассказывал о полярной ночи, когда люди сходят с ума и спастись можно, только вынув запрятанный загодя, вырезанный из журнала чей-нибудь портрет — новое лицо; о горах, которые всегда скрыты

густыми облаками, — во время войны там разбивались немецкие самолеты; о мошке и гнусе, пробирающихся под любую москитную сетку, ползающих по лицу и шее, ищущих мертвое мясо. Все это было как бы подобрано, подогнано под мой возраст — дальние края, необычные случаи, — но чем больше рассказывал Второй дед, тем сильнее я чувствовал, что все рассказанное — не более чем краешек конверта; Второй дед последовательно и неотвратно расставлял загонные флажки, разворачивал мое восприятие в нужную сторону; набрасывал контуры неизвестного материка, Атлантиды, которая всплывет по его приказу, и постепенно готовил меня ступить на ее землю.

Порой он ничего не говорил, а как бы прекращал удерживать тот образ, который выставлял напоказ, и это были мгновения оторопи. Черты Второго деда не менялись, но пресекалось излучение привычности, и взгляду предстал незнакомый человек.

Так бывает, когда в крайнем измождении смотришь на того, кого давно знал, но ты совершенно обессилен — и прекращается созидательная работа взгляда, продлевающая слитность знакомого облика; перед тобой является некто новый, незнаемый.

Однако здесь мое зрение не теряло ясности и силы, не «проседало» — это Второго деда отпускало жесткое, выворачивающее, как судорога, внутреннее его напряжение, и можно было увидеть другого старика, сидящего внутри Второго деда.

Это случилось где угодно — в тамбуре электрички, в очереди у врача, в лесу, на пруду. Второй дед, зная, что я его вижу, вдруг начинал ощупывать лицо, тереть пальцами лацкан пиджака, наклонялся поправить шнурки, проводил ладонью по вертикали ряда пуговиц, словно проверял, все ли застегнуто, все ли прикрыто. Сторонние, если бы заметили это, приняли бы за необходимую привычку слепца, но я знал — еще минута, и Второй дед повернется, встанет так, чтобы я не видел его целиком, окажется в проеме между тел, деревьев или мебели, как в случайном кадре, мельком, на секунду, — и я не узнаю его, не помогут ни одежда, ни место. Он будет незнакомцем из другой эпохи, он будет отстоять на годы — и потом, закрывшись случайным прохожим, вернется в поле моего зрения прежним, будто там, за ширмой чужого тела, сменил личины, перекинулся во времени.

Со стороны наша связь выглядела приятельством старика и ребенка; так думали все, объясняя приязнь Второго деда ко мне его сдержанными сетованиями на бездетность. Это объяснение еще больше обязывало меня: подразумевалось, что Второй дед — скоро, не скоро, — но близок к могиле, и потому я не должен был «огорчать», «сердить», «расстраивать», «заставлять волноваться». Я-то знал, что Второй дед вполне здоров, знали это и родные, но все равно выставляли его немощным стариком, которого убьет любое сильное переживание — так было удобнее, это было прекрасное средство привести мою жизнь в подчиненное состояние.

В результате Второй дед упрочил свою власть надо мной; любой поступок, любое слово оценивались — а как они скажутся на Втором деде? Примечательно, что никто при этом слишком уж сильно не любил его; я и сам в какие-то моменты, когда он казался вполне безобидным человеком, раздумывал: почему я не могу полюбить его — это спасло бы меня от постоянного ощущения, что мной пытаются завладеть, и я, может быть, принял бы его власть с радостью. Я даже — вполне по-детски — старался сделать так, чтобы полюбить его; пытался уяснить карту своего внутреннего устройства, найти на ней область, в которой зарождается то, что составляет физиологический фон любви — теплота, ощущение открытости, словно в груди расходятся какие-то створки; пытался, но потерпел неудачу — Второго деда невозможно было любить.

Ко Второму деду, кажется, в принципе не испытывали чувств, отношение больше шло от ума, чем от сердца; каждый, вероятно, стыдился этого, думая, что дело в нем, а не во Втором деде, и старался преуспеть в фальшивых изъявлениях чувства — не обижать же старика, который этого ничем не заслужил. Может быть, если бы родные однажды откровенно поговорили друг с другом и обнаружили, что Второго деда не любит никто, хотя поводов к этому нет, они о чем-то задумались бы; но такого разговора не случилось, и каждый добавлял свою лепту в иллюзию всеобщей привязанности к старику, не предполагая, что остальные, как и он, только делают вид.

Я много размышлял потом, почему Второго деда нельзя было полюбить; и понял, что любовь не могла возникнуть рядом с ним. Если понимать трусость как высшую степень эгоизма, Второй дед был трус; он мог проявить очень разные качества, и самоотверженность, и

заботу, но все они служили в конце концов его трусости: сохраниться таким, какой есть. И любовь к этому человеку не случалась: он сам любил себя так, любил не в смысле эмоций, а в смысле самосохранения, что к этой любви, казалось, нечего прибавить, она и без того избыточна; и почти все его поступки прослаивались тонким пластом страха за себя, опаской, что события могут повредить его планам, нарушить его замыслы.

Я понял это еще в детстве; я часто спрашивал Второго деда, воевал ли он, и он отвечал, что нет, в армию его не взяли. Но от его домработницы я знал, что дома, в коробке из-под конфет, хранятся ордена; я решил, что Второй дед делал на войне то молчаливо-жуткое, что стояло за фильмами, картинками, рассказами; я думал, что их герои убивали врага первой смертью — той, которая случается на бумаге, холсте или киноплёнке; но должен был быть кто-то, остающийся за полями книжных страниц, за рамками кадра, кто убивает немцев настоящей, смертной смертью, и мне казалось, что таким человеком, одним из немногих, мог быть Второй дед.

Но вот однажды мы с другими детьми играли с пришедшим из деревни дядей Ваней — Железная Шея; в шее, у самой сонной артерии, у него сидел осколок снаряда, который не рискнули извлекать, и нашей любимой игрой было привешивать на шею магнетики, которые держались на живом теле. Дядя Ваня был старик, горевший танкист; его старались отвести от детей, потому что лицо его и голову поразила болезнь: каплевидные наросты, похожие на мясо петушиного гребня, не прикрытого кожей и состоящего из кровеносных сосудиков; казалось, лицо его оплавилось и плоть застыла в этих каплях, дрожащих, висящих на мясистых ножках, отвратительных именно тем, что они обнажали — на лице! — изнанку тела, животную, как этот самый гребень петуха.

Но дети не боялись, не испытывали отвращения; дядя Ваня — Железная Шея казался нам единственным человеком из всех, кого мы знали, с которым случилось что-то очень существенное; мы знали, что он воевал, и видели — он воевал. Конечно, дети стерегутся убогих, больных, неосознанно оберегая в себе доверие к жизни и к будущему; но дядя Ваня был столь уродлив, что это становилось уже карикатурой на уродство; разрушение лица зашло столь далеко, что уже не резало глаз.

И потом — он не нуждался ни в жалости, ни в сочувствии; дядя Ваня носил в своем теле давнюю, отсроченную смерть сорок четвертого года, погубившую четверых его товарищей; ей оставалось всего несколько миллиметров, на которые не пропустила осколок плоть, но осколок двигался в теле, медленно, как дрейфуют континенты, приближаясь к артерии, и, по сути, для дяди Вани все еще длился тот взрыв, накрывший танк — он унес в себе траекторию полета осколка и всегда жил на этой траектории.

Наверное, другой человек, спасшийся от гибели и потом так обезображенный болезнью, вывел бы из этого некую опорную философию, где болезнь трактовалась бы как искупление счастливого спасения; но дядя Ваня, командир огнеметного танка, сжигавший немецкие блиндажи, доты и окопы вместе с солдатами, шедший через поле боя в пламени, пламенем каравший немцев, а до войны бывший начальником пожарной части, — дядя Ваня даже не снял зеркала в своем деревенском доме. Вероятно, для него в том пламени исчезли все представления о пропорциях, о красивом и безобразном; осталось только одно — что человек не мясо, хотя он чаще видел сгоревших, чем живых; и дух жизни веял в нем легко и свободно.

Мы играли с дядей Ваней; он научил нас делать ходули, набив планки для ног на длинные жерди; мы ходили вокруг него на деревянных ногах, пасовали мяч, а он все наклонял шею, чтобы магнитик, прилепившийся к осколку под кожей, свисал, но не падал. Тогда к нам подошел Второй дед; он искал меня, дядя Ваня с ним поздоровался. И по тому, как Второй дед ответил на приветствие, как спросил меня, скоро ли я вернусь, я вдруг понял, что Второй дед боится; боится, что я слишком привяжусь к дяде Ване, что не вернусь, ускользну, пользуясь его незрячестью. И так явственен был этот детский обидчивый страх взрослого человека по соседству с бескорыстной приязнью дяди Вани, что я — по одному только чувству — ощутил, что Второй дед действительно не воевал, что он из другой человеческой породы, чем дядя Ваня.

И меня поразило, что дядя Ваня болен, что жизнь его исковеркана уродством, а Второй дед отмечен аккуратной, неприметной слепотой; я увидел вдруг — опять же по чувству, — что лицо дяди Вани, лицо в мясистых каплях, должно было принадлежать Второму деду, а чистое, нетронутое лицо Второго деда — дяде Ване.

Я твердо решил тогда узнать прошлое Второго деда. И мне показалось, что каждый из взрослых нашего дома в глубине души рад тому, что Второй дед скрытен и некое возможное знание о прошлом остается непроявленным.

Время, о котором мог бы заговорить Второй дед, взрослые старались если не забыть, то, по крайней мере, сделать пригодным для частной памяти. Они дробили его на мелкие впечатления, на личные сюжеты — какая ледовая горка была у оврага, ныне засыпанного; какие орехи, все с гнилыми, сморщенными ядрами, однажды купили на рынке для варенья; какие бледные, разбавленные водой чернила разливали в школе по чернильницам, а потом учительница ругалась, что в тетрадях ничего не разобрать. Такое прошлое было как ключи, кошелек и документы, которые можно рассовать по карманам, уходя из дома; было маленьким, обжитым — каждый старательно укреплял, возделывал пяточок личной памяти — и никто не помнил за всех.

Мысленно осмотревшись, я понял, что не могу соединить рассказы о прошлом в нечто общее; помнили родных, помнили свою юность, но все это было узко, тесно, как те комнаты новых районов, отстроенных в шестидесятые и семидесятые на окраинных пустырях, где никак не хотели выводиться пыльная земля, бурьян и репей; встали новые дома, в них возникла новая жизнь, разделенная тонкими перегородками стен, и все выучились жить тихо — а как иначе, если даже кашель слышен у соседей, — тихо и наособицу; жить, как живут выжившие, ошеломленные тем, что уцелели, и навсегда сохранившие эту разделенность уцелевших.

В конце того дня, когда Второй дед встретился с дядей Ваней, я подошел к калитке в лес. От калитки в сумеречную сень деревьев уходила тропа, сладко цвел шиповник у забора; тлен, истома — и озноб были в его запахе. И я увидел, что тропа вдруг утратила в сумраке черты конкретного, узнаваемого места, стала чем-то, что сочетает действительность и образ; некой тропой, неизвестно куда ведущей, темной и прохладной, ждущей шагов. Я открыл калитку, тихо провернул ее ржавые петли, шиповник осыпал меня увядающими лепестками. Я сделал несколько шагов, и близкий дом, светящийся в темноте, ветви яблонь, линии проводов — все сразу исчезло, осталось далеко позади; только тропа, сумрак, бестелесные души листьев, витающие в сыром воздухе, и ощущение, что ты ступил на некий путь,

где не может быть заминки, оглядки, — вперед, бесстрашно, как дядя Ваня, и тогда волглая, гнилушечья ночь не породит страхов, расступится, пропустит.

Я шел знакомым лесом, но он был чужим; деревья возвысились, раздались вширь; трава — ночная трава, переговаривающаяся на языке тумана и росы, — сосала из земли свое питье, от которого крепили ее коленчатые стебли. Набухали на листьях осины тугие, как желвак на скуле, бородавки, лес изгонял из себя дневное, развеивал человеческие запахи, заращивал следы, поднимались надломленные травинки и примятый мох, соки стремились вверх по стволам. И я вдруг ощутил победительную, бесстрастную силу, прорву жизни, которая затянет любую рану, поглотит любое событие. Лес простиранием корней разглаживал оставшиеся с войны стрелковые ячейки, в глубине стволов ржавели редкие осколки, от которых не осталось и следа на коре, в скрепленных птичьей слюной гнездах спали птенцы, и я был один, наказанный способностью помнить, — против громады шелестящей, щелкающей, скрипящей жизни, распространившей ветви — в небо и корни — в землю.

Я не приносил клятв; что-то совместилось внутри, и я на миг почувствовал себя позвонком среди позвонков; до изнеможения сердца рванулось давление — толчок крови ударил в свод черепа, врезался иглками под ногти, перехватил дыхание. Кровь моя — я, относившийся к ней просто как к жидкости, небрежно залеплявший рану размятым листом подорожника, машинально облизывавший треснувшие губы, — я ощутил ее неистовство, ярость, гнев, будто бы кровь восставала в тот момент против глухой громады леса, кровь моя, бывшая старше меня. И чтобы унять эту ярость, я срезал ножичком тонкий и прямой прут орешника и с этим прутом выступил на высокие, жаркие заросли крапивы; я рубил ее под корень, крапива была врагом, средоточием пустой травяной мощи; чем гуще становилась ночь, тем плотнее крапива обступала меня, и я бился, срубая зубчатые листья, едкие соцветия; и лишь когда утихла ярость, я заметил, что стою у самого забора, у калитки — я уже вышел из леса, а мне казалось, что он вокруг, со всех сторон, и пути не видно.

Наутро, заметив изрубленную крапиву, мне велели прополоть несколько грядок; если меня так занимает война с травой — мое желание можно обратить к общей пользе. Но когда я подошел к

грядкам, я понял, что вопреки вчерашнему рвению не стану выпалывать траву; то было — одно, а здесь — другое; мне стало жаль сорняки, даже бархатисто-колючий, с длинным корнем осот; я знал, что моих объяснений не поймут, и стоял, думая, как бы улизнуть, когда подошел Второй дед. «Сорнячки клубничку душат, душат, — сказал он. — Прополи, клубничка тебе спасибо скажет, ягодкой потом угостит».

Я насторожился: что-то было в этой интонации, ласковой, убеждающей, в этой готовности выпалывать, вырывать, очищать, совершать крестьянский огородный труд, что было уже не крестьянским; день померк, исчезла грядка, красные бока ягод — остался только голос, тихий, но всеобъемлющий, отовсюду звучащий, который приобнимал, сдавливал, шептал на ухо: «сорнячки клубничку душат, душат» — и сам душил, затыкал рот, насильно запрокидывал голову, ощупывал — как обыскивал — тело.

Памятью, которой у меня не могло быть, — памятью крови, — я узнал эти слова; узнал шепот, ласковость уговоров, якобы отеческое прикосновение руки, требовательность голоса; узнал, будто они были знакомы многим из ближайших моих предков.

И мне еще долго потом слышался голос Второго деда, повторяющий «сорнячки душат», — и мне казалось, что иногда он сам думает обо мне как о сорняке, решая, не вырвать ли; я запомнил это желание выдирать с корнем, эту старческую плотоядную радость — чтобы вызрела клубничка! — эти гадкие, затаенно глумливые уменьшительные суффиксы; с тех пор я стоял за сорняки против клубники и ни разу не съел похожей на мясистое сердце ягоды.

Я хотел узнать о прошлом Второго деда, но все, что мог, я уже знал я и так был его проводником, ходил его дорогами, опускал в почтовый ящик редкие его письма; была только одна область, куда он не впускал меня — его пристрастие к рыбалке. На пруд он уходил один и возвращался один; это было целиком его время. Однажды я украдкой увязался за ним, но на полдороге он услышал меня и велел поворачивать домой. Я тогда только надеялся узнать, как же он, слепой, ловит рыбу, но Второй дед явно почувствовал в моем намерении желание подсмотреть что-то другое, о чем знал он и не знал я. И теперь я придумал круглой путь, чтобы не идти за ним по пятам; рыбалка была последней возможностью увидеть Второго деда наедине

с самим собой — по берегу пруда росли ольхи и осока, у каждого рыбака было свое место, закут скрытый от взглядов, куда нужно было протискиваться, раздвигая ветви.

Слепой рыбак, Второй дед не просто не выглядел смешным — даже при желании в нем нельзя было найти черту, деталь, через которые можно было бы уязвить его сделать объектом насмешки. При всей потенциальной комичности облика — парусиновые штаны, пиджак с заплатами, соломенная шляпа — он не был комичен; даже бамбуковые удочки, которые всегда придают взрослому мужчине что-то несерьезное, мальчишеское, смотрелись как-то отдельно от него, не дополняли штрихом его облик, хотя он и нес их в руке.

Он не числился в рыбацком братстве, на пруду у него было особое место, которое никто не занимал, и другие рыбаки не подходили к нему ни за наживкой, ни за папиросой, ни просто поговорить; так он поставил себя с самого первого дня.

Итак, я стал тайком пробираться на пруд и садиться в некотором отдалении от него. Стоило подойти чуть ближе — как бы ты ни старался красться неслышно, Второй дед поворачивался и обращал к тебе незрячие глаза; в этот момент ты чувствовал себя водяной крысой, выползшей из норы прямо на охотничьего пса. Меня поражала эта чуткость в сдержанном, бесстрастном человеке, чьи движения были столь размеренны, словно он монотонно крутил внутри себя заводную ручку вроде ручки патефона, дававшую ход различным сочленениям его постаревшего, но по-прежнему слаженного тела. Мне даже казалось, что он кого-то ждет; кого-то, кто должен прийти и о чем-то его спросить; ждет, чтобы его не застали врасплох.

Чем больше я сидел на пруду, наблюдая, как Второй дед ловит рыбу, тем яснее — медленно, день ото дня — я понимал, что в личности Второго деда нет таинственности; есть только твердый запрет, крепкая запертая дверь, железный брусок засова, толстая дужка навесного замка. А там, за дверью, скрывалось что-то, чему в настоящем времени не было места быть; Второй дед носил при себе все свое прошлое, как беженец не распаковывает на кратком привале у дороги скарба из городской жизни.

Однажды я мельком видел, как Второй дед пишет письмо; наверное, он написал столько бумаг, что слепота ему не мешала, память пальцев верно соединяла буквы. В конце одного предложения

он поставил особый, тонко, с каким-то дополнительным значением выведенный знак вопроса.

Второй дед писал перьевой ручкой, и от испаряющегося фиолетового цвета чернил все письмо выходило как бы заранее состарившимся, а острое, по-змеиному раздвоенное надрезом перо придавало начертанию букв резкость напористой интонации. Знак вопроса же, столько раз выведенный мной самим в школьных прописях, казавшийся мне то абрисом воздушного шара с корзиной точки, то ухом с каплей серьги, — этот знак вдруг предстал мне в каком-то новом значении, которого я не мог тогда объяснить себе.

И лишь позже, на рыбалке, глядя на то, как Второй дед привязывает к леске крючок, я узнал тот поставленный им в письме знак вопроса — узнал его в крючке с «бородкой», которая не дает рыбе сорваться, застревает в ее брюхе.

Второй дед очень странно ловил рыбу; я, зрячий, еще не распознавал в движениях поплавок поклевку, прикосновение рыбьих губ к наживке, мне казалось, что поплавок легко покачивает рябь от ветра, а Второй дед уже осторожно перехватывал удочку, чтобы было удобнее сделать подсечку. Казалось, он особым чутьем узнает, что карась тронул наживку: ему передается через леску живое биение клюнувшей рыбы, он чувствует это биение зрячими пальцами слепца, оно влажно и сладко отдается в каком-то потаенном, хитро устроенном закоулке его души.

Сладострастник смерти, Второй дед, кажется, чувствовал — вообще мог чувствовать — только при посредстве изуверского устройства удочки, в котором боль и страх живого существа переводятся в натяжение лески, в изгиб бамбукового прута; он ощущал эти рывки, эту мечущуюся тяжесть рыбы — как уловленную жизнь; без удочки, соприкасаясь с живой плотью, он, казалось, не чувствует ничего.

Я помню его пальцы — я подобрался близко и видел, как он насаживал на крючок червя. Бывает та крестьянская сноровка, с которой режут кур, перехватывают горло гусю, колют свиней; то грубоватое, но без примеси мучительства, домашнее, свойское обхождение со смертью подвластных скотины и птицы. Здесь же было совсем иное — пальцы Второго деда двигались так, словно он вдевал

нитку в иголку, но даже не для дела, а лишь ради интереса — пройдет ли нить в ушко или нужно взять иглу на два номера больше.

У червяка красная кровь, и червяк испачкал ею его пальцы. На рыбалке руки постоянно то в земле, то в рыбьей слизи, и обтереть их об траву или об одежду — машинальный жест, повторяющийся десятки раз. Но тут Второй дед достал платок и стал тщательно вытирать пальцы. Брезгливости или излишней чистоплотности в этом не было ни на йоту, одна неуместная, подчеркнутая — он этого не замечал — тщательность; тщательность, которая была лишь гранью, неожиданным выступом — так резкий угол скульптуры топорщит наброшенную ткань — его настоящей натуры. За этой тщательностью стояло знание о самом себе, столь для него привычное, хотя и таимое, что он, слепой и не видящий себя со стороны, не уследил, как оно направило его жест: вытереть пальцы.

Чувствовал ли он, что на пальцах кровь, просто ощущал что-то жидкое или понимал, что это кровь, умом? Я не знаю; может быть, ощущение влаги на руках совмещалось в его голове с какой-то картиной из склепа его зрительной памяти.

Лишенные света, большинство видений его прошлого уже, вероятно, распались, рассыпались в прах; он был здоров для настоящего времени, но в измерении времени прошлого он был болен, зрительная память его, если так можно выразиться, сходила с ума: живой обрубок, культия, оставленная наедине с самой собой. В его сознании длился — и увеличивался! — разрыв времен: его прошлое, заключенное в оболочке темноты, не могло встретиться с настоящим. А когда пыталось — незрячая память соединяла, рифмовала с тем, что доносили до нее обоняние, осязание, слух, некие уцелевшие картины, на которых она помешалась; но встреча времен через это состояться не могла: только слепое прошлое посредством затаенного страха руководило слепым настоящим.

Сейчас я думаю, что кровь червяка, насаженного на крючок, казалась ему человеческой кровью; снаружи он оставался прежним, невозмутимым, внушающим даже не почтение, а опаску, словно он вот-вот откроет глаза и скажет — я все видел! — и в этом «все» будет рентгеновское, проникающее знание о том, что ты скрываешь из глубокого внутреннего стыда, что никогда не следует разглашать, потому что оно, мучительно тобой переживаемое, и служит, может быть, залогом существования в тебе совести, и разгласить такое означает совершить нравственное убийство; снаружи Второй дед

оставался прежним, но, я думаю, внутри себя, приговоренный к темноте, он был отдан на растерзание порождениям собственной памяти.

Теперь я понимаю, почему некоторые его воспоминания получились более устойчивыми во времени, чем все остальные. То были воспоминания, выводящие за грань жизни; убийство, уничтожение противоречат назначению памяти — сохранять в целостности, поэтому память о смерти, к которой ты причастен, есть трагический оксюморон; если отчистить такое воспоминание от внешней событийной составляющей, в его основе будет не барельеф присутствия, наличия чего-то, а желоб отсутствия, невосполнимый, но и не прекращающийся, как вода в сосуде Данаид, урон.

Это воспоминание уже не совсем воспоминание; его подпитывает неосуществимое желание, которыми наказывают грешников; и через него не укрепляется, а убывает в человеке бытие.

Когда связующий контекст памяти распался, эти воспоминания обрели отдельность существования, тираническую свободу; и чем сильнее Второй дед хотел изгнать их из себя, тем больше они плодились внутри него; так возникает прижизненный ад, из которого нет выхода.

Но Второй дед — так мне кажется — ни о чем не жалел; с нравственной стороны к нему было не подступиться. Однако категории бытия и небытия первичнее нравственных, и возмездие настигло его через страх смерти; кровь червяка не напоминала ему ни о крови жертв, ни об их страданиях — чем менее он был способен ощутить ужас содеянного, тем явственнее вставала перед ним, вызванная этой кровью, смерть как голый, бесстрастный факт; то, что прежде служило ему защитой — так воспринимать ее, — обернулось против него, оказалось единственным оружием, способным его поразить.

Именно этим объясняется все, что случилось дальше: гибель Второго деда и наша с ним — посмертная — кровная связь.

Все произошло на даче, в начале августа, накануне дня моего рождения. Была жара, такая, что в буфете плавилась, слипались с оберткой шоколадные конфеты; в подполе забродил, вышибая пробки, хлебный квас, сквозь щели пола в дом просочился кисловатый хмель, на липкой бумаге мухоловок десятками дохли мухи, их было столько, что бумага шевелилась, будто от сквозняка; но воздух стоял недвижно,

мутный, несвежий, как вода в стакане, где держат вставные челюсти; по дачным участкам ложилась, подламываясь в коленцах, трава, обмелел пруд — в темно-зеленой, вспучившейся пузырями, засохшей тине гнила рыба; к пруду слетелись вороны, обсели невысокие деревья на берегу, копошились в тине, разматывая клювами рыби внутренности; насытившись, вороны перелетали на провода высоковольтки, и казалось, что провода провисли не от жары, а от веса черной птичьей массы; вороны сидели молча, лишь иногда сыто срыгивая; Второй дед ходил по берегу провонявшего пруда, чувствуя над собой присутствие птиц, и грозил им своей окованной медью, узловатой, розоватой от впитавшейся в древесину смолы палкой, похожей на обтянутую сухожилиями кость мумии.

На дачах, где в белом обмороке кружевных занавесок тяжело дышали старики, красная ниточка градусника дрожала, ползла вверх; каждый градусник стал похож на стеклянную трубку, в которую забирают кровь, и каждый градусник отмерял жизнь или смерть. Кровь распирала обызвествленные сосуды, прилиwała к лицу, туго вливалась в слабое, обмякшее сердце; кровь словно распылилась в воздухе, и псы, попрятавшиеся в кусты жасмина, в трубы, в канавы, вываливали раздувшиеся языки, скребли когтями сухую землю. Лопалась от жары ломкая кожаца уж несколько недель как не собранных вишен — и густая сукровица капала с ягод, пятная кинутую под корни яичную скорлупу; копилась в небе духота, и дряблые, в коричневых крапинах старческие руки трогали тело, вдруг ставшее чужим, далеким — дальше, чем жестяной тубик с таблетками, дальше, чем собственный голос, который уже никого не позовет на помощь.

В окрестных полях стали возникать пыльные смерчи, судороги пространства; что-то зрело, что-то собиралось среди шелушащихся овсов; около дачной сторожки не исчезала очередь у единственного телефона, люди крутили шелкающий при обратном вращении диск, среди вянущей зелени примелькались белый с красным — цвета «Скорой», — и только Второй дед был бодр, деятелен, словно накоротке со смертью, как врач, и жара лишь иссушала до легкости его тело, позволяя быстрее шагать.

В тот день я вышел на «линию» садовых участков; наши детские сборища давно прекратились, будто из воздуха исчез тот элемент, что собирает детей вместе, исчезла та игра ветерков, шелестов, шепотов,

беглости трепещущих ветвей, которая составляет мотив и среду детских игр; воздух был до дурноты густ, липок, как пенка варенья, и отдавал медной окалиной.

Зачем я вышел — уже не вспомнить; бывают поступки, совершаемые в силу неясного тебе самому душевного движения и в этом смысле без намерения, но и не по инерции или привычке. Наверное, мне было необходимо выйти за ограду, освободиться от ощущения, что с четырех сторон ты окружен штакетником; забор дачного участка очень ясно очерчивает для ребенка место, в котором он и защищен, и стеснен одновременно, а сразу за забором начинается улица, где возможно то, что невозможно внутри участка.

Забор — граница, отделяющая жизнь, построенную на повторении, как школьный урок, — позавтракать, прополоть грядку, прочесть несколько страниц книги, — от жизни, где ты предоставлен сам себе; калитка, которую могут запереть, если тебе за провинность запрещено гулять, замок и щеколда — стражи, стерегущие тебя от вымышленных и действительных бед: в прошлом году один мальчик прыгнул с берега и разбил голову, в начале лета другой мальчик пошел в лес и заблудился, третий мальчик стал перелезать железнодорожные пути под стоящим поездом, а поезд тронулся и зацепил его за рубашку, четвертый мальчик стал гулять в песчаном карьере и там провалился в яму. Эти мнимые мертвецы были «прописаны» в дачной топографии, как языческие духи озер и лесов, в их число входил даже летчик, сбитый зимой сорок первого и похороненный у пруда под пирамидкой с красной жестяной звездочкой; они лишали округу безопасности, но сообщали ей настоящесть: лес был не лес, а лес-в-котором, пруд — пруд-у-которого; благодаря им местность как бы обретала дополнительное измерение, переставала быть дачным пригородом и становилась скорее деревенской округой, вмещающей и жизнь, и смерть в такой близкой, взаимопроникающей сцепке, как близки деревня и кладбище за ее околицей.

Под темным лесным выворотнем, в непроглядной, дурманящей густоте малинника в полдень, в хвощах и осоке у берега пруда, сливающихся в густую зеленую дымку над черной водой, во влажном мху болота, в потайном истоке лесного ручья, схороненном под корнями дерева, — повсюду присутствовало нечто, что как бы окликало тебя, прикасалось искательно и приглашающе, словно

проверяло, насколько ты в сознании, нельзя ли тебя увлечь, увести, похитить. И мальчики из рассказов взрослых, с которыми случилось «нехорошее», — ты понимал, что это обман, но обман по незнанию, обман наугад, который из-за этого неожиданно высвечивал область правды.

Поэтому забор дачного участка был не просто охранительной преградой: все ссадины, все раны, все ушибы, все, что заставляет литься кровь и оставляет шрамы, происходило в основном за ним. Порезался дома — неосторожность, которую тут же уврачат бинтом и зеленкой. А там, за забором, понятий осторожности и неосторожности не существовало: светлые поляны и темные лесные чащи так слитно соседствовали друг с другом, так легко и почти весело текла кровь из пореза, что ты еще не видел в этом порезе, в любой ране покушения смерти на жизнь; не видел и в этом смысле был защищен.

Выйдя на «линию», я вдруг ощутил, сколь она протяженна и пуста, словно удлинилась от нагрева, как удлиняются от жары рельсы, чуть раздвинулась в ширину, и это незаметное смещение привычных масштабов изменило ощущение, ею порождаемое. Прежде она была улочкой, проселком, сжатым забором, а вдруг стала дорогой; в любой дороге есть нечто от сцены — принцип сквозного движения, от левой кулисы к правой или наоборот; появление и исчезновение, приход и уход, наличие и пустота, встреча и расставание: дорога двоится, перемежает эти состояния, и если ты ступаешь на нее, то открываешься потоку событий, начинающемуся вне пределов твоей жизни.

Я шагнул на песок «линии» — и увидел обломок бетона с кулак величиной; из него торчала гладкая мелкая галька цвета замороженного мяса и острые, с раковистым изломом, осколки кремня. Кусок бетона, вероятно, упал с машины, вывозившей строительный мусор с какого-нибудь участка; упал недавно и потому лежал невдавленным в песок, привлекая взгляд.

Прежде чем я что-то понял и вспомнил, мой рот наполнился вкусом крови — без самой крови; нижнюю челюсть продернуло, как хирургической ниткой в незажившей ране, болью. Мир кругом стал расплывчат, непрозрачен, как рифленое больничное стекло, как стенки водяной воронки; я смотрел на кусок бетона, но он казался лежащим в

глубине воронки; чем-то единственно отчетливым в расплывшемся мире, но чрезвычайно далеким, обнаруженным на дне памяти. Меня кружило, и ось вращения проходила через этот камень; я медленно тонул сам в себе. В мышцы вступала немота, и я понял вдруг, что руки в буквальном смысле немеют, что внутри тела всегда идет быстрый, телеграфный разговор между разными его частями, а теперь состав тела разлаживался, умолкала его речь, оно становилось пустым — как «линия», на которой я стоял, — пустым, будто книга без букв. Остановилось дыхание, и только воронка с камнем на дне, казалось, втягивает в себя мои глаза, чтобы выпить их, проглотить, как влажные ягоды.

Я спасся — так водолаз находит под водой «колокол», где сохранился воздух, и делает вдох. Моя память обнаружила внутри себя то мгновение, в котором находился такой же камень, и во мне из точки, из отверстия, соединяющего времена, как нервный канал, развернулось мерцающее и отрывочное воспоминание.

Именно такой, щерящейся кремнем и галькой, была глыба бетона, на которую я когда-то упал лицом, слишком высоко взобравшись по ручке коляски и перевесив ее. Мне было около года; память о том времени была подобием околоплодных вод, она лучше передавала звук, чем изображение, и я ощутил только собственный давний крик. Я не понимал тогда, что могу умереть, а крик был старше, чем мой тогдашний возраст, словно это кричал не годовалый младенец, а некто, сознающий ужас смертности и противящийся гибели — криком. Звук был столь пронзителен, что он сгущал, замедлял время, и мгновение падения и боли длилось в нем — длилось в памяти.

Едва только я узнал камень — воронка исчезла, мир остановился, как юла; однако ощущение нездешности, исходящее от камня, не пропало. Я знал, что глыбу, на которую я упал, отец увез на тачке, разбил кувалдой и бросил где-то в дальнем лесу; рассказывая мне об этом, он так и сказал — «бросил в дальнем лесу», и меня испугало, что где-то до сих пор лежит этот кусок бетона с пятнами моей крови, чуть было не лишивший меня жизни, расколотый, но не уничтоженный. Я хотел найти его, чтобы закопать, а лучше — вывезти на лодке в центр пруда и утопить, чтобы его затянуло в ил. Отец лишь посмеялся и сказал, что забыл, где выбросил глыбу; дескать, все это блажь, и если бы не Второй дед, он использовал бы бетон, как намеревался — на

фундамент для сарая; что виноваты они с матерью, недоглядевшие за мной, а бетон — просто бетон, и все. Отец признался, что это Второй дед настоял, чтобы он отвез глыбу в лес; «дурное дело на такую фундамент ставить», — сказал Второй дед, и отец подчинился.

Теперь передо мной лежал такой же кусок бетона. Или это была часть глыбы, на которую я упал? Бывают моменты, когда ты чувствуешь, что нужно жить осторожно: с тебя словно сняли упругие защитные слои, привычные, как одежда, ты обнажен, открыт, уязвим, и случай, карауливший тебя, шедший по пятам вне твоего поля зрения, уже близок, но ты не знаешь, с какой стороны его ждать.

Переживание смерти исчерпало мои силы — не физические, а жизненные, я не испытывал слабости, но чувствовал, что беззащитен, и беззащитен иначе, чем даже животное в прицеле у охотника; под ногами косули или волка есть земля, они уверены хотя бы в ней, уверены в стремительности бега, а я стоял, пытаюсь собрать в себе самую малую часть той силы, которая делает определенным, устойчивым ближайший десяток минут, как бы безопасно продлевает тебя в будущее; о ее существовании узнаешь лишь тогда, когда она исчезает, и настоящее время становится крошащимся краем обрыва.

Песок. Под ногами был песок. Капля пота с лица упала вниз, впиталась, оставив набухшую, выпуклую точку. Я видел в песке поблескивающие зерна кварца, пластинки слюды, похожие на частички крыльев стрекозы, светло-бурые, как размолотая крупа, кусочки полевого шпата; мое тело вдруг показалось мне слишком мягким, податливым, печально обреченным; так при отъезде смотрят на места, становящиеся ослабленными, безропотными оттого, что в мысли они уже покинуты. Я чувствовал себя так, как будто обнаружил в себе трещину, и опасение, что разлом увеличится, спорило с желанием заглянуть внутрь, пройти путем этого разлома, словно он открывал дорогу в прежде недоступные — а может быть, и не существовавшие прежде — глубины.

В самом конце пустой «линии», у дальних ворот, выходивших на место, называвшееся Бетонкой — там была железная дорога на аэродром, заброшенная, с криво разошедшимися рельсами, там однажды свалили с грузовых платформ бетонные блоки, похожие на стелы, на разбитые танки, на колпаки дотов, там посвистывал над битым стеклом, над бродяжьими лежками из картонных ящиков

шалый ветерок окраин, — у дальних ворот появилась черная точка, растущая, будто нарыв, червоточина в желеобразной, соляной плоти дня.

Это была собака, черная собака, которая могла прибежать только со стороны Бетонки: она неслась ко мне, шатаясь на бегу, рыская от канавы к канаве, разинув пасть, роняя в пыль дороги ватную, идущую хлопьями слюну. Никого не случилось вокруг: только я — и собака, мы были соединены «линией», геометрией судьбы; пес мчался, развинченный, собирающий сам себя в беге, — остановись, и распадется, — а я стоял, пригвожденный тем, как он набегал на меня, и уже чувствовал мясом ноги разрывающее прикосновение клыков.

Черный пес — в округе не было черных псов, — черный, подстегиваемый жарой; он подскочил близко, собрался было для прыжка, но мускулы не смогли поднять собачьего тела в воздух, и тогда он налетел, опрокинул, вгрызся в левую ногу, словно моя кровь могла исцелить его. Потом пес навалился сверху, прижал лапами, заелозил, потянулся к горлу — и вдруг взвизгнул, застонал тонко и жалко, изогнулся, словно смерть снимала с него мерку, в которую он, еще живой, не вмещался. Над нами стоял Второй дед со своей палкой: он перебил хребет псу, ударил медью по выступавшим позвонкам; пес издыхал, Второй дед поводил вареными, белковыми глазами, не видя, но словно чувствуя, как опадает шерсть, распрямляются лапы, истекает жизнь пса; из распоротой ноги булькая выхлестывала кровь, и Второй дед внимательно слушал этот звук.

Как он оказался возле меня? Я точно помнил, что Второго деда не было поблизости, когда я выходил на «линию». Видимо, он прятался за шиповником, разросшимся у калитки, — он любил как бы забавляться с ним, приближая пальцы к колючим ветвям, повторяя движением ладони их изгибы, поднося руку совсем близко, так, что шипы, казалось, чертят по линиям папиллярных узоров, как игла по грампластинке; он словно выверял, калибровал, юстировал какое-то свое чувство, заменившее ему зрение, и очень не любил, когда его заставляли за этим занятием; тогда он нарочно — только я догадывался, что нарочно, — укалывался, делал вид, что хотел сорвать цветок или ягоду.

Кажется, именно этим чувством Второй дед узнавал, что со мной происходит что-то важное или представляющее угрозу; родители были

спокойны, они полагали, что я катаюсь с друзьями на велосипеде, а мы затевались лезть на вышку ЛЭП, чтобы снять чужого воздушного змея, запутавшегося в проводах; змей трепетал, я примерял уже сташенные из сарая резиновые калоши и перчатки, товарищи подзуживали меня — и тут на дороге появлялся Второй дед. Шел он, вероятнее всего, по своим делам, но полное предвкушением подвига мгновение сразу же сдувалось; он словно одергивал меня, появившись: куда? не сметь!

Так что вряд ли дело было в совпадении: Второй дед стоял за шиповником, услышал мой крик... Он сторожил меня, Второй дед, пестовал; не меня даже — мою будущность. Однажды дома родители открыли пакет с рентгеновскими снимками, которые нужно было назавтра взять с собой в больницу, и Второй дед, услышав разговор о позвоночнике, попросил подержать снимок. Родители удивились, но дали, а я не успел — да и не сумел бы — возразить. Второй дед взял темный пластиковый прямоугольник, где стлался светлый дымок, плавали космические туманности и призрачные диски позвонков были похожи на башню, внутри которой от этажа к этажу повторялись тонкие белые жгутики, свитые петлями, будто бы веселящиеся, танцующие духи, уловленные в разных «па», — взял и стал ощупывать его пальцами, которые в этот момент стали похожи на пальцы флейтиста, нежно и уверенно закрывающие нужные отверстия, я испугался — мне показалось, что по неведению родители допустили Второго деда к тому, к чему и они не имели права по-хозяйски прикасаться; что сейчас он нажимает на танцующие жгутики, словно управляет или, наоборот, искривляет мою судьбу.

Потом летела через поля «Скорая», выла сирена, вбивая глубже, к пяткам, сознание, пахло табаком и бензином, и качалась, качалась над больничным двором колокольня, которую я много раз видел издали, рыбака на подпруженном озере; колокольня была словно стрелка на приборе, отклонявшаяся то влево, то вправо, она нагибалась ко мне, как знак вопроса, выстреливала ввысь, застила небо, уменьшалась, маячила в дальнем закоулке зрения и снова закрывала обзор. В палате отслаивалась со стен известка, в углу потолка сидел среди паутины черный паук; я видел его странно изменившимся зрением, выпускавшим из виду предметы вблизи; паук двигался перед самым лицом, а разорванная нога — наверно, таково было действие

наркоза, — казалось, еще была во дворе, мое тело тащили по коридору, а в палату занесли только голову.

Паук готовился оплести паутиной мое лицо, забраться в рот, развесить внутри свои липкие нити и ждать, когда ко мне слетятся мухи, жужжавшие в палате; я хотел замахать руками, крикнуть, чтобы паука убрали.

Но стоило попытаться заговорить, как мне являлась собака, ее глаза, гноящиеся, выкаченные, словно касание сухих век причиняло им боль, и я понимал, что это не пес смотрит на меня. Я где-то пересек незримую черту, отмеченную, может быть, лишь увядшими лютиками или рассыпанным гравием; как подхватывают болотную лихорадку — так я подхватил смерть, увидев расклеванного крота, дохлого ежа, облепленного черными рогатыми жуками; забрел на Бетонку в вечерний час, когда в природе возникает трепет перед чьим-то присутствием, которое ощущаешь и ты, и каждый куст смотрит — кажется, что на тебя, но на самом деле на того, кто будто бы стоит за твоей спиной. В такой час нельзя играть в прятки далеко от дома, вне его притяжения, там, куда не доносятся голоса и запахи — можно пропасть, залезть в какое-нибудь темное укывище, которое окажется щелью между днем и ночью; это час промежутка, неопределенного времени, час, который птицы стараются переждать в воздухе. Я где-то впустил в себя этот морок, принес его домой, не заметив, как сначала не замечают болезнь, думая, что легкий жар — от беготни, а в горле пересохло от жажды; впустил, и он разросся во мне, поселился, как поселяется червь в желудке, и поэтому черная собака выбежала именно на меня — я был неосторожен и слишком рано узнал то, от чего ребенок укрыт нерасторжимостью тела и сознания, нераздельностью его личности и всего мироздания.

Все решилось там, в больнице: кровопотеря была слишком велика, требовалось переливание, нужной группы не было, и тогда втиснувшийся в «Скорую» Второй дед — родители были в городе, оставив меня на его попечение, — предложил взять его кровь. По возрасту ему нельзя было этого делать, но он настоял — я этого не помню, но представляю, как он говорил с врачами голосом, ломавшим собеседника так же, как он палкой перебил хребет псу, — и его кровь взяли, взяли много, и я остался жить, а он умер, словно та часть его крови, что перелили мне, и содержала в себе его жизнь, а та, что

осталась в его жилах, была кровью пустой, изжитой — кровью мертвеца.

Сейчас я предполагаю, что он не думал умереть, надеялся на крепость здоровья; если бы он остался жить — он, спасший жизнь мне, — то я принадлежал бы ему целиком, по праву крови в жилах; он рискнул — и выиграл бы, но случилось то, чего он не мог предугадать, рассчитывая, что его перевезут в Москву, выходят, восполнят кровопотерю: надлом наших жизней, опасное утончение их нитей совпали с тектоническим сдвигом истории; время — время Второго деда, в котором он мог существовать как в среде, — закончилось; и он не пережил первых мгновений всеобщей неизвестности, мгновений, отменивших старое, но еще не принесших нового.

Через несколько часов после операции по бетонной дороге мимо больницы пошли танки и бронетранспортеры расположенной поблизости дивизии; я смотрел на них через окна третьего этажа, и в памяти не осталось ничего, кроме вращающихся танковых катков и колес бронемашин — целый час, пока колонна шла, останавливалась, сокращалась и удлинялась, втягивалась в невидимую горловину шоссе, ведущего в город, перед моими глазами крутились эти катки и колеса.

Прежде я видел танки на параде, но там были торжество форм, слаженность движения, не оставляющие места деталям, парад воспринимался как нечто целое, как если бы текст замаршировал, держа строй букв. Здесь же, на бетонной дороге у больницы, танки шли один за другим, глохли, дергались на месте, гусеницы то скрежетали, то обвисали, — вероятно, не все машины были готовы, когда объявили тревогу, — и поэтому в восприятии, смещенном болью и действием лекарств, существовали два взаимоисключающих образа.

Казалось, что танковая колонна, то и дело тормозящая, рассыпающаяся на части по два-три танка, солдаты, остервенело машущие флажками, матерящиеся офицеры, говорящие со своими шлемофонами, сам металл танков, вдруг утративший ту связь, что приводила его в движение, выдохшееся топливо в танковых баках, не способное уже детонировать с нужной мощностью, толкая вперед тонны стали, — все это было распадающейся речью дня, речью паралитика, чьи губы забыли форму звука. Некие слова силились сказаться, быть выговоренными, но слишком поздно: уста уже тронул мертвящий, сродни наркозу, холодок. И позже я узнал, что Второй дед стал

умирать, едва мимо больницы двинулись первые танки; сестра думала, что его убивают лязг и грохот, плотно затворила и занавесила окна, однако Второй дед все равно метался на койке так, словно танки шли по его ногам, случайно оказавшимся в колее.

Был и второй образ, сознание то впускало его, вытесняя образ разрушающейся речи, то вновь от него уходило; катки, ведущие «звездочки», колеса превратились в шестерни часов, которым не хватает завода, которые никак не могут пойти, завертеться; часы эти словно много лет стояли, механизм рассоединился, и теперь все шестерни от малой до большой крутились сами по себе, то смыкая, то размыкая зубцы, и стрелки на циферблате то двигались скачком, то останавливались. Танки пробуксовывали, зло стреляли выхлопом, ревели двигателями, но напряжение людей и моторов казалось несоразмерным медленному, рывками, движению, словно там, впереди на шоссе, что-то упиралось, не пускало колонну, словно она сама — и машины, и люди, — в сущности, не знала, есть ли смысл и необходимость в их походе; словно время тщилося начаться — и не могло.

Августовский день длился долго; далеко в поле за больничными окнами убирали зерно, и два разных вида машин, различающихся, как хищники и травоядные, танки и комбайны, казалось, смотрят друг на друга с изумлением, открыв для себя другие типы механических существ. Молодые солдаты, ожидая, пока заведется танк впереди, развлекались, поворачивая башни в поле, выцеливая комбайны и грузовики, а те отодвигались все дальше, пока наконец работа в поле не встала. Комбайны клином откатились к опушке, остановились, задрав шеи желобов; на обочинах дороги стояли легковые машины, у одной сверху был приторочен диван, и виделось, что он, раздутый, плюшевый, просто забрался наверх, спасаясь от танковых гусениц. В небе бессмысленно, как привязанный на веревочке шмель, кружил самолет сельскохозяйственной авиации.

От грохота танков, от их количества — в колонне было машин сто — день сначала переполнился, а потом, когда колонна прошла, опустел, как пустеют дома, из которых перед сносом выехали жильцы, — окончательно и уже невозполнимо. Так бывает на грани сна, в полудреме — пауза между ударами сердца кажется нестерпимо длинной, ты весь проваливаешься в нее, перестаешь существовать,

пока откуда-то из далей тела не прихлынет толчок крови; ты кажешься себе берегом: сердце расположено вовне, кровь омывает, накатывает волной, а сознание удерживается на линии условного прибора, в пустоте промежутка. Тот день после прохода танков и стал таким промежутком: прежнее окончилось, новое не началось. Даже звуки, казалось, не знают, как им звучать, словно стекло больничных пробирок забыло науку звякать, половицы разучились скрипеть.

Больница была старая, деревянная, щелястая; и вот из щелей стали вылезать мыши. Дерево стен и полов было таким трухлявым, что забивать их лазы толченым стеклом было бесполезно, и мыши бегали бочком вдоль стен, а изредка — наискосок через палату. Но тут, словно чувствуя то, чего не чувствовали люди, мыши осмелели, выбрались наружу. Они вынюхивали, перебегали, их гнали швабрами и тряпками, принесли кота, но мыши не уходили, а кот забрался под шкаф и сидел там, не испуганный, но будто тоже что-то знающий. Мыши лезли вверх по занавескам, по ножкам кроватей, их были сотни, и вдруг стало ясно, что мышей много больше, чем людей, что это их жилище, что больница прогнила до последней доски; я представил невольно, как во всех других домах в округе тоже вылезают мыши, видевшие только старые газеты, которыми оклеены стены под вздувшимися обоями, а теперь впервые обозревающие свет.

Конечно, мышей растревожили танки, гул выгнал их из щелей и нор, но мышиный исход точно отвечал ощущению людей: медсестры в конце концов прекратили бороться с мышами, старались найти себе какое-нибудь монотонное занятие, но ни одно дело не ладилось: тряпка слезала со швабры, вода расплескивалась, посуда падала из рук. В этом не было тревоги, излишнего беспокойства: просто всякое дело есть звено в цепи, тянущейся из вчера в завтра, и всякому делу придает осмысленность еще и соседство других дел, соседство повторяющееся и закрепленное во времени; вымыть пол, выгладить белье, полить цветы, померить температуру, сделать уколы — каждое из этих занятий в обычный день существует в канве других, в канве времени, идущего своим чередом, канве, которая незаметно для человека поддерживает его, не дает ощутить, что время отнюдь не доброжелательно, что полночь дышит в затылок полдню и свет гаснет внутри каждого мгновения.

В тот день прекратилось время, общее для всех; каждый остался с тем, с чем был в руках — со скальпелем или со шваброй; ни одно дело не обесмыслилось, но стало непонятно, в каком большем времени эти дела происходят — прошлое и настоящее уже не порождали ясный образ близкого будущего.

Больница помещалась в здании бывшей усадьбы; из ее окон слишком щедро открывался простор, перспектива эта подразумевала несуществующий уже, вырубленный парк, и теперь казалось нелепым, отчего неведомый архитектор решил столь обширно предъявить взгляду предшествующую хлебному полю пустошь, на которой теснились самозахватные огороды: их заборы были сколочены из кривых жердей, перехвачены металлической лентой, какой обивают ящики с фруктами, перевиты обрывками колючей проволоки, укреплены неровными листами ржавого железа, висевшими и лежавшими так криво, словно их принес порыв ветра и бросил на забор; за оградами — непременно в углу — стояли так же неряшливо сбитые лачуги без окон, где хранили инструмент.

Выкрашенное в цвет яичной муки больничное здание с двумя крыльями-флигелями, с четверкой колонн у входа, с высокими окнами — если каждое открыть, дом выплеснет пену занавесок, станет сквозным, качающимся, парусным, — уменьшилось, принизилось от вида идущих за огородами танков; мне показалось, что потолок стал ближе к лицу.

Танки ушли, а огороды стали наполняться людьми; кто-то запалил костерок, потянуло дымом гнилья, и в этом дыму — а день был рабочий, огороды должны были пустовать — суетились мужчины и женщины с лопатами, не слишком понимая, что делать: выкапывать картошку было еще рановато, а огуречные плети были уже собраны. Кто-то что-то корчевал, кто-то копал яму под компост, и возникало странное ощущение, что танки пробудили в людях воспоминания, которых у них по возрасту не могло быть; еще чуть-чуть, и кто-то первый поймет, что он роет окоп или укрытие от бомбежки; мягкая, разрыхленная многолетним трудом земля словно звала к себе, предлагала сокрыться в ней, как в материнском лоне. Сначала под штыком лопаты пылили сухие комья, а потом открывалось влажное, нетронутое засухой нутро, пронизанное белесыми тонкими корнями трав, пробуравленное ходами червей и жуков.

Есть какая-то бесстыдная откровенность во взрезанной лопатой земле, в ее рыхлости, будто она черный творог, черное сквашенное молоко черной коровы; в ее бесформенности, готовности рассыпаться — и мокрой, холодной хватке ее комьев, не отпускающих сапога. Когда-то я видел в лесу заплывшие танковые окопы, полные непроглядной, маслянистой, как чифирь, воды, впитавшей гниющие — год за годом, до полного изничтожения — осиновые листья; эта вода была глубоким, как обморок, смертным настоем, и среди ясного лиственного леса, полного просек света, каждый окоп казался гибельной чашей, наполненной соками земли.

Вот к этой-то растворяющей черноте, к ее укрытию и стремились люди; поселок пустел, огороды заполнялись, словно жители, чувствуя запах танковой солярки, запах войны и беды, загодя уходили из домов, уходили от всего, что составляло регулярный быт — к времянкам у грядок.

Ходячие пациенты больницы, поняв, что медицинские строгости на время не действуют, тоже потянулись на огороды; каждый шел осторожно, будто слушал свой недуг, пытался уловить его тайные знаки, разобрать в стуке сердца перебой, дополнительное коленце ритма, вплетенное болезнью; болезнь пряталась, и больной старался ее отыскать, понять, насколько она распространилась в теле, каковы территории, занятые ею; пациенты вытягивали шеи, выпрямлялись и замирали на одной ноге, в неустойчивом положении, чтобы основательность опоры не помешала воспринять то, что распознается лишь в неравновесности, в уподоблении себя тончайшей стрелке самописца, регистрирующего неощутимые человеком толчки земной коры.

Однако стороннему взгляду не нужно было искать болезнь — так ясно были явлены все недуги в лицах и фигурах идущих. То, что я видел, находилось уже за тыловым пределом некрасивого и отталкивающего; освобожденное от эстетических значений, оно представляло собой скульптурную, пластическую картину того, что жизнь может сделать с людьми, если в них не происходит внутренних перемен, которые дали бы силу устоять, не поддаться.

Выпирающие животы, впалые щеки, сухие отвисшие груди, парализованные руки — увечья были столь разнообразны, что в этом читалось однообразие. Больница, печальный дом, собрала в себе все

возможные травмы; но недостающие, отрубленные топором пальцы или отрезанная поездом нога были лишь совсем приметной крайностью среди них; скорее общая пластика человеческих фигур была такова, словно люди жили в сгущении постоянных разнонаправленных давлений, надламывающих, сгибающих, вывихивающих, скручивающих; человека месило, разминало, вытягивало, он и сам тратился в труде, истощался в усилиях, и теперь, когда он уже не смог бы и гвоздя вбить, не схватившись за сердце или не зайдясь кашлем, оказывалось, что труд не укрепил его внутренне. Человек даже привык, что ему придают форму эти давления; а когда они исчезли и наступила долгая пауза, разреженность времени — люди ступали так, будто отвыкли ходить без чужой помощи.

Больные и здоровые — все собрались на огородах, наскоро были застелены газеткой топчаны, появилась водка; кто-то принес радиоприемник на батарейках, кто-то — портативный телевизор, и люди сгрудились вокруг них, никто не пытался уйти, поехать вслед за танками, в чем-то участвовать — все посматривали то на телевизор, то на лес, за которым на военном аэродроме прогревали двигатели самолеты, и было ощущение, что телевизор и радиоприемник — новейшие секретные устройства, решающие судьбу, выносящие свой, просчитанный лампами и микросхемами, вердикт: чему быть, чему не быть.

Вот в эту паузу, во всеобщее оцепенение и пресеклась жизнь Второго деда; не то чтобы никто не рискнул везти его в Москву — на краткое время распались все человеческие поруки, и даже трубку телефона старались не брать — кто знает, что принесет звонок; «Скорая», которая везла нужные ему лекарства, застряла где-то на обочине, пропуская танковые колонны, и он умер — новое время, может, и приняло бы его, гибельными оказались промежутки, рассоединенность.

Так мое существование совместилось с его существованием; я уже никогда не был до конца самим собой — во мне обращалась кровь Второго деда, спасшая меня; в теле мальчика текла кровь худощавого слепого старика, и это навсегда отделило меня от сверстников; я рос под знаком неопределимой жертвы, которую Второй дед принес ради меня; рос как черенок, привитый на старое дерево.

Во время его похорон я лежал в больнице, а потом с трудом мог приходиться на кладбище: мне казалось, что Второй дед не умер до конца, что он поселился во мне, и когда я стою у могилы — это две разобщенные части души Второго деда встречаются друг с другом, одна — неупокоенная, вторая — та, которую я ношу под сердцем, как беременные плод; встречаются — и испытывают сладострастное удовольствие, потому что им удалось обмануть смерть, зацепиться за жизнь, а вокруг лежат просто истлевшие тела, и вся бутафория памятников, плит, фотографий, дат ничего не значит.

И я смотрел на других людей, стараясь узнать — а нет ли среди них такого же, как я, носящего в себе мертвеца; вдруг кого-то еще мертвец приводит на кладбище, глядит изнутри на уборщика, метущего аллею, сгребающего палую листву, и чувствует себя как хитрый и злой ребенок, который в отместку забрался туда, где никто его не найдет.

Мне было почти невозможно находиться в квартире, где раньше жил Второй дед: я думал, что его вещи, благоговейно сохраненные на своих местах, знают, кто я, и вся квартира, превращенная в мавзолей, в усыпальницу, где чутко упокоена память, знает, кто я. Его костяной мундштук на столе казался частицей его самого; домработница разложила по полкам десятки его очков со стеклами разной толщины, накопившихся, пока Второй дед терял последние остатки зрения; вероятно, она пыталась создать для себя в каждой точке квартиры ощущение, что он не умер, а лишь ушел, положив очки на сервант, и вот-вот вернется, но для меня помутневшие линзы означали взгляд Второго деда, он был во мне — и одновременно видел меня со стороны, в любом месте любой комнаты, где бы я ни укрылся, под кроватью, за портьерой, и только за высоким, в рост, зеркалом я мог спрятаться, главное было в него не смотреть — на противоположной стене висела фотография Второго деда, и висела так, что когда я заглядывал в зеркало, он вставал за правым моим плечом. Его «Зигзауэр», немецкая двустволка, висевшая на стене, тоже смотрела на меня, правда искоса, темными срезами дул, двумя нулями, словно оценивала, достанет ли у прежнего хозяина сил взять ружье моими руками, а в глубине антресолей лежали по коробкам патроны, полные нестареющей силы пороха.

Теперь, вспоминая Второго деда, я иногда думаю, что он сам выкликнул себе смерть как раз такую, какую хотел, хотя, отдавая мне

кровь, он и рассчитывал выжить.

Он боялся умереть, как обычно умирают; он жаждал жить — через меня, во мне — и страшился смерти так неистово, словно знал, кто встретит его там, в загробном мире; Второй дед искал спасения душе, спасения, понятого на свой лад; и неосознанный замысел его удался даже точнее, чем если бы он остался жить; его смерть обязала меня целиком и бесповоротно, обязала благодарностью, не зависящей от любого возможного знания о нем; как бы то ни было, он меня спас, жертвуя жизнью, — и тем ту же затягивался узел, что жертва была случайной, а добро — рискованно просчитанным наперед.

Часто удивлялись, почему Второй дед выбрал себе такую домработницу — вдову с пятью классами образования, детдомовскую, не знавшую семьи, пережившую голод в Поволжье, навсегда сохранившую в себе этот голод — он жил в глубине ее крупного, набравшего женскую стать тела, и вся ее готовка, вся ее домашняя еда были слишком сдобны или слишком жирны; мне помнятся янтарные, выпуклые, текучие капли этого жира в щах, розоватая, нежная роса жира на прослоенном мясом сале. Не замечая, она кормила не себя, а тот давний голод, не утихавший в ней; голод сосущий, бередящий, как некое предчувствие, которое на самом деле есть голос воспоминания, представившегося предчувствием, потому что как воспоминание мы видеть его не хотим. Теперь я понимаю, что Второй дед подобрал ее, словно готовил себе оправдание — он помог женщине, чья судьба не позволяла рассчитывать на чью-либо помощь, и она отплатила ему верностью.

Домработница выполнила завещание Второго деда: сожгла в парке все его бумаги, выбросила на помойку одежду, обувь; говорят, в те дни — дни августа — она была не единственная, кто так поступал; пока людские толпы стояли у правительственных зданий, люди прежней эпохи, самые осмотрительные, прятали добро или избавлялись от улик, иногда — вместе с самими собой; если подсчитать, сколько в первый и последний раз выстрелили тогда наградные пистолеты, получится пиковое для многих десятилетий значение. Родители занимались тогда мной, на похороны Второго деда никто не смог поехать; домработница рассказывала потом, что на случай своей смерти он оставил ей номер телефона, и когда она позвонила, приехали люди, судя по виду — из военкомата; они все и устроили,

быстро, по-военному четко, забрали под опись ордена, которых оказалось с десятков, каких — домработница не запомнила; хоронили так, словно чего-то опасались в наступившие неясные еще времена, будто не знали, нужны ли почести или, наоборот, следует сделать все тихо, и потому спешили; когда мы потом приехали на могилу, там был только траурный венок без надписи.

Второй дед ушел анонимно, как и жил; так, словно существовала специальная служба, занимающаяся тотальным изъятием из ЖИЗНИ; кто-то из родных пробовал позвонить по телефону, взятому у домработницы, но даже не смог выяснить, куда звонит: узнав, что разговаривают не с родственниками, там отказались сообщить что-либо о Втором деде. Наверное, если бы он умер в другое время, нам удалось бы что-то выяснить, отыскать товарищей, сослуживцев, понять, из какого учреждения приезжала похоронная команда; но распадалась страна, прекратили работу все ведомства, уже ничего не значили прежние должности, звания, обесмыслились погоны, знаки различия, бланки документов, вывески; и в этом хаосе Второй дед канул бесследно, словно заранее подготовил себе такой уход. Все предпочитали не знать, не говорить, не сообщать, забыть, и долгие розыски, — кто же был Второй дед, — ни к чему не привели. Однажды он намекнул, что был начальником крупного строительства; теперь этот обман вскрылся, но заменить его было нечем; поэтому — наверное, ради меня — Второй дед остался просто Вторым дедом, человеком, спасшим мне жизнь.

В завещании его было указано, что квартира переходит домработнице, а после ее кончины — мне; на мое имя был сделан крупный вклад — я мог получить его к совершеннолетию; дачу Второй дед тоже завещал домработнице — а впоследствии мне.

Так я стал наследником; вклады скоро обесценились, прежние тысячи стали ничем, и фактически я наследовал только тайну жизни Второго деда; деньги, некогда бывшие весомыми, превратились в бумагу, их, как я узнал потом, вывозили грузовиками хоронить — деньги не жгут, в их краске слишком много вредных примесей; а позже в одной из северных областей я побывал на шахте, куда в начале девяностых сваливали эти купюры в полиэтиленовых мешках.

Где-то там, среди свезенных из отделений Сбербанка фиолетовых двадцатипятирублевых с профилем Ленина, лежали и деньги,

завещанные мне Вторым дедом. Я взял на память одну купюру — не ради воспоминаний о своем утраченном богатстве, а как свидетельство того, сколь быстро и невозвратно исчезают материально воплощенные силы и возможности эпохи; свидетельство мгновенного наступления исторической немоготы; и я увидел, как вместе с временем ушло и то, что составляло — в посмертии — власть Второго деда надо мной; время, подумалось мне, разрешило эти узы.

Но там же, в денежном схроне, я вспомнил, как однажды, уже юношей, я приехал прибраться на могиле Второго деда; мне казалось, что теперь я уже могу безопасно приходить на кладбище, где когда-то с омерзением ощущал схоронившегося во мне старика. Наверное, я надеялся мысленно примириться со Вторым дедом, отпустить те давние воспоминания, заместив их новыми, и специально выбрал время накануне дня своего рождения: мне думалось, что я приберу могилу и шагну в новый год жизни уже в иных отношениях с прошлым.

На старом кладбище было просторно и прохладно; на мозаике старинного склепа лодочник Харон вез умершего через Стикс, и в такт движениям уключин поскрипывала тележка кладбищенского уборщика; по дорожкам привычно пучилась из-под плиток земля, будто мертвецам не хватало там места.

Я подмел на могиле, полил папоротники и пионы; покурил, глядя на соседний участок — там были похоронены муж и жена Бессмертные, Иван Павлович и Софья Васильевна; черная глыба лабрадора переливалась синеватыми, радужными, как «глазки» на крыльях бабочки, блестками; высоко в ветвях ссорились вороны.

Было пусто и свежо, как на краю поля; мне показалось, что прошлое наконец-то ушло, Второй дед оставил меня в покое; я даже думал, что теперь смогу бывать на кладбище чаще — я пережил его власть над собой, ей вышел срок давности, определенный какими-то неизвестными, но действенными законами, и в новом времени я сумею еще больше отдалить те давние переживания, перекрыть их другим отношением ко Второму деду: отношением, уже, в сущности, не предполагающим отношения, а лишь эластичную привычку памяти, под воздействием которой на самом деле только глубже забываешь: помнишь не то, что было, а воспоминание о воспоминании, и прошлое

отдаляется, мельчает, как предмет, отраженный в двух составленных друг к другу зеркалах.

Я пошел по дорожке, не оглядываясь, унося в себе это новое настроение; была лишь необременительная печаль оттого, что все так легко и невыразительно случилось. Кладбищенские ограды, кресты, деревья — все освободилось от тяжелого впечатления, наложенного воспоминаниями, предстало в непритязательной новизне; я шел медленно — мне хотелось подольше побыть здесь, наново запомнить все. Кладбище поменялось даже в цветовой гамме, проступили светло-зеленые, соломенные тона, которых я раньше не замечал.

Но вдруг на старом, трухлявом пне я увидел мучнистый, складчатый, похожий на заплывшее жиром ухо древесный гриб.

Ухо — подземный мир слушал, он был здесь, я только не распознал его в сквозящих солнцем приметах дня. И все вернулось: страх, отвращение, озноб; гриб был похож на плоть трупа — и жив существованием растений; Второй дед не отпустил меня.

Часть третья

В моей юности стремление вырваться из родительского дома подспудно умножилось желанием оказаться там, где ничто не напоминало бы мне о Втором деде; на улицах родного города я никогда не мог быть самим собой — я всегда был еще и немного он: здесь я вел Второго деда в обувную мастерскую, здесь мы шли с вокзала, здесь покупали ему костюм.

В этом городе я потерял возможность оставаться анонимом; ведь подлинная анонимность не в том, что ты никем не узнан, а в том, что и окружающий мир не «зеркалит», не возвращает тебе себя с помощью воспоминаний.

Есть отжитые места: с ними многое связано, но связано для тебя прошлого; там ты в большей степени человек из дней минувших, а не сегодняшних. И весь город, все его улицы стали для меня подобным местом; когда я учился в последних классах школы, я даже старался найти какие-то новые пути, новые дороги в обход привычных маршрутов, как бы наложить новую карту на старую; но десятилетия жизни без переездов делают такой маневр невозможным: все уже исхожено, все уже увидено. И тогда я выбрал профессию геолога; мне нужно было забраться как можно дальше, оказаться в чужих краях, избавиться от обязывающего наследства.

Я повидал мир; но главное — из края в край проехал страну. И оказалось, что есть притяжение судьбы; есть поле, которое всегда шире, чем мы его видим; мой отъезд, моя работа в дальних местах стала лишь путем возвращения к тому, от чего я стремился отдалиться. Но я возвратился уже другим — внутренне готовым принять и избыть до конца выпавшее мне наследство, хотя я и не знал об этой готовности, пока жизнь не окликнула меня.

В старом городе, а особенно в столице, проходящие эпохи оставляют после себя значительность и пафос архитектуры; наследие разных годов становится противоречивым единством общего городского облика, сияющим и велеречивым; и здания создают это сияние, и оно осеняет их. Поэтому прошлое там не наглядно: от него

остались только великолепные фасады. А что за фасадом — без помощи архивов и свидетелей понять невозможно.

Но в природе все, что сделал человек, остается в обнаженности; там нельзя ничего скрыть за архитектурой, за «высотками», мостами и памятниками; так же мало что можно скрыть в городе, чей культурный слой насчитывает только одну эпоху, который создан общим обликом этой эпохи.

Поэтому, когда я в первый раз поднялся на вертолете над тайгой, подступавшей к северному городку, и увидел звездами расходящиеся через гущу леса линии лесосек, десятки километров лесных вырубок и низкие, утопленные в местность бараки лагерей, действующих и заброшенных, я чувством узнал больше, чем мог прочесть в книгах; я увидел созданную лагерем среду катастрофы зрения, устроенную так, что в ней не распознается зло.

Множество людей лишили жизни, лишили судьбы, лишили свободы; и на фоне этого огромного, всеобъемлющего зла любое меньшее зло стало неразличимо; стало возможно жить там, где все — от облика жилья до речи — расчеловечивает, а не вочеловечивает; лагерь и лагерные выселки распространились, укрепились — и начали воспроизводить сами себя уже без участия государства. И мой проход через эти измененные лагерем края и стал путем возвращения: ко Второму деду, к его жизни и делам.

Все, что я встретил и увидел в странствиях, невозможно уложить в текст, взаимоувязать; поэтому я держу сейчас в руках те двадцать пять рублей из шахты, где хоронили деньги; я ощущаю, что во времени есть сквозные ходы, накоротко соединяющие то, что должно быть узнано и понято; для меня таким ходом, такой замочной скважиной стал профиль Ленина — если смотреть не на него, а сквозь него.

Первый взгляд — через портрет — во время до странствий, в последний школьный год.

За школой, где я учился, был двухэтажный сгоревший особняк: изломанные стены огораживали завалы обугленных балок и покоробленного листового железа; от особняка исходило ощущение упокоившегося бедствия, и оно завлекало войти в дом, изучить самое его нутро, увидеть безобразно застывшую агонию вещей — без риска приблизиться к отвердевшему, не способному уже посмотреть в ответ лику смерти.

Я залез в тот дом; разрушения внутри не были столь велики, как это казалось снаружи. Но, открыв одну из дверей в коридоре, я едва не шагнул в пустоту: дверь распахнулась под потолком большого помещения, бывшей мастерской скульптора. Лестница, которая вела вниз, рухнула; мастерскую завалило разным хламом, осыпавшимся, когда дом горел, с фасада ее нельзя было угадать; потайная комната, секрет сгоревшего особняка.

На полу мастерской стояли десятки Лениных: только бюсты. Из гипса, из гранита, из металла, из пластилина, размером с голову младенца — и в половину роста взрослого человека. Ленины смотрели друг на друга, луч фонаря был слаб, и в дальних углах скульптуры уже легко сливались с темнотой, будто призраки, развоплотившиеся истуканы былых времен, тени памятников.

Воздух пах гарью, камнем, пылью; пыль лежала на головах, на полу, на разбросанных инструментах скульптора; не домашняя мягкая, невесомая — плотная пыль, которая могла бы быть прахом гипсовой скульптуры; слишком тяжелая, чтобы ее сдуло даже сильным сквозняком.

Если бы хоть один из бюстов был не закончен или, скажем, был бы бракованным, с видимым недостатком, мгновение обрело бы иной привкус. Но все Ленины без вариаций повторяли друг друга, все они были даже не копиями, а копиями копий; они множились здесь, в камерке забвения, в ста шагах от Садового кольца, делились надвое, как амебы; они уже никак не соотносились с реальным Лениным, каждый из них был словно монумент монументу, бюст бюста.

Я вдруг увидел, что пыль, лежавшая повсюду, есть сухой остаток времени; оно ветшало и осыпалось здесь, бесплодное, не могущее преодолеть само себя. Мне показалось, что большие Ленины возникли раньше, а меньшие — позже: в потайной щели шла цепная реакция вырождения, время, умирая, тщило себя воспроизвести, сохраниться — и не могло породить не только что-то новое, но и что-то хотя бы равное прежнему.

Здесь, а не на Красной площади, был настоящий Мавзолей; здесь я понял, что такое на самом деле агония — человек умирает не сразу, а в протяженности умирания всех его «я».

Памятники тоже пытались умереть, но небытие не принимало в себя размноженный скульптурный образ, никогда в качестве образа не

бывший живым, возникший мертворожденным, и он только мельчал, мельчал, мельчал. Наверное, если спуститься вниз и посмотреть, где-нибудь под столом, под верстаком, под ворохом газет, под ветошью обнаружился бы крысиный Ленин, мышиный Ленин, и так до самых частиц пыли, состоявшей, вероятно, как мел — из окаменевших радиолярий, из микро-Лениных, известковых скульптур, различимых только под микроскопом.

Смерть-в-смерти; мертвое время — они так и остались для меня множеством бюстов на запыленном полу покинутой мастерской; хотя особняк давно снесли, распад этот бесконечен и продолжается где-то еще.

Второй взгляд — через портрет Ленина — в годы работы на Севере, в горы, где экспедиция обследовала старые месторождения, начатые трудом заключенных и потом оставленные.

В горах тогда был туман; в тумане все предметы как бы теряют вещественную составляющую, становятся больше образом, чем вещью; туман превращает внешний мир в нечто подобное миру внутреннему, населенному бесплотными сущностями в призрачной среде; что бы ты ни увидел — избу, треногу геодезического знака, — все сначала предстает в значении символа, выплывшего из коловращений туманной мути; туман будто предъявляет то, что обычно скрыто — эту сущностно определенную форму, душу вещи, будто бы она — явление сознания. И сознание воспринимает вещь уже иначе: небуквально, считывая всю ее потенциальную образность и смыслы.

Именно так сквозь прореху в тумане я увидел бараки на перевале. Едва различимые сквозь белесую изморось, они казались чем-то не принадлежащим конкретному месту. Вырезанные из пейзажа, размытые, исчезающие на пределе зрения, бараки близились, не становясь более отчетливыми; но детали и не были важны. Из тумана проступали абрисы, контуры, не нагруженные объемом линии — и главное было в этих линиях.

Можно нарисовать дом, в котором не захочется жить; а можно едва заметно надломить линии рисунка так, что в них — хотя это по-прежнему будет рисунок дома — проступит нечто, что поняли бы Филонов или Кандинский: эти линии будут горе, беда, смерть; не композиция будет в сумме что-то означать, а каждая линия выразит

невыразимое, казалось бы, в графике с той ясностью, будто это не линия, а зримый звук. Это будет мунковский «Крик», но решенный не через сюжет и цвет — предсмертный крик геометрических фигур, которые убивают, рассекают на части, сдавливают пыточными тисками, вздергивают на дыбу.

Очертания бараков как бы отодвинули на второй план сами бараки; нельзя было сказать, что ты видишь некие строения, человеческое жилье. Бараки стояли, как фанерные ящики для посылок, куда складывают людей, неестественно вытянутые, длинные — такое соотношение длины и ширины бывает только у гроба.

И вот эти очертания — они ощущались как длящийся вопль, вопль формы, которую неожиданно настиг ужас от самой себя.

В том лагере я узнал черты многих других мест, присутствовавшие в них непроявленно, а здесь обнаружившие себя в откровенности абсолюта. Это были не буквальные, физические черты — скорее черты того эмоционального ощущения, которое производит на нас то или иное место; черты его чувственного и ментального портрета.

В коровниках колхозных ферм, в «хрущевках» городских окраин, в складах у железнодорожных станций, в сельских одноэтажных домах и в домах рабочих поселков, в сараях, в провинциальных гостиницах, в конторах лесосплава, в армейских общежитиях, в районных больницах, во множестве других зданий, разбросанных по стране, я чувством узнал эти лагерные бараки. Они скрывались как бы внутри зданий, рядились в их убогие архитектурные одежды — и все же проступали общими очертаниями, углами, а главное — ощущением смертной, без переносного значения, тоски.

Однажды я был в гостях у шахтера; из окон его квартиры открывался вид на терриконы угольных шахт — огромные конусы пустой породы. Терриконы пылили, дымили, и я внутренне замер: человек живет с видом на тщету своего труда — вот пустая порода, ее пыль разносит ветер, разносит далеко, даже памятник шахтеру в центре города стоит с черной присыпкой на лице; живет — но этим видом его разъедает, как кислотой, хотя бы он об этом и не думал. Отсюда и тоска, смертная тоска — тоска человека, оказавшегося лишь материалом или инструментом великого строительства.

Вот это же ощущение — только умноженное во много раз — я испытал там, в горах; и не только умноженное, но перешедшее в

качественно иную степень; лагерные бараки, отвалы штолен на склоне хребта — все это выражало некий большой замысел, было частью гигантского плана, но применительно к личной судьбе служило средством обесмыслить ее.

Рабский труд, которым жило это место, был анахронизмом для двадцатого века; анахронизм же всегда «выпадает» из своего времени, не участвует в нем, как бы ни была деятельна имитация участия, а только продолжает сам себя.

Но кроме временного разрыва был и разрыв пространственный. Я понял, зачем было ссылать людей в тайгу, в тундру: их вычеркивали из общего бытия людей, высылали из истории, и смерть их случалась не в истории, а в географии.

Все там было устроено так, чтобы место, где жили и умирали люди, не вобрало в себя ничего из их жизней, чтобы не возникло пусть слабое, но притяжение этого места. Можно упрекнуть меня в отстраненности взгляда — но там нечему было сопереживать, не с чем сцепиться чувству — и в этом была непоправимая беда.

Только дерево и камень вокруг, серый, поросший лишайником, раскисшим от дождя, сланец — и серые доски и бревна. Этот серый цвет дерева — с тем отливом ворсяной седины, который бывает у дорогого шинельного сукна, уже был знаком мне; дерево усыхает, словно мышцы старика, отчетливо проступают его волокна, а сверху ложится эта патина серости: неброский лоск смерти. Такие доски я видел в заброшенных деревнях, и вот теперь здесь, в горах Севера. Они были похожи — в этом нет святотатства — на древесные мощи: даже если бы ударил мороз, я бы не стал разжигать из них костер.

Я шел от барака к бараку: их строили наспех, скупое, а вместо гвоздей использовали деревянные клинья; дерево и камень, никакого железа, никакой охры от ржавчины. Место умирало неестественно чисто, стремясь целиком исчезнуть в природе. И лишь в одном бревне я нашел гвоздь, кованый, четырехгранный, с оплывшей от многих ударов шляпкой. Гвоздь давал надежду, что место не пропадет до конца, останется след, останется память; гвоздь показывал, что эти бараки — не морок, не призрачное поселение ветра и тумана, что здесь были люди.

Я вспомнил все гвозди, которые когда-то вбил: как приставляешь острие гвоздя к доске, как бьешь в пятую часть силы, чтобы оно

впилось в древесину как потом, когда гвоздь уже идет точно, стучишь молотком, радуясь этой точности — и последним ударом вгоняешь шляпку заподлицо с доской, словно ставишь точку, соединяешь то, чему должно держаться вместе, быть соединенным.

Гвоздь; он легко вышел из трухлявого бревна и лег в ладонь. Сама его форма — форма точки, у которой есть глубокий корень, которую не вырвать с того места, куда она поставлена по смыслу сказанного, — о чем-то просила меня. И, глядя на гвоздь, на бревна, на доски, я вдруг понял то, чего не понимал прежде: как могут соединяться вера, зиждущаяся на себе самой, и то, что мне казалось разновидностью требующего предметных доказательств суеверия: благоговейно хранить гвоздь с Креста Спасителя или щепку от этого Креста. Я увидел, что речь не о доказательствах, не о буквальном, музейном сохранении вещи — на те, кажущиеся нам неодушевленными, предметы, которые были орудием или просто свидетелями страданий, мук, ложится грозный отсвет; они получают как бы второе бытие, некое подобие голоса, прорываются сквозь собственное косноязычие — сама душа события, квинтэссенция его провиденциального значения поселяется в вещи и говорит с нами.

Вот так, стоя с гвоздем в руке, я почувствовал, что мне слабо отзывается место, где я нахожусь. Среди камня иногда попадались малые островки почвы, настолько тонкой, что даже мох не мог в ней укорениться. И вдруг я словно сделал шаг в сторону из себя самого и увидел местность смещенным, вне меня лежащим зрением — я увидел, что эти горстки земли, которых избегали растения, — это человеческий прах; точнее, то, во что прах превратился; то, что было прахом, а стало землей.

Я увидел, что то, что случилось здесь, случилось окончательно; смерть не одномоментна, она длится как бы после себя самой: умирает человек, уходят те, в чьей памяти он был жив; вымываются, исчезают рассеянные, как частицы руды в породе, следы его существования. Эта выжидающая работа смерти, больше знающей о сроках, отпущенных людям и вещам, в обозримом времени редко успевает закончиться: люди могут уже ничего не помнить, но смерть требовательнее к чистоте и полноте забвения.

В том месте она довела свою работу до конца — и даже сама выветрилась.

Мысленное или чувственное обращение к умершим возможно тогда, когда что-то может ответить эхом; когда бытие сохранило слепок присутствия, символически изображаемый в посмертной маске. А если смерть разбила и «посмертную маску», то никто и ничто уже не отзовется.

Именно это ощущение было там, среди камней; ощущение утраты, которую не превозмочь ни чувством, ни мыслью. Земля была слишком чиста и в тонкости своего слоя открыта взгляду, чтобы можно было попытаться протянуть связь между ней и людьми, умершими здесь. И только гвоздь, — словно он один остался от целого дома, — гвоздь был в моей руке; обладающий всей осмысленностью формы, но представляющий собой единицу, единственное число предмета, а потому и значимый, и бесполезный одновременно.

Туман развеивался; ветер разгонял его. Я поднимался к штольням по тропке среди камней, повторял тот путь, которым шли вверх заключенные. В этом не было попытки ощутить себя на их месте; иногда важно просто повторить чей-то путь, пройти след в след; здесь, на узкой тропе, уводящей круто вверх, туда, где над пустотой висели концы ржавых рельс, с которых сбрасывали в отвал породу, рельс, зовущих кинуться вниз, — здесь через меня, такого, каким я был, что-то совершалось, чему должно было совершиться в этом месте.

Отвалы штолен внезапно осветило солнце; битые кристаллики горного хрусталя, наполнявшие осыпи, брызнули в ответ ледяными, обманчиво освежающими взгляд бликами. И так странен был вид горы, так красиво чистое, без цветовых примесей, сияние, что я остановился: этот идеальный, ясный свет воплощал в себе неодушевленную жизнь природы, действие ее законов, в своем выверенном великолепии отрицающих все человеческое. В отвалах штолен была порода, вобравшая в себя смертные усилия людей, удары киркой, кровь и тепло израненных камнем рук, — и теперь эта порода хладно искрилась под солнцем; красота ее не ослабла, не потускнела и потому казалась опасной, цепенящей, как свечение тонкого весеннего льда, под которым — мертвая, лишенная воздуха зимняя вода, полная тленом рыбьего мора.

Чтобы перебить, сбросить впечатление, я обернулся. Солнце наполнило светом озеро у подножия хребта; выпуклый, будто капля на стекле, его абрис ударил в зрачки. Недобрая шутка природы — шутка,

ждавшая своего часа несколько миллионов лет: у озера были очертания профиля Ленина, впечатанного в подкорку каждому из нас орденами, значками, марками, статуями, картинами, рисунками в книжках.

Озеро в густой, почти кондитерской позолоте солнечного света казалось чудовищным памятником, чудовищным потому, что природные формы легко и согласно приняли черты формы рукотворной, и в этом принятии — без принуждения — вдруг ясно проявилось безмысленное, беспамятное существование природы, которую мы слишком привыкли очеловечивать.

И видя это предательство материи, — предательство по отношению к тем, кто каждый день поднимался к штольням из барачков, глядя на профиль умершего вождя, чьим именем их принуждали к труду, — я отрекся от чувства близости с этими горами, от той канвы воображения, которая придавала им некую антропоморфность. Во мне возникло другое, старшее чувство: возможная человечность природы — лишь насмешка, демоническая ухмылка; человеку в природе не на кого положиться, кроме как на самого себя.

Вскоре — экспедиция продолжала работы в окрестностях брошенного лагеря — я отправился в одиночный маршрут. Через два дня пути на горы сели обложные облака, шел дождь, ветер гнал капли параллельно земле; даже мне, в добротной непромокаемой одежде, было знобко. Непогода пришла надолго, горная тундра промокла, все, что годилось в костер, — трухлявые бревна, ягель и прутья полярной березки, — отсырело; с запада шел тяжелый фронт, и было понятно, что к ночи дождь сменится снегом, северной летней пургой, обледенеют камни на перевалах.

Я думал уже повернуть обратно, но заметил навес из досок и толя над старой закопушкой, одной из ям, которыми были изрыты горные склоны на несколько километров вокруг лагеря, — заключенные вскрывали землю и каменную дресву, чтобы добраться до коренных пород и взять пробы. Навес соорудили совсем недавно, иначе ветер и снег развалили бы его; кто-то прятался от непогоды, не имея палатки.

Под навесом лежал беглый зэк; бушлат, татуировки, облик — все выдавало его; от кирзовых сапог, перевязанных проводом, отлетели подметки, ноги были в кровь разодраны о камни; идти без обуви он уже не мог, рвал бушлат и обматывал им ноги, но ткань с ватной

набивкой тут же расползалась от дождевой влаги; он видел над краем ямы снежные тучи и, наверное, знал, что ночью умрет.

Я понимал, что он сделал бы со мной, если бы застал спящим в палатке; беглец был очень худ, лицо его густо поросло волосами, в них застряли нити мха, листья, щепки, грязь; месяц или больше он скитался по тайге, рискнув, видно, бежать не в сторону железной дороги, а через горы совсем в другой край, где его не станут искать. В яме ворочался, согнувшись, стиснув трехгранную, из напильника, заточку, уже не человек и даже не человекообразное; леший, лесной дух, вылезший из-под земли. Месяц знавший только с деревьями, он не был похож даже на животное; словно бы под землей, удушая друг друга, переплелись корни разных деревьев, деревья погибли, а узел корней — не расплести — остался жить жизнью нежити, разросся, выпихнул себя на поверхность, перекашивался, таился по оврагам, по кочкарникам, под выворотнями упавших деревьев; убил человека, вполз в его одежду, втиснул древесные культи в сапоги, но человеком не стал, а только узнал, как ломаются кости и лопаются мышцы в захвате кожистых, морщинистых рук-корневищ; если бы у меня было ружье, я бы застрелил его и завалил камнями — от страха, от ощущения, что передо мной действительно подземный выкормыш, убивший беглого заключенного.

Но ружья не было; я спустился в яму. Беглец оттолкнул от себя заточку; он был слишком слаб, чтобы сейчас убить меня с пользой для себя. Я мог просто уйти, словно и не видел навеса, и беглец замерз бы там; кто знает, за что получил он свой срок, как бежал, были ли у него товарищи по бегству и где они; чем он питался — грибами или человечиной; я спустился, разжег газовую горелку и стал варить бульон из кубиков. Я понимал, что спасаю наверняка убийцу, может быть — насильника, грабителя, людоеда; слишком долго он ходил по тайге, чтобы унести в карманах бушлата продукты на такой срок, слишком дико смотрел — будто видел меня освежеванным, со вспоротым животом. Я должен был уйти, вернуться в лагерь, вызвать по радиации милицейский вертолет, но не мог этого сделать; я пытался представить себе тех, кто пострадал от него, кто, может, был бы готов его убить, отомстить, — но все это не имело прямого отношения к яме, к ледяному дождю, к надвигающемуся снежному фронту. Можно было бы предположить, что смерть, ждущая беглеца, — справедливое

возмездие, и скорее всего он действительно его заслужил; но и мысль о возмездии была какой-то идущей от ума, ищущего, как бы чистым выскочить из этой ямы, ни во что не вмешаться, ничего на себя не принять. «Это возмездие, оно справедливо, уходи, и пусть оно совершится», — говорил я себе, но продолжал варить бульон. Оказалось, что бывают такие ситуации, из которых ты не выйдешь нравственно чистым, и дело не в выборе из ряда зол, а в том, чтобы — если ты уже спустился в яму — не делать вид, что ты наверху.

Беглец выпил бульон через край котелка; жесть должна была обжигать пальцы, но не обжигала: они задубели, покрылись ороговевшей кожей. Нам не о чем было говорить; он знал, о чем я спрошу, я знал, как он солжет.

Я оставил беглецу горные ботинки, котелок, еду, спички, две пачки сигарет, свою запасную одежду и аптечку. Я знал, что он, если выживет, будет глумиться над удивительным дураком, который ему повстречался, и жалеть, что не встретил меня раньше, когда был бы в силах обобрать и убить, чтобы я его не выдал. Вызвать вертолет с милицией — эту мысль я прокручивал чаще других, порой мне казалось, что где-то за дождем рокошет винт, что по случайности идет борт, что он сядет, что другие решат за меня, втащат беглеца в «Миль». Но самому пойти за перевал и сказать радисту «вызывай вертушку» — здесь, в окрестностях бывшего лагеря, все приобретало другую цену; здесь эхо слишком охотно откликнулось бы лаю овчарок, выстрелам, если бы беглец попытался скрыться; здесь в принципе нельзя было взывать к власти, к государству, к его суду и справедливости; у этого места была своя история, и она очень строго определяла, что здесь можно, а что — нет.

Я вылез из ямы — посмотреть, далеко ли тучи; за спиной скрежетнуло железо — беглец открывал консервы. Я обернулся; бульон придал ему немного сил — достаточно, чтобы взять заточку и выставить ее; я не мог прыгнуть в яму — он убил бы меня, он думал, что я отберу еду; я все-таки прыгнул, чтобы забрать рюкзак, и он швырнул в меня камнем; я попытался оттащить его от консервов, но он тыкал заточкой, рычал, бился, схватил меня свободной рукой, прижал коленом; я ударил его, я был сильнее, но сила тут ничего не значила — обезумевший, он сторожил яму, сторожил еду; я свалил его, но он поднялся, бросился мне под ноги, впился зубами в штанину,

глубоко пропорол заточкой икру; я выбрался из ямы, а он стал выбрасывать оттуда котелок, одежду, обувь, бинты — все, кроме еды; он уже не знал, что значат вещи, и только пищу разум еще распознавал как пищу. Я перетягивал себе ногу, а он рычал и давился, чавкал тушенкой, пил сгущенку, издырявив банку, жрал галеты с оберткой; он убивал сам себя — после долгого голода его ждал заворот кишок, — но не мог остановиться.

Он умер через час; даже в судорогах он не давал к себе подойти; даже умирающий — я пытался надавить ему на живот, засунуть в рот пальцы, чтобы его вырвало, — он ударил и укусил меня; в кармане его бушлата я нашел потом пустой коробок от спичек и три подкопченных на костре пальца; мясо запеклось и не протухло.

Ум мой так ослаб, чувства так иссякли, что я стал думать, хоронить ли эти пальцы отдельно или вместе с ним, в одной могиле; потом я понял, что тот, второй, съеденный беглец уже неотделим от первого, я завалил мертвеца камнями и набросал саперной лопаткой грунт; пустые банки и обертки я не стал вынимать — не мог уже спуститься вниз.

Шел снег, фронт циклона разогнал мелкие туманные облака, и за пургой, тихой еще, прозрачной, виднелись развалины лагеря; луч прорвал тучи, подсветил развалины, и казалось, что они — так свет пропадает внутри тулова смерча — поглощают холодное сияние снежного солнца; и в этом пространстве искажений и пропаж недействительно человеческое, не случаются ни забота, ни дар, ни участие — искажения втягивают их в свои орбиты и оборачивают невольным соучастием во зле.

Так я вижу тот лагерь, озеро в скальной котловине; там я понял все, что послужило мне впоследствии путеводной нитью.

Вернувшись из экспедиции, я узнал, что умерла домработница Второго деда; квартира, согласно его посмертной воле, переходила мне. Я долго медлил, прежде чем поехать туда; я понимал, что речь на самом деле идет не о квартире; я не мог принять эти квадратные метры, они мне не принадлежали и принадлежать не могли — это жизнь возвратила меня к тому, от чего я уехал: к личности Второго деда. И я уже чувствовал, что ничего хорошего на этом пути не будет; лагерные бараки, утративший все человеческое беглец — так иногда оборачиваешься и видишь, как жизнь подводит тебя к пониманию, как

все в ней не случайно, взаимосвязано, и если ты живешь со слухом на эту неслучайность — не с мистическим восприятием, которое есть эрзац утраченного прямого разговора с жизнью, а именно со слухом на неслучайность, с видением, что и как тебе дается, — ты не можешь выбирать путь, это путь и время выбирают тебя; здесь нет ничего от мессианства, избранности или фатализма; это как раз очень скрытое, сугубо частное ощущение: твой черед, твоё время, твой поступок.

Я все-таки поехал по старому адресу; с одной стороны, мне было неловко входить в опустевшую квартиру; в этом была какая-то неточная легкость обращения, словно квартира должна была отстояться, свыкнуться с уходом домработницы, пережить её смерть — и только тогда, осторожно, ни к чему не прикасаясь, туда можно было бы войти. Но, с другой стороны, меня вело чувство, что в момент, когда смерть ещё близка, когда все вещи как бы обнажены уходом, можно что-то увидеть, ощутить, что потом улечитя, успокоится; вещи снова станут вещами, закроются, отстранятся, и ничего уже не услышишь — только данность безгласных предметов.

В детстве я любил подсматривать за вещами; я делал вид, что ухожу из дома, нарочито долго возился со шнурками в прихожей, открывал и закрывал дверь, чтобы вещи подумали, что я ушел, — и прятался среди одежды и обуви. Они, никогда до конца не отъединенные от людей, которые их носили, уже в силу своего предназначения были вынуждены стать двойными агентами, моими тайными помощниками; скроенные по меркам человеческого тела, они делали меня недосыгаемым для рассеянного зрения вещного мира, для которого, как мне казалось, главное — силуэт, контур.

Я часто представлял, что происходит в квартире, когда там никого нет, и мне думалось, что, выждав некоторое время — вдруг кто-то из людей вернется, что-то забыв, — вещи, словно крабы на морском дне, обнажившемся в отлив, перебегают, семена, с места на место, зыркают исподлобья, что-то замышляя, о чем-то сговариваясь, что-то скрывая под панцирем привычного внешнего облика, всегда готовые прикинуться теми послушными, безвольными вещами, какими их знали мои родители.

Войдя в квартиру Второго деда, я вспомнил эту детскую игру, не бывшую игрой; я переступил порог его владений ещё и как наследник, запоздалый, неловкий, проживший уже другую, кочевую, жизнь,

тяготящийся всякой собственностью и не знающий, зачем ему две комнаты в «сталинском доме», где и телефон был еще прежний, из тяжелой черной пластмассы, висящий на стене, словно слова, которые могли донестись из трубки, следовало слушать, стоя навтыяжку; я поднял трубку, как раковину на берегу моря — послушать сиплое дыхание ушедшего времени.

В комнатах, где после смерти Второго деда жила домработница, но жила так, как сидят просители — на краешке стула, будучи чем-то второстепенным по отношению к вещам, теперь проступали в расстановке мебели, увиденной наново, чистым взглядом, жизнь Второго деда, его привычки, его домашние маршруты, его властительный характер; мебель была крепкая, тучная, а в горке тускло блестели толстостенные рюмки на тонких холуйских ножках, и к ним не хотелось прикасаться ни рукой, ни губами — за что пили из них, с какими мыслями, что держа в сердце? Бутылка водки, заткнутая бумажной пробкой, нашлась в серванте, но бумага рассыпалась легчайшей коричневой трухой, а водка наверняка выдохлась, стала безвкусной водицей.

Вещи смотрели на меня — среди мебели был только один предмет второй половины века, тумбочка из ДСП; я отодвинул ее, на фанерном заднике нашлась желтая наклейка: «изделие тумбочка, двадцать четыре рубля», и я внутренне уловил, что она единственный мой союзник здесь, а если не союзник, то по крайней мере не противник; «изделие тумбочка» — в этом сочетании слов было что-то очень узнаваемое из времени, в котором я родился, времени фанеры и ДСП, беспородных, как-то по-особенному жалких материалов, словно все более весомое, крепкое бездумно израсходовали раньше и остались только опилки, обломки, из которых люди приладились делать и мебель, и перегородки в домах. А шкаф, сервант, диваны, этажерки были из тридцатых годов; щедро лакированные, они были основательнее меня, брали весом, громоздкой статью, их стекла потускнели от бесчисленных отражений, оставивших на стекле свои частицы, а я был как воздушный шарик, нечто невесомое, незначащее в этом заповеднике иных лет.

Ни одной книги не было в доме, и не было места, чтобы ее поставить, полки или конторки, — только хранилища одежды и посуды, кровати, широкие, высокие, — на таких хорошо любить

женщину, соединяя кровь и кровь, сбивая, комкая пропотевшие горячие простыни, и на тех же простынях, горячих и влажных уже от жара болезни, нестесненно умирать. Постельного белья по шкафам были целые кипы, хватило бы на большую семью, и в этом складе простыней, пододеяльников и наволочек угадывалось время, когда чистое белье значило больше, чем просто чистое белье; там возникал запах окалины от утюга, в который подсыпали угля из печи, запахи простого мыла, ребристой стиральной доски, проточной воды и деревянного валька. Чистая белая скатерть, такая, что ни пятнышка, ни выбившейся нити, накрахмаленная, выстраивала в быту колористическую пару главному государственному цвету времени — красному. Белизну отстаивали как основу дома; одни — потому, что вышли из грязи в князи и еще слишком хорошо помнили грязь и в буквальном, и в переносном смысле; другие словно подсознательно чувствовали разлитую во времени нечистоту и, не видя возможности остаться чистыми, блюли чистоту вовне. Этот «завод» на чистоту оставался на всю жизнь: в чулане были швабры, ведра, тряпки, веники — домработница до последнего своего часа вычищала дом.

Помимо явственной неприязни вещей в квартире ощущалось еще что-то; она была как послание, письмо, десяток лет пролежавшее в ячейке «до востребования». Оставляя мне в наследство свое жилье, Второй дед считал его сообщением, которое мог бы понять только я. Где-то здесь, то ли на виду, то ли под обоями, в швах одежды, в рисунке паркета, скрывалась некая надпись, надпись будто бы симпатическими чернилами, которые надо или нагреть, или облить водой, или подставить под свет, падающий под определенным углом; квартира была не пуста, послание ждало своего часа — спящее семя, зерно мгновения, в котором дремлет рок.

Я стал перебирать вещицы в серванте и шкафах, случайные, как бы выброшенные прибоем жизни на берег; ключи от неведомо каких замков, от несуществующих уже дверей, ложки и вилки — единственные уцелевшие из наборов, купленных две трети века назад, растерянных в переездах по разным городам; нашлась ручка от разбитой чашки — чем-то она была ценна, памятна, эта чашка; нашлись погнутые или сломанные оправы очков и пенсне; монетки, какие-то копейки незапамятных годов, почему-то выделенные среди других и осевшие в серванте; пуговицы, порыжевшие крючки для

одежды, непарные запонки — одна с почерневшим, как ушибленный ноготь, перламутром, другая — самодельная, резная, с инициалами Второго деда, гравированными по кости; все это было похоже на сор из сорочьего гнезда — или на ту мелочь, что после аварии, крушения разлетается по асфальту, неприметную обычно, хоронящуюся по карманам, по дну сумок и портфелей, а тут вдруг обретающую значение непонадобившихся знаков пунктуации: все сказано, предложение закончилось, и лишние запятыя рассыпаны по земле.

Что остается, когда ничего не остается — вот этот немусорный, чистый, оприходованный, как вещественные доказательства на столе криминалиста, мусор; остаются, вопреки тщеславной надежде, свидетельства каких-то проходных, мимолетных неурядиц — вот очки разбил, вот чашка треснула, вот запонку потерял, — словно жизнь нарочно собирает их, как бы возвращая нам нашу же недостойную волнительность перед лицом мелких трудностей; остается та вещественная биография, которая показывает, что, в сущности, с нами ничего не случается, ничего по-настоящему не происходит; в сухом остатке — сор этот, памятки, зарубки перочинным ножиком на школьной парте.

Никаких особых свидетельств, никаких тайных посланий не могло быть среди этих растерянных вещей, отбившихся от своих, выпавших из вещной иерархии, вещного порядка, где есть пары, десятки, наборы, комплекты. Иногда такие безделушки могут сложиться в ребус, но здесь было лишь единственное, что объединяло вещи: все они были надтреснуты, поломаны, погнуты, испорчены — в ящике серванта лежали трое часов, остановившихся в разные десятилетия, — и свидетельство, которое они в себе несли, говорило также об одном: от жизни никто не ускользнет неизломанным, и воздействие ее — воздействие механическое, машинальное, но неизбежное и неизгладимое. Разомкнутые связи, нарушенные единства, утерянные общности; прерванные события, рассеянные, утратившие себя самое имена; дыра в кармане, прореха в плаще, через которые все высыпается, и лишь немного удастся удержать в пальцах. Не тайна, а отрицание тайны; апофеоз обыкновенности, манифестация общеупотребительного.

Что ж, это лишь доказывало (вещи — самые беспристрастные биографы), что Второй дед, каким бы ни было его прошлое, чего бы он

ни скрывал за слепотой, во многом прожил самую рядовую жизнь; вещи его были безобидны, как погремушки, соски и бутылочки для кормления, а я, согласно памяти детства, ждал, что они хоть частью вернут его масштаб. Но действительного масштаба не было — он был не велик, а мал, слепой старик, умевший одно — вызывать страх, не испуг, который мы часто путаем со страхом, особенно в детские годы, а именно страх — угнетающий живое, загоняющий психическое естество в противоестественные состояния и заставляющий человека умерщвлять самого себя; страх, оптические линзы страха, — они возвращали фигуру Второго деда, придавали ей демоническое жутковатое свечение. А настоящая жуть была в бесполезных ключах, в блюдцах из побитых за годы сервизов, в потертых монетках — в анонимности существования, в невозможности по этим остаткам, словно просеянным сквозь сито археолога, хоть что-то в нравственном смысле понять о человеке, как бы слившемся с общим фоном эпохи, затерявшемся среди мелочей, принявшем, как схиму, обыденность — или, что точнее, всегда жившем ею; человеку, за которым ощущалось большое зло, но про которого никак нельзя было сказать, что он сам велик или хотя бы масштабен в этом зле. Ни мелок, ни велик — усреднен; из личности его словно был изъят тот элемент, который дает потенцию к гротеску, к игре масштабов, к обращению в карлика или великана. Он был сродни памятникам, заплонившим страну, ни большим, ни малым, бравшим повторяемостью, силой общего места.

Время шло, и я понял, что такой, какой я есть сейчас, взрослый, ничего не найду в квартире; все, что лежало на виду, я осмотрел, и ни одна вещь не откликнулась безмолвному моему вопросу. А обшаривать шкафы, методично открывать ящички и шкатулки, вспаривать перины и подушки, развинчивать спинку кровати, обыскивать — от одной этой мысли хотелось вымыть руки, ошпарить их горячей водой до красноты, до ожога. Мне нужно было вернуть свое детское восприятие — я много времени провел в комнатах Второго деда, — вновь пройти путями этого восприятия, чертившего свой, чувственно рельефный, план квартиры, уловить, какие предметы на нем оставались сами собой, а какие слегка расплывались, мерцали переливчато, показывая, что внутри них что-то сокрыто; вспомнить, какие углы, темные проемы за мебелью, укромные места за шторами тянули к себе; ответ был где-то там, в прошлом, во взгляде с высоты детского возраста.

Я лег на диван — это положение уравнивает взрослого и ребенка; в бок уперлась пружина, продравшая мякоть диванной подушки; я долго лежал так, за окнами смеркалось, бархатные шторы умягчали свет, и скоро в комнате установился полумрак, такой, что нельзя было разобрать цвет вазы темно-синего стекла; цвет пропал, словно ваза была обычной стекляшкой, опущенной в воду. Накатывала дрема, и только диванная пружина, как я ни ворочался, все равно мешала, тыкалась в тело, не позволяя расслабиться, не пуская в сон. Я чувствовал, что чего-то не хватает, и завел часы — старый будильник с дужкой промеж двух никелированных звончков, похожий на улитку, у которой вместо раковины — циферблат. Часы пошли, у них был особенный звук, жестяной сухой клетот, отчего в детстве мне казалось, что они отсчитывают свое, отдельное время, время наступивших или наступающих событий, о которых никому, кроме Второго деда, не положено знать. Теперь все сошлось — часы, синеющий сумрак, пружина, упершаяся в бок, и я вспомнил, как однажды простудился, приехав в гости с родителями, и меня оставили ночевать у Второго деда; я лежал на этом же самом диване, укрытый двумя одеялами, и никак не мог уснуть, часы и пружина удерживали меня в зыбкости полуяви, полусна, с комнатой уже произошло ночное превращение, ее населили тени, колеблющиеся, как водоросли, а предметы укоротились до углов, смутно выступающих из темноты; тени и углы — комната стала совмещением десятка размытых лекал, чересполосицей кривых и прямых линий; объем ее уменьшился, съежился от куба — до сферы, подвижной, дышащей, как легкие при взгляде изнутри.

Я вспомнил, как ночью через комнату прошел Второй дед; его мучила бессонница — только в снах он мог видеть что-то, выходящее за рамки памяти, но спал он плохо, часто ходил на кухню выпить стакан воды, затем второй, третий, словно пытался заполнить какую-то дыру в себе, и только потом засыпал, опившись воды, раздувшись, как клоп; слепой, он двигался лунатически, на ощупь читая квартиру, и мне казалось, что в этих ночных прогулках он может забыться, запомнить, что бодрствование его не всегда одиноко, и сделать что-то такое, чего он не сделал бы в дневное время; открыть какую-нибудь дверцу, что-то достать, чего он не хотел показывать. И в тот раз я угадал: на обратном пути — на кухне еще падали из крана капли — Второй дед подошел ко мне, поправил одеяло — и прочел руками,

сплю ли я; у спящего уголки век расслаблены, а у бодрствующего, но закрывшего глаза — напряжены, и он знал точки, которых следует легко коснуться, чтобы понять, уснул ли человек; но я вправду дремал, почти уже ушел в сон, почти уже не чувствовал тела, ставшего чужим и тяжелым, как зимняя одежда, и Второй дед ушел к себе, удостоверившись, что я сплю.

Он завозился там, в своей комнате; если бы я рискнул подняться, ступил бы на пол — Второй дед тотчас бы услышал; но получилось так, что он неплотно притворил дверь, напротив нее стоял шифоньер с большим зеркалом, и я мог видеть, что происходит; Второй дед отомкнул верхний ящик письменного стола и что-то перебирал внутри.

Я знал этот ящик; ребенок помнит наперечет все те области, которые для него запрещены, и ищет способа проникнуть туда; этот ящик был всегда заперт, в него был врезан специальный замок, не похожий на другие замки в столе, и я никогда не видел на связке Второго деда ключа, который мог бы к этому ящику подойти. Я пробовал просунуть внутрь толстую леску, чтобы сдвинуть вещи, там лежащие, и по звуку попытаться понять, что они такое; я светил в скважину фонариком, исследовал, можно ли вывернуть шурупы и снять боковину ящика; все было бесполезно.

Второй дед закрыл ящик; ключ был у него в руке, но он сжал ее, и я не успел рассмотреть ключа; Второй дед лег в кровать — куда-то же он положил ключ! — и на этом ночное происшествие окончилось; утром я улучил момент и осмотрел комнату Второго деда, но так и не нашел, куда он мог убирать ключ от ящика.

Теперь, два десятилетия спустя, тогдашний мой интерес к ящику был самым «теплым» следом из вспомнившихся; я подошел к столу Второго деда и легко потянул за ручку ящика. Я ждал, что он будет заперт, но он подался, скрипнув в пазах; вероятно, за двадцать лет квартиру не раз осматривали — не сохранилось ли чего ценного.

В ящике лежала связка обтрепанных писем, перетянутых почему-то узорной тесемкой — наверное, перевязывала женщина, — коробочка с писчими перьями и несколько бритвенных лезвий — подчистить помарку или кляксу; календарь с объявлением о выборах Верховного Совета СССР и круглая коробочка из-под монпансье, полная канцелярских кнопок; была меньшая, из-под икры, коробочка — в ней были зубы, с коронками и без, клыки, резцы, зубы мудрости — вся

стоматологическая история жизни Второго деда; казалось, он собирал их по какой-то странной прихоти, по чудачеству безумца — вроде того, к примеру, что на Страшный суд необходимо являться в полной комплектности костей, сдать себя под роспись, все тридцать два зуба строго по счету; даже золото и сталь коронок не могли связать эти зубы в коробочке с образом человека — они казались принадлежащими какому-то животному, близкому к волку или собаке; крепкокостному, мощному, рослому, пропустившему через пасть множество других животных, тучных ли, худых — неважно; какое-то множество — математическое множество — поглощенных мерещилось при взгляде на эти зубы; долгая вереница живых существ, съеденных, чтобы пасть могла поглотить кого-то еще.

Второй дед хранил свои клыки и резцы, будто готовился к новой жизни, в которой они ему еще пригодятся. В той же коробочке, обернутые в вощеную бумагу, нашлись и мои молочные зубы — маленькие, жалкие, как у щенка или лисенка; мне захотелось немедленно их выбросить — было что-то гадкое в этом отчужденном от меня существовании части меня самого; на меня накатило старое, забытое уже ощущение — как тогда, когда Второй дед держал в руках рентгеновский снимок моего позвоночника, — что он, руководствуясь каким-то инстинктом, собирал все, что могло приблизить меня к нему, все, через что он мог владеть мной, и образно, и буквально; зачем — отгадка или, точнее, начало пути к отгадке было где-то здесь, в этом ящичке; я чувствовал это, перебирая языческие амулеты Второго деда.

Там же лежали и его зубные протезы — розовая пластмасса, усаженная гладкими керамическими зубами, и специальный порошок — чистить эти протезы. Их было четыре штуки — Второй дед рано начал терять зубы, то ли из-за давнего голода и усталости организма, то ли потому, что тело подыгрывало ему в желании казаться не стариком даже, а старичком, шамкающим седоволосым дедушкой зубы-в-стакане. И Второй дед, именно дед — короткое мощное слово, как бы заряженное корневой, заскорузой силой, — отдал тело на откуп признакам старения, хотя был еще вполне здоров, и это помогло ему, позволило спрятаться за возраст, но не до конца.

Вставные зубы, старческий обиход жизни, нарочитое, детсадовское умаление в языке — творожок, кашка, яблочко, пиджачок, расчесочка; палка для ходьбы, лекарства по расписанию, протертая тюрка вместо супа — все это было маской перед людьми и хитростью перед лицом смерти, самоуничижением, рисованной немощью: вот он я, я слеп, безобиден и слаб, я как жучок на Твоей ладони, не дави меня, Господи. Но не жучок, а скорпион, спящий под холодным и сырым камнем в жаркий полдень; ящик письменного стола, от которого исходил колкий, знобящий, как прикосновение лапок сколопендры, запах скипидара и мебельного лака, казался вместилищем ядовитых тварей — они спрятались, убежали, но ощущение, что они были тут, осталось; я знал это ощущение по Средней Азии, где в обманчиво расслабленном, обмякшем воздухе всегда чувствуется присутствие солнечного жала, веселый обморочный яд растворен в нем, и всегда близок укус.

В ящике стола была еще одна коробка — желто-кремовая, от сливочной помадки. Эта помадка была моим любимым лакомством, Второй дед это знал и, когда я приезжал в гости, угощал меня; я подумал даже, что сейчас открою коробку и увижу конфеты, когда-то отложенные для меня, найду затвердевшие медовые зернышки цукатов, в которых сохранился не вкус уже, а память о собственном вкусе. Второй дед выдавал мне иногда одну, иногда две, но не больше, помадки, и не от скупости, а словно бы он знал конечное число конфет, может быть, недоданных кому-то другому, и не спешил выдать мне все сразу, чтобы на подольше хватило; я бы не брал у него конфеты, хотя любил сладкое, — помадки из его рук становились слишком приторными, переслащенными, — но я боялся: у меня было ощущение, что если я откажусь, Второй дед заставит меня съесть конфету, впихнет ее в рот.

Коробка от помадок была сигналом, знаком; никто, кроме Второго деда и меня, не знал про обычай угощения; внутри лежали странные кустарные игрушки: винтовка в две спички длиной, с острым, сделанным из шила штыком; лошадь, обшитая, кажется, настоящей лошадиной шкурой — шкуру подъела моль, из конского брюха высыпалась сенная труха; овчарка из перчаточной лайковой кожи, с острыми подклеенными когтями; несколько человеческих фигурок, анонимных, как портняжные манекены — дерево, винты, гладкие

закругленные головы; у них двигались руки и ноги, и в ладонях были хитро прорезанные пазы — в них точно входила винтовка. Игрушки были очень старые — и слишком настоящие для игрушек; сразу становилось понятно, что они только малая часть какого-то набора, и сразу чувствовалось, что ими не поиграешь, как пластмассовыми солдатиками, — дерево, железо, кожа были не игрушечной природы; вещицы из коробки были слишком тяжелы, слишком подробно сработаны — в них отсутствовала условность игрушки, дающая место фантазии; наоборот, они были предельно реальны, реалистичны, словно кому-то пришло в голову таким диковинным способом изобразить какую-то конкретную лошадь, собаку — и людей; только люди были без одежды, и лишь лилипутья кожаные сапоги размером с наперсток были у одного на ногах.

Я не встречал ничего подобного; вспомнил только, что несколько раз Второй дед говорил — обиняками, неопределенно и как бы немного присочиняя, — что он подарит мне, когда я подрасту, какие-то особенные — он не говорил «игрушки» — игралки, игрульки. Они были передо мной — винтовка, лошадь, собака, три человечка; они не могли принадлежать ребенку, скорее кустарный сувенир для взрослого — и в то же время от них веяло сумасшествием, заскоком ума, дикой сосредоточенностью на деталях, происходящей от неспособности охватить целое, болезненной подробностью безумного замысла, тем же язычеством, что было в хранении зубов. Фигурки могли бы принадлежать постаревшему полководцу, разыгрывающему битвы былого, но такие, в которых деревянные солдатика, ведомые волей помешавшегося на пролитой крови маршала, погибают по-настоящему, умирают смертью вещи — поэтому они и должны быть сделаны из простых, начальных материй — дерева, железа, кожи.

Я стоял в оторопи; солнечное жало, обморочный яд, — все было как удар, как змеиный укус; я думал найти документ, некое свидетельство, а нашел ящик Пандоры.

Если бы Второй дед был жив, он наверняка подарил бы мне фигурки, что-то пояснив, рассказав об их происхождении; история или байка, шуточный сюжет — и они превратились бы в потешных марионеток или в забавные вещицы из прошлого: вот, дескать, чем довольствовалась ребятня, когда еще не было магазина «Детский мир». И я взял бы их, в зависимости от возраста, как игрушки или как

сувениры; хранил бы, не чувствуя всего того, что чувствовал наедине с ними.

Фигурки были страшны — их не хотелось по доброй воле брать в руки. Казалось, что прикосновение к ним небезопасно; что они как-то связаны с умершими уже людьми, которых они изображают; да, фигурки были анонимны, лишены конкретных черт — но за каждой из них неявно угадывался так же лишенный примет, беспощадно обезличенный, обкатанный временем до гладкости человек.

В них был емко выражен дух времени: не то общее и внешнее, что витает в воздухе, образуя атмосферу эпохи — моды, лозунги, речи, технические новшества, — а то, что глубже и ближе к сердцу: понятия добра и зла, понятия человеческого и нечеловеческого, совокупная доминанта отношений, то, что один человек может сделать другому — и время примет это деяние за должное.

Дух времени — что есть человек в этом времени, насколько в людях свободно или, наоборот, несвободно человеческое; и фигурки принадлежали ко времени, когда человек был не игрушкой даже — в этом образе есть допущение склонной к играм, разнящейся от случая к случаю судьбы, — а некой единицей, судьбы лишенной.

Фигурки в коробке — лошадь, пес и три бесприметных «человека»; в них была та немного корявая прочность, которая отличает крестьянскую упряжь или самодельные косы, вилы, лопаты; их, очевидно, изготовил не Второй дед, ему не хватило бы умения, его пальцы не были столь осязательно точны; по некоторым деталям чувствовалось, что мастеру не хватало надфилей, резцов по дереву, все делалось двумя-тремя инструментами: ножом, точильным камнем, сапожной иглой; старая кожа, старая медная проволока, вощенные нитки — фигуркам предназначался долгий век, а может быть, мастер и не умел работать иначе.

Ничего больше в коробке не было; я развязал стопку писем. Я не помнил, чтобы Второй дед часто писал кому-то или чтобы часто писали ему; ни открыток к Новому году или Дню Советской Армии, ни телеграмм, ни посылок — Второй дед жил почти без связей, без дружб, без родства; лишь один раз, когда я был у него, зазвонил телефон, и он говорил, притворив дверь в комнату, а я слушал, как он извиняется и просит перезвонить завтра — сейчас что-то нездоровится, — словно не хочет открывать настоящую причину, не

хочет признаваться, что у него в гостях мальчик. Письма, вероятно, уцелели лишь потому, что домработница не сразу нашла ключ от этого ящика, когда сжигала бумаги Второго деда; ящик остался заперт, так и пробыл запертым годы, а потом, когда ключ нашелся, уже нелепо было сжигать малые остатки бумаг.

В письмах — наверное, отправитель рассчитывал, что их прочтет Второму деду домработница — были пожелания здоровья; в каждом письме говорилось о тюленьем и медвежьем жире, отправленном Второму деду; спрашивалось, помогло ли средство; тюлений жир и медвежий жир — все крутилось вокруг жира, писавший рассказывал, как добыли тюленя, как застрелили медведя; писал корреспондент Второго деда неумело, слова его не слушались, и он громоздил их, подпирал одним другим, чтобы предложение не рассыпалось. Но как только речь шла об охоте — холодная воля стрелка организовывала, ритмически выпрямляла неловкий прежде слог. Тюлени и медведи, медведи и тюлени — живший в северном городке истреблял их, проделывал немалый путь до моря, выходил на зимнюю охоту, и дело, кажется, было не в надобностях Второго деда; писавший ему охотился не ради посылок в столицу. Об охоте говорилось так, словно он не стрелял, а лишь наблюдал, как стреляет карабин; и в этом выведении оружия из подчиненной роли, в приписывании ему собственного значения было даже некоторое сдержанное преклонение. Человек как будто нашел себе опору, нашел предмет, иной, чем другие предметы, обладающий властью над жизнью, которой лишены вещи, и с тех пор держался только этого предмета.

Он прислонился — к винтовке, к карабину, к ружью, как прислоняются — в переносном смысле — поверхностно верующие к церкви; оружие стало его религией, но без всего того пафоса, который обычно его окружает; запах смазки, запах дыма, особое молодечество мужчины с двустволкой, патронташи, ягдташи, охотничьи рассказы — все это, похоже, писавшему было неважно. Он веровал строго и почти целомудренно, веровал в высшую мудрость механизма, в спусковой крючок, боек, капсюль, патрон и ствол; веровал в законы физики, устроенные так, что возможен выстрел. Тюлени и медведи, убитые им, погибали потому, что винтовка должна стрелять; потому, что мушка ищет цели; потому, что пуля хочет полета; он был малограмотный, самочинный поэт стрельбы, видевший мир плоско — у мишени нет

третьего измерения, — и тем страшнее было читать его письма; любой одержимый желанием истребления убийца был человечнее, чем этот знаток воронения стволов, прямой и обратной нарезки, сортов пороха и типов прицела, прикипевший к оружию из-за его бездушности, полюбивший в нем эту бездушность, казавшуюся ему чем-то высшим, беспристрастным, справедливым.

Можно сказать, что писавший открыл новое, внациональное, внекультурное единство — единство людей с винтовкой, единство чистой силы, и он испытывал удовольствие — быть просто силой, никак не окрашенной в идеологическом смысле. Наверное, он радовался, представляя, как растут арсеналы, как полнятся оружейные комнаты; радовался, читая в газетах о новой ракете или новой пушке — все это для него были лишь формы силы, силы бессодержательной, силы как таковой, и он еще давно, в юности выбрал быть частью силы — частью самой незаметной, самой безличной, не имеющей амбиций и в этом смысле безопасной для целостности силы.

Лишь косвенно можно было понять, что писавший и Второй дед некогда были очень близко знакомы; это понималось по тому, что были выпущены подробности и сведения, без которых письмо местами становилось неясным и которые, очевидно, знал Второй дед. Судя по штемпелям на конвертах, письмам было лет тридцать-сорок; предпоследнее пришло за несколько месяцев до смерти Второго деда, а последнее — уже после того, как он умер; в этом последнем упоминалось о встрече со Вторым дедом, там был упомянут и я — так, словно писавший меня видел. Но я, сколько ни старался, не мог ничего вспомнить; у меня оставался только обратный адрес на письмах — улица в небольшом северном городке, где был огромный горный комбинат, о котором я слышал, когда работал геологом.

Я стал перечитывать письма — вдруг я что-то упустил; тюлений жир, медвежий жир — я представил Второго деда, по ложке поедающего пахучий, слишком натуральный, не оприходованный готовкой студень жира; жир пах мускусом, подкожными железами, мясом, кровью, шерстью, пах зверем, и чтобы есть его, нужно было отказаться от брезгливости, которая была больше, чем просто брезгливость: в ней выражались какие-то человеческие запреты, и переступавший их становился ближе к хищному животному.

Я помнил, как однажды в экспедиции после долгого голода застрелили оленя и стали есть свежую печень; спустя недели непогоды солнце играло в листве, и я чувствовал, как внутри разгорается такая же теплая игра жизненных сил, как истекающая жизнь оленя напрямую переливается в мои мускулы, и мускулы отзываются готовностью гнаться, хватать, раздирать. Солнце до дна просвечивало омут, от гладкой воды исходила мощь течения, ветер сгибал березы, и я ощутил, как через меня проходят токи природных сил, что я — одно с водой, с ветром, ощутил себя как слиток ясных, прозрачных и густых, как солнечный свет таежного августа, желаний. Я был как речная вода, движением, струением этих желаний, я был бег и хватка — а спустя минуту меня скрутила судорога, и не от сырой печени, желудок ее принял, а оттого, что я впал в состояние животного и теперь через боль возвращался в состояние человеческое.

Тюлений жир, медвежий жир — секрет долгой жизни Второго деда пах дремучей кровью, кровью пахли письма, и я больше не хотел знать, что там, в его прошлом; уйти из квартиры, выбросить ключи — пусть она стоит, как забытая мышеловка, стоит запертая, закупоренная; если бы это была не квартира, а отдельный дом, я бы сжег его, как зачумленный. Я снова ощутил, как во мне обращается кровь Второго деда, как растет короткий звериный волос, растут слишком твердые ногти; мне хотелось соскоблить мясо с костей, вылить кровь, вычистить костный мозг.

Я припомнил, как на даче старуха из деревенских, не любившая дачников за то, что участки нарежали на самой ягодной и грибной опушке, на самом влажном припеке, где она собирала зверобой, ромашку, мать-и-мачеху, донник, череду, клевер, малиновый лист и липовый цвет, — старуха однажды встретила на лесной тропке Второго деда. Я крался за ним стороной и видел, как она посмотрела на него, несущего раскладной стульчик, бидон и удочки, аккуратного, с платком в кармане, — посмотрела и сказала громко: «У, оборотень!» Второй дед неожиданно ответил громко: «Спятила, старая» — и пошел дальше; ответил в меру отстраненно, в меру презрительно, как едкий вообще-то старик мог бы ответить знакомой вредной старухе, с которой не хочет пререкаться, — заполошит, замучает, приставучая бородавка, — но старуха-то не была ни вредной, ни приставучей, ее знали как молчунью, а со Вторым дедом они прежде и слова друг

другу не промолвили; я сидел в кустах, чтобы не выдать себя травнице, Второй дед уходил, а она смотрела ему вслед и что-то шептала.

Позже я постарался попасть к старухе домой; кто-то болел, и я вызвался сходить за травяным сбором от простуды. Старуха впустила меня в дом, слишком просторный для нее одной; дом был велик, сложен из бревен толщиной в охват, и видно было, что его строили большой семьей. В центре дома стояла громадная беленая печь, раздобревшая, оплывшая, как женщина в годах, космическая по ощущению — все вращалось вокруг нее, она была и ось, и опора, в ее утробе прела каша, варились супы, рождался хлеб — каравай, круглый, как плодоносное солнце, деревенский хлеб; но рядом с печью явственнее и горше становилась пустота комнат. В одной комнате сквозь занавесь я разглядел стену фотографий — десятки мужских, женских лиц, смотрящих по-крестьянски сосредоточенно и строго, как будто фотографирование — трудная житейская работа, к которой нужно приступать, собравшись; от фотографий изба на мгновение наполнилась людьми, говорящими, обедающими, пришедшими с огорода, с поля, наполнилась — и опустела. Пока старуха перебирала травы, я искал в себе знание о той силе, что выметнула, выбросила из жизни всех этих людей, оставив старуху хранить дом как память об ушедших; старуха дала мне травы, сухонькие, жесткие, объяснила, как залить кипятком; я хотел что-то сказать ей, утешить, но вдруг понял, что есть срок для соболезнований и утешений, есть срок для сочувствия и сопереживания, и срок этот давно вышел; мои слова не прозвучат, потому что нечто не было сказано раньше — и не мной.

Безнадежен был старый дом, безнадежна печь — одних дров сколько уходит, косою забор, где сохли склянки, и хромая кошка, угревшаяся в запечье; я ушел, поблагодарив и обещав себе проводить старуху, но обещания не сдержал — все, что я мог испытать, вместилось в одно впечатление, и оно уже не могло увеличиться и даже повториться не могло; была какая-то точность в единственности встречи, в том, что она не превратилась в добросердечное ухаживание; старуха не нуждалась в нем, как не нуждается молящийся в ободрении, и через несколько лет я забыл ее, забыл в благополучии детства, сторонящегося старческих бед.

И вот спустя годы — жизнь иногда на десятилетия упреждает наши вопросы — я вспомнил ее, вспомнил слова «у, оборотень!»; они совпали с моим озарением, с ощущением густой нечистоты крови; и я сбежал из квартиры, закрыл ее, а ключ, специально выбрав дорогу мимо реки, утопил; уехал в родительский дом с твердым намерением не вступать в права наследства, вообще не иметь дела с этой квартирой, скажем, продавать или разменивать ее — пусть стоит, закрытая, пустая, затерявшаяся среди других квартир, домов, улиц, пусть отдаляется, уменьшается до точки; я что-то понял, и моя история завершена.

В родительском доме я был тогда один; придя, я стал привычно искать опору в книгах — взять любую, открыть на случайной странице, включиться в сюжет, перебить круговорот мыслей; только в тот раз я выбрал книгу с умыслом, чтобы оказаться как можно дальше от настоящего времени — и не получить из текста какого-нибудь оклика, совпадения; я взял «О все видавшем: история Гильгамеша со слов Синликиуннинни, заклинателя» — темно-зеленый, болотного цвета том; взял, вспоминая описание Урука, очеловечивание Энкиду, поход на Хумбабу; но книга открылась совсем не на этом месте. Я прочел:

...Человек-скорпион уста открыл и молвит, вещает он Гильгамешу:
«Никогда, Гильгамеш, не бывало дороги,
Никто не ходил еще ходом горным:
На двенадцать поприщ простирается внутрь он,
Темнота густа, не видно света —
Ты войдешь и больше оттуда не выйдешь!»

Гильгамеш ему вещает, человеку-скорпиону:
«В тоске моей плоти, в печали сердца,
В жару и в стужу, в темноте и во мраке,
Во вздохах и плаче — вперед пойду я!
Теперь открой мне горные ворота».

«...Теперь открой мне горные ворота», — повторил я; мне вспомнились якутские сказания о мамонтах, живущих под землей, и если тундра вспучивалась от намерзшего в почве льда, якуты верили, что там, в глубине, прошел мамонт; если находили в обрыве тушу

мамонта — думали, что он погиб, случайно шагнув из земли на солнечный свет. Я почувствовал, как это образно точно — идти сквозь землю, сквозь гору, сквозь слежавшееся, окаменевшее время; но я еще не знал, что мне предстоит сделать, как поступить.

Ночи были бессонны, а ближе к рассвету приходили сны, три сна; они повторялись в одном порядке, но происхождение их было иное, чем у других повторяющихся снов, которые как раз из-за повторения теснее всего связаны с нашей дневной личностью, даже если эта связь неясна: так ныряльщик видит на дне свою собственную тень, уже не соответствующую очертаниям человека, однако движущуюся синхронно с ним.

Иногда же сон простирается в глубочайшие и залегающие как бы в стороне от магистрального колодца, через который мы погружаемся внутрь себя, пласты сознания; именно они, а не расхожие представления момента, во многом определяют нашу принадлежность к тому или иному историческому времени.

Эти пласты вбирают, впитывают все, что для нас находится на периферии восприятия, что составляет фон, что размыто, растушевано, что въелось повсюду, как пыль. Не слова, но оттенки слов, не звук, но звучание звука, не цвет, но преломление цвета в воздухе времени.

Трубы военных оркестров в разные годы звучат по-разному, и это зависит не только от слушателя; бывает тишина накануне войны, которую можно разорвать звуком одного горна, — и бывает тишина после поражения, в которой завязнет, заглохнет и звук целого оркестра.

Есть времена светлые и времена темные; меняется общий тон, меняется освещенность, и один и тот же цвет выглядит по-разному, как в отличных друг от друга оптических средах: красные знамена Гражданской, в которых было больше алого, и красные знамена тридцатых, в которых стало больше багрового — одни и те же только для черно-белой кинохроники.

Историческое время входит в нас не только через свои символы, которые всегда появляются с некоторым опозданием; не только через наше прямое участие в событиях, не только через ощущение частичной или полной соподчиненности личной судьбы — общей. Оно осаждается в нас каждодневно, ежечасно, окрашивает нас в свой цвет, подлаживает наш слух к своему звучанию, выстраивает нашу речь по своей интонации. И эти неявные перемены будут тем сильнее, чем это

время не просто более длительно — чем более оно тотально, то есть не богато оттенками.

И оказалось, что доля прошлого, неявно присутствующего в настоящем, рассеянного в нем, была очень велика; то был голос крупниц, сора под лавкой, голос случайных лиц, аккордов случайных мелодий сквозь шорох репродуктора, голос заколоченных окон. Говорили песок, пыль, пепел, прах, костная мука, соль, сахар, керосин, мыло, спички; говорили старые дома, излучины рек, сгнившие в затонах пароходы, уголь, сгоревший в топках, порох, вытолкнувший пулю из ствола, позеленевший металл гильз; говорило все, что исчезло, распалось, было выпито, съедено, потрачено, использовано — и все-таки не пропало, откликалось ищущей, собирающей силе сна; дневному сознанию оно не поддавалось бы — только сну, изменяющему восприятие, тянущему тропы познания внутрь веществ, к атомам и молекулам — и узнающему уже не дух, а былую отмеченность им.

Начинался первый сон: я видел весенний речной лед, рыхлый из-за ослабшей внутренней спайки, и лишь в одном месте, тянущемся полосой поперек реки, по-прежнему плотный.

Зимой там была переправа, утрамбованный снег почти не таял, и только бугорки от колес, полозьев, подков, валенок, детских ботинок становились все более выпуклыми. Они вдруг обретали дополнительное значение: люди уже погибли — таково было знание сна, — но по случайности сохранились отпечатки их подошв.

В окаменевшем песке археолог находит выемку, след стопы — и в невообразимо далеком прошлом, где нельзя и помыслить человеческое существование, появляется зарубка отсчета бытия, знак утверждения: я был. Это явление, имеющее двойную природу факта и символа — одно усиливает другое, — графически приближается к пульсирующей точке посреди листа, вне соседства других точек; точке начала.

Следы на льду так же пульсировали, но были уже не точками: объемные буквы наборного шрифта, складывающиеся в некие слова, строчки, текст. Казалось даже, что каждый из них был оставлен специально: люди могли бы идти бесследно, и вообще жизнь устроена так, что следов, если не приложить старания, не остается, — но те, кто шел по льду, ступали с намерением, чтобы мокрый снег оттепели принял вес тела и снял слепок подошвы.

Вмороженные в лед слова были скорбны; всякий след означал сделанный шаг, а шаг приближал исчезновение, которому противился след. Они повторялись — так человек в отчаянии твердит одно и то же, и возникал сотканный из многих повторений речитатив.

Поспешные, перекрывающие, перетекающие друг в друга, как плач, следы соединяли в себе множественность судеб — и единственность пути. Казалось, что некая неотступная угроза сопровождала идущих, подталкивала их в спину, не позволяла свернуть.

Потом — такая догадка возникла однажды, но затем всякий раз случалась во сне наново — я додумался, что где-то в снежной мешанине есть и отпечатки сапог конвоя, который вряд ли шагнул по целине, но их уже не распознать: они затерялись, влились в общий строй. И эта неотличимость невольников от надзирателей — не узнать, кто был кто, — вызывала ужас, хотя в ней была и подсказка: не конвой указывал направление, над ним тоже довлела угроза, которая заставляла людей идти по льду.

Здесь сон изменялся; где-то столь далеко, что его малая вселенная едва вмещала такое расстояние, что-то обрушивалось, сотрясение ускоряло время, до этого неощутимое, возникал и нарастал ледяной сталкивающийся гул — и лед переправы надвое разламывала трещина, прошедшая по извилистой линии речного фарватера.

Трещина стремительно ширилась, превращаясь в полынью, оттуда вырывалась вспененная вода; лед дробился, полыньи кромсали его, раздирая слитную картину переправы на куски; льдины переворачивались, а вода напирала мощнее, заливая все следы, все отпечатки. Эта вода донных течений, избегавшая прорубей, отстоявшаяся в омутах, под ярами, маслянистая и несвежая, словно в ней долго — из-за холода — разлагались утопленники, была как пустота неразличающего взгляда, в котором пропадают, перестают существовать вещи, явления, события.

Внезапно единым движением подавался вперед весь, не затронутый еще трещинами на фарватере, лед реки — и становилось ясно, насколько широко русло. То, что казалось пологим берегом, оказывалось торосами, а сами берега были настолько отдалены, что не достичь взглядом, не зацепиться за них сознанием. Движение льда сбивало с ног, а потом подо мной расступалась полынья.

Здесь я просыпался, но просыпался из одного сна в другой. Оба они — а будет еще и третий — соотносились друг с другом как несколько сфер, имеющих один центр. И, переходя из сна в сон, ты при этом всегда находился в сердцевине, в средоточии события, поразному выражающегося в каждой из сфер совокупного трехчастного сновидения.

Я оказывался на перроне вокзала, видя его не зрением очевидца, а как бы изнутри происходящего. И я различал в людях, в их взаимном расположении неслучайность локального будущего, столь же определенного, как блестящие линии рельс, что ветвятся на подъездных путях и сходятся в две параллельные на магистрали. Лишенный в этом сне тела, внедренный, как крупички некоей чувствующей и мыслящей материи, во все живое и неживое, я тоже подлежал этой неслучайности.

Вот сон начался: к перрону подошел поезд; два десятка вагонов были как-то незаметны по сравнению с паровозом. Угольный дым из его топки, насыщенный сажей, удушающий; тупая режущая кромка колес, красные их спицы, похожая на сукровицу смазка, сочащаяся из поршней; рубиновая звезда в торце безголового тулова — словно оклеймили мощное, состоящее из одних мышц животное, оклеймили, проведя пятиконечный надрез, и сила мускулов выдавила из надреза алое мясо, сделала клеймо выпуклой звездой, — все это оглушило меня, лишило воли.

Я — тот я, который существовал вне сна, — разумеется, знал, как выглядят старые паровозы: детство техники, громадные машины, устроенные по лекалам игрушек. Но в своем времени паровоз выглядел уже иначе. Из-за несовершенства конструкций — так несовершенны с точки зрения эволюции динозавры — эта масса металла была чем-то живым; техника — и первобытная сила.

Паровоз породило время, чья эстетика искала вдохновения в промышленном труде, время торжества механики; механика давала метафоры поэтам, ей поверяли устройство человеческой жизни, а человека пытались разъять и собрать затем заново, чтобы вывести гомункулуса — из стали и алюминия, с мотором вместо сердца. Паровоз стал великолепным символом, триумфом созидательной мощи — но теперь, как я чувствовал во сне, само время боялось его, как античные боги страшились порожденных ими сторуких великанов.

В его топке, как в огненной печи, сгорели неверующие мученики революции, паровоз привез в столицу тело вождя, которому назначено было быть бессмертным — и сам стал одним из младших божеств новой пантеистической религии. И вот теперь на вокзале с приходом поезда распространилось ощущение беды: у паровоза будто бы было собственное понимание, кого и куда везти, и поездка превратилась в тревожное ожидание — в неумолимости и четкости механизма железных дорог чудилась какая-то другая неумолимость; никогда не поймешь, с какого момента ты едешь уже согласно чужой, над всем вознесенной воле.

Паровоз остановился у перрона, из вагонов стали выходить люди. Стекланный купол вокзала, стальные балки, каждую их заклепку покрывал холодный пот измороси туманного утра, осевшей на частицах угольного дыма. В шестернях вокзальных часов что-то заело; минутная стрелка замерла, подрагивая, и циферблат стал похож на круглое окошко багажных весов.

У самого конца перрона, около паровоза, возникли несколько человек в форме; цвет ее и фасон были неважны: среди пальто, тулупов, плащей, ватников существенной подробностью была сама форма, одинаковая, безликая и строгая. То был образ — образ власти, повсеместной, как закон тяготения, настолько всеобъемлющей, что она не имеет узнаваемых черт, которые всегда есть частность.

Соседство паровоза и солдат в форме было не случайным: от его красной звезды становились виднее звезды на кокардах их фуражек. Когда они появились, перекрыв выход с перрона, все, кто шел с поезда, уже были той разновидностью толпы, что возникает на краткое время, когда большое число людей, долгое время вынужденно пробывших вместе, начинают двигаться. Эта неопределенно-дружественная толпа, в которой еще действует слабое притяжение случайного знакомства, свычки друг с другом, движется деловито, почти радостно — закончилось долгое ожидание, — и одновременно в ней каждый отделяется от попутчиков, идет в своем ритме, и чем дальше от вагона, тем меньше это сообщество людей вообще можно назвать толпой, всякий человек уже обособлен, он идет своей дорогой, для которой вокзал лишь отправная точка, и законы, определяющие поведение именно толпы, над ним не властны.

Но стоило появиться солдатам — и все вышедшие из поезда люди сначала неуловимо помедлили, потом каждый повернул, засеменял, сбился с шага, чтобы закрыться идущим впереди от взглядов солдат. Смотрелось это так, словно мишени на стрельбище, выстроенные на разном расстоянии, бочком-бочком попрятались одна за другую. Человек шел, укрывшись за чужую спину, и не видел, что за ним так же кто-то идет след в след, а за ним — еще один, а за ним — еще... Гомонящая, бодрая, заполнившая перрон толпа вдруг сжалась до многих неровных цепочек, будто произошла какая-то химическая реакция, заставившая человеческие атомы соединиться в протяженные извивающиеся молекулы.

Я ждал, что почувствую страх всех этих людей — он должен выплеснуться, мгновенно поменять воздух вокзала, превратившегося в ловушку. Однако вместо резкого выплеска всюду ощущался какой-то оупляющий наркоз; страх был, но он был привычным, всегдашним, лишь немного усилившимся; напряжения не возникало, люди словно заранее каждый от себя отказывались, расставались сами с собой — и несли себя к выходу, как сложенную стопкой одежду в армейской бане или в тюрьме.

Хотя люди и прятались, осмысленности во всем этом было не больше, чем в движениях червяка, разрубленного лопатой. Действительный страх можно испытывать, предощущая скорое расставание с жизнью — а здесь расставание будто произошло много раньше, чем эти люди вышли на перрон и даже сели в поезд; произошло едва ли не при рождении. Жизнь забрали у них — и выдали обратно, но уже как бушлат со склада, во временное пользование; а теперь, на перроне, потребовали выданное вернуть — пусть и внезапно, но с полным на то правом.

Рядом с солдатами возник отделенный угол: там, тесно прижавшись, стояли те, кого вытащили из толпы; по скученности тел эта группа была островком в относительно разреженном человеческом море, но впечатления островка как раз и не возникало; восприятие сразу регистрировало особенность: этих людей как бы нет — и лишь потом получало ей объяснение.

Все остальные — многие сотни людей — не смотрели на арестованных. Группа схваченных стала точкой отсутствия взглядов, всеобщим «слепым пятном»; казалось бы, это могло, наоборот,

выделить ее, подчеркнуть ее присутствие, но нет: арестованные тоже не смотрели наружу, за пределы своего круга, и поэтому их группа окончательно «выпадала» из связности цельного поля зрения.

Арестованные были — я видел их; и в то же время восприятие, которое, оказывается, подмечает и вмещает гораздо больше, чем доносит до нас, но этот зазор проявляется лишь в особых случаях, сообщало мне, что их нет; мой взгляд словно попадал в совокупное притяжение взглядов других людей, отклонялся согласно векторам силовых линий этого притяжения, и то, как эти векторы располагались, — минуя группу рядом с солдатами, — говорило мне, что группы на самом деле нет, что там пустота, раз туда никто не смотрит.

Я пробовал удержать взгляд, не дать ему уйти в сторону — но, как стрелка компаса вслед за магнитом, он следовал руководству направляющих векторов. Оказалось, что чужие взгляды — это речь в повелительном наклонении, речь тем более властная, чем менее каждый из тех, кто смотрит, самостоятелен и способен выбирать, куда ему смотреть.

Чтобы вырваться из течения взглядов, увлекавших меня к выходу, мимо арестованных, я смотрел сквозь стекла вокзала на товарные пути — и видел там паровоз, двойник первого, к которому цепляли теплушки с редкими зарешеченными оконцами. В этот момент я вспоминал — вспоминал в локальной, «наведенной» памяти сна, — что уже переживал все это, в предыдущий раз видя этот сон, и зарекался впредь смотреть на товарные пути, словно те области сна, что оставались за пределами моего взгляда, пребывали в своего рода обмороке, и только мое внимание замыкало через них цепь событий, — зарекался, потому что второй паровоз, второй поезд, а точнее эшелон, предназначался для арестованных на перроне.

В теплушки стали заводить людей, и я понял, что те, кого задерживают на вокзале, — это списочная недостача, их берут, чтобы эшелон ушел полным, взамен тех, кого не удалось взять в городе. Со взглядом за границы вокзального купола мне открывалась и причина тревоги, охватывавшей меня в самом начале при виде паровоза. Арестантский эшелон уже стоял на своем месте, когда поезд только подходил к вокзалу, подъездные пути изгибались, и какое-то время ехавшие в поезде люди видели из окон своих купе эти теплушки; два

времени, настоящее и будущее, прошли близко-близко, как корабли на встречном курсе, однако настоящее не узнало и не могло узнать будущее, а будущее, казалось, было безучастно к настоящему. Для пассажиров поезда теплушки на товарных путях были тогда последними, уже ничего не значащими кадрами в киноленте видов их путешествия, и спроси любого из них через пару дней, что он видел, когда поезд приближался к вокзалу, — он в лучшем случае вспомнил бы, что на соседних путях стоял какой-то эшелон, но не смог бы сказать ничего более определенного.

И вот теперь эта частности, эта ничего не значащая деталь — эшелон на боковых путях, ряд серо-зеленых теплушек, — для тех, кого арестовали, стал, будто клетки раковой опухоли, множиться, пожирать здоровую плоть мироздания, расти, перекрывая собой суживающийся горизонт, пока не превратился в одну ржавую пасть вагона.

По тем же путям, по которым они прибыли сюда, арестованных повезут в ту сторону, откуда они приехали. Но если сюда каждый из них ехал кем-то, имеющим имя и фамилию, находясь между домом и целью путешествия, каждый мог про себя сказать: я такой-то, еду оттуда-то туда-то — теперь они станут никем, они не будут знать даже, куда их везут.

Я видел, как люди переходили из ясного, высветленного вокзала, чей ячеистый застекленный купол образовывал на перронах сетку координат, тщательно, как в тетради по арифметике, прорисованную солнцем, внезапно засиявшим над утренней дымкой города, — переходили в тень, которую бросали на товарные пути другие здания, в тень, где не истаивал, держался прихваченный легким морозцем сумрак ночи.

Я увидел вокзал, увидел часы, все еще медлящие перебрасывать стрелку на деление дальше, огромное мозаичное панно на торцевой внутренней стене вокзала, которое было еще не закончено, из-за чего казалось, что изображенные на нем безголовые красные гиганты-солдаты складывают, надстраивают сами себя, а строительные леса лишь помогают им стоять прямо, — увидел все это как один застывший миг.

Граница света и тени сделала отчетливее смысл происходящего: людей выводили — в буквальном смысле слова — из настоящего времени; его территория заканчивалась там, где начиналось оцепление,

серые солдаты стояли, забросив за плечо винтовки с примкнутыми штыками, и двое конвойных с холщовым мешком отбирали у арестованных наручные часы. Мешок, казалось, вот-вот зашевелится, словно внутри щенки, которых несут топить, но нет, он лишь становился тяжелее, и солдат уже не мог держать его одной рукой.

Часы падали в мешок, и дни жизни, которые они отмеряли, исчезали в темном зеве. Рядом солдаты снимали с пальцев задержанных обручальные кольца — расторгали браки; если кольцо крепко вросло, звали фельдшера; он держал наготове нашатырь, вдруг кому-то станет плохо, чтобы не пришлось нести арестованного в вагон, но, кроме нашатыря, у него в сумке были масло и мыло. Фельдшер смазывал палец, свинчивал, покручивая, кольцо — и сдавал специально приставленному охраннику. У того на груди висел фанерный ящичек с прорезью, а если кольцо в нее не проходило, охранник оставлял его на крышке ящичка, чтобы лишний раз не открывать замок, и драгоценные камни в золотой или серебряной оправе, два-три бриллианта, рубин, сапфир — казались цветными стекляшками: их ценность уже ничего не значила.

Но все это лишь предуготовливало арестованных; главное свершалось на границе света и тени. Часы и кольца отбирали еще на свету, и дальше человек должен был шагнуть в полумрак, зная, что он пропадет в нем, как пропали те, кто вошел туда прежде него.

Тут был самый мучительный момент сна: люди не умирали, но переставали быть для настоящего. И настоящее время спокойно длилось дальше без них, каждое новое мгновение отодвигало прежние — те, в которых эти люди еще были.

Я чувствовал, что забвение приходит не в постепенности, протяженности, с отсрочкой, — оно есть неотъемлемое свойство самого времени, оно совершается его нерассуждающей силой здесь и сейчас; слепой Кронос вечно пожирает своих детей, и всякий следующий миг стремится не приумножить, а уничтожить предыдущий. И только память может противостоять забвению; правда, отнюдь не всегда.

Лишенные имени, лишенные свободы, навсегда оторванные от родных, люди не перестают быть людьми. Но они исчезают, как исчезает с радаров потерпевший катастрофу самолет, и для своих близких, и для поколения неродившихся еще потомков.

Жизнь обращается в воспоминание на той грани, где смыкаются времена: без запоздания и без перерыва. И если человек вычеркнут из настоящего — когда настоящее станет прошлым, оно не сохранит памяти о нем.

Арестованных будут помнить, как помнят покойников или уехавших на другой материк такие воспоминания уже не прибавляются, и впоследствии эта оборванность памяти вряд ли восполнится.

А мы — мы можем судить о прошлом лишь по тем свидетельствам, что им самим — о себе самом — сохранены.

О прошлом нам может поведать только прошлое. Но оно несет в себе все те противоречия и пробелы, которые, собственно, и заставляют нас искать некую скрытую правду о нем; несет как пустоты, длящееся молчание взамен речи.

Прошлое откладывается слоями, которые не слишком хорошо взаимоувязаны. И если выжившие смогут рассказать всю правду о происходившем два десятилетия назад, то она запечатлется в том времени, в котором прозвучала, станет его событием. Но по отношению к картине двадцатилетней давности, уже сложившейся как фигура умолчания, эта правда — какой бы нравственной силой ни обладал ее голос, как бы значима она ни была, — увы, будет в чем-то подобна уточнению или сноске.

Лживое время, само себя ретуширующее в угоду той или иной цели, само себя фальсифицирующее, фабрикующее, отравленное этим ядом обмана, время, где лгут не только факты, где самый его дух лжив, — такое время породит только тотально лживую память о себе; и то, что я видел, — люди переходили из света в тень, — было преступлением антропологическим; не память пресекалась — род человеческий пресекался.

Я успевал увидеть только лица, самые обычные, в которых не было ни красоты, ни значительности, ни резких черт породы. В сущности, лица эти, несмотря на разный возраст, были такими же, как в далекой или не очень далекой юности: время преобразило их, сжало, вытянуло, покрыло морщинами, и перемены, слишком бросающиеся в глаза, мешали увидеть, что если с лица в обратной последовательности убрать, как грим, все складки, все возрастные приметы, то оно в точности вернется к юношескому облику.

Время запало в чертах лиц, но механически, словно эрозия, меняющая вид горных хребтов, как сила природы, сила физического воздействия; события внутренней жизни, которые неотменимо изменяют, вылепливают лицо, делают его неподдающимся обратному отсчету годов, — здесь не проявились.

И теперь, когда обрушилась беда, человек беспомощно искал в себе самую опору — и не мог найти. Прожитые годы сходили, отшелушивались, как обожженная кожа — до возраста, в котором все, что происходит, еще воспринимается с поправкой на неизмеримую продолжительность будущего, и кажется, что достанет времени на совсем другую жизнь, и не одну; возраста, в котором нет опыта событий конечных и непоправимых.

Люди были растеряны в буквальном значении слова — будто у человека спросили документы, он полез в карман, но не обнаружил ни кармана, ни пальто, ни памяти о том, куда это все подевалось. Искать сочувствия друг у друга они не решались, словно бы подозревая в соседе ту же самоутрату, что ощущали в себе.

Возможно, знай они об аресте заранее, кто-то сумел бы найти мужество и волю сопротивляться, но вот так — выйти из поезда и увидеть указывающий на тебя палец солдата, — это было нечто большее, чем просто быть взятым врасплох: зловещая издевка над судьбой вообще и над каждой конкретной судьбой в частности.

Жизнь арестованных преломилась в такой будничной, ничем не выделяющийся момент, что один контраст между событием ареста, вбирающим человека целиком, и тем, что оно не являлось звеном ни в какой событийной цепи, никак не было предопределено и предуготовлено, а случилось из ничего, без причин, без оснований, — один этот контраст отменял личную судьбу как таковую.

И дело не в фатальной несправедливости ареста; она была лишь одним из следствий его беспричинности. Палец солдата, произвольно указывающего на людей, шедших мимо, стал ее предъявлением, воплощением, символом; это была не та кажущаяся беспричинность, когда приходится думать, почему все произошло так, а не иначе; абсолютное отсутствие объяснений как бы возвело беспричинность в статус единственной причины всего на свете; отныне любое событие в этом перевернутом мире происходило не силой причинности, а силой

произвола, и потому произвол и насилие заняли место закона мироздания.

Красные гиганты-солдаты на мозаичном панно, задевавшие штыками красных винтовок купол вокзала, безголовые стражи, были выражением этого закона; из-за дробности мозаики чудилось, что они лишены человеческой анатомии и состоят лишь из клеток раскормленной плоти; панно было столь велико, что красные солдаты почти не помещались под сводами вокзальной крыши, и громадное здание, полное воздуха, света, от этого соседства вдруг становилось затхлой и гнусной пещерой людоеда.

Там, где отбирали часы, стоял последний из арестованных. Тем же путем к эшелону шел машинист с помощником и кочегаром, их сопровождали солдаты. И я знал теперь — это знание было как бы вменено сну, но возникало не сразу, — что этот арестованный — младший брат машиниста, с которым они давно не виделись. И приехав в город, младший — у него не было часов, и конвоиры обыскивали его дольше других, думая, что он их спрятал, — младший думал сделать старшему сюрприз, утром постучав в его дверь: из последнего письма он знал, что брату дали краткосрочный отпуск.

Машинист шел к своему паровозу; его подняли с полночи подменить заболевшего товарища, он был зол, воротничок резал шею, и он ждал, когда в кабине можно будет снять китель и надеть привычный свитер. Конвоиры развернули младшего брата лицом к стене, продолжая обшаривать карманы, маневровый паровоз на путях свистнул и дал задний ход, отвлек на себя внимание машиниста, и два брата не увидели друг друга. Машинист поднялся в кабину, сбросил китель, и пока он натягивал через голову свитер, его брата провели мимо паровоза к теплушкам.

Даже во сне меня поразила обыденность, легкость, с которой случилась эта не-встреча; события избегали соединиться друг с другом, существовали разрозненно, бессвязно, и то, что могло стать трагедией — в роковой момент брат узнал брата, — ею не стало.

В это время на дальнем перроне построился оркестр; репетировали встречу какой-то делегации. Но музыка не заладилась, музыканты не фальшивили даже, а просто не смогли вывести мелодию. Тогда вышел мальчик — он должен был читать приветствие от пионерии; однако и

рифмованная речевка запнулась, чтец будто проглотил половину текста.

Ни музыки, ни стихов; почему-то стихи остановили мое внимание. Я понял, что слова в них посредством рифмы должны будто часовые окликать друг друга, *видеть* друг друга, и благодаря этому всегдашнему бодрствованию слов, их взаимному видению, возникает особая смысловая оптика текста, создающая поэтическое прозрение: возникает смысл, которого не получить иначе, чем через такую оптику.

Стихи — и трагедия; первые трагики писали гекзаметром, возгоня состав событий — до трагедии, до точки, в которой разрывается слепая причинность и человек получает абсолютное зрение по отношению к себе и собственной судьбе, прозревает драматический смысл всего ее космоса. Это прозрение и делает трагедию — трагедией, откровением бытия, а когда бытие не откровенно человеку или он не способен воспринять это откровение, есть только безысходные муки и страдания.

И события, которые должны претвориться в трагедию, но не претворились, в некотором роде никогда не случаются в полной мере; они происходят, но не исчерпывают собой действие причин, их породивших; рок не разрешается через них, а умножается и повторяется.

И последующие поколения сохраняют раздвоение памяти, будут вынуждены ретроспективно, посредством нравственных оценок, вменять трагедию времени, в котором ее в бытийном смысле не случилось, а то, что случилось, называется как-то иначе.

Я знал, что машинисту никогда не откроется, кого он вез в арестантском вагоне, и его брат, сосланный на поселение туда, где протоколы заседаний райкома велись на бересте, где бумага была ценнее гвоздей, уже никогда не пошлет о себе весточки.

Эшелон трогался с запасных путей. В детстве, выходя к железной дороге считать вагоны и гадать, что в них, ты иногда встречал слишком длинный состав, который казался поездом-который-не-кончается, единственным на свете. Так и эшелон тянулся, тянулся за поворот, клубился пар, мерцали семафоры; потом вагоны все-таки заканчивались, и взгляд прицеплялся к запертой двери хвостового; казалось, она чуть-чуть приоткрыта, и в этой приоткрытости была последняя возможность что-то сделать, усилием воли преломить течение сна; но поезд уходил, а дверь оставалась перед глазами: так начинался третий сон.

Дверь эта сначала сохраняла свой облик, потом становилась просто дверью, потом менялась — каждый раз, когда сон повторялся, она была новой; дверью комнаты, парадного, кабинета; дерево, металл, ручка, замок — все преображалось. Оставалось лишь одно — приоткрытость, будто бы мгновение, когда дверь уже почти закрылась, погрузили в субъективное, не имеющее для спящего протяженности время сна, и оно бесконечно длилось, но я не мог чувствовать этой длительности — я ощущал лишь одно мучительное «почти»; то, что обозначало это слово, стало из наречия подобием существительного, отвечало на вопрос «что?», а не «как?». Дверь была уже не открыта, но еще не закрыта; причем я знал, что если она закроется, то не откроется уже никогда, исчезнет, и останется лишь непроницаемая стена.

Я тянулся к ней, ища клин, чтобы вбить его между дверью и косяком, — и почти успевал, но и не успевал; одновременно, чтобы хоть во взгляде спасти то, что за дверью, я смотрел в замочную скважину — и проваливался в нее, летел в пространстве, где множились другие двери, ставни, ворота, калитки, люки, крышки колодцев. Там закрывалось все, что могло закрываться — секретеры, шкатулки с письмами, почтовые ящики, сейфы, дверцы печей, блокноты, школьные тетради, альбомы марок; весь мир, казалось, складывался, как одна большая книга, которую должно обить железными полосами, повесить на нее замок и положить под спуд.

Там, за каждой дверью, умирали оставленные увезенными в эшелоне людьми вещи; трескались стекла очков, выгибались тонкие проволочные дужки пенсне, черными раковыми пятнами сходилась амальгама с зеркал, бледнели, растворялись видения лиц, некогда отражавшихся в этих зеркалах, отслаивались от стен обои, слой за слоем скручиваясь в бумажные струпы; разъедающая пробки, испарялся йод из флакончиков темно-желтого стекла, истлевали приводные ремни швейных машин, крошился графит карандашей, надламывались патефонные иглы, черным порошком осыпались грампластинки; дерево и цемент исторгали из себя гвозди и шурупы, рассыхался клей, скрепляющий листы фотоальбомов, рассыхались резинки в сопревшем белье, выпадали пуговицы с одежды, вылезал мех воротников; стачивался шрифт печатных машинок, лопались струны пианино, западали их клавиши и педали, а со страниц, в которые, как кровь, въелась ржа от металлических скрепок, с выцветающими чернилами отлетал легкий дух рукописных букв.

Ни в одном из помещений сна не было людей; комнаты, коридоры, пролеты лестниц, чердаки, подвалы, парадные, чуланы то сливались в головокружительную последовательность, то разлетались, как осколки, то вновь соединялись, нанизанные на траекторию моего движения; но ни единого человека не встречалось мне. Отсутствие людей было таким, каким оно бывает лишь во сне или в воспоминаниях раннего детства: кажется, что люди только что были здесь, они куда-то ушли, нарочно спрятались, и чем яснее воздух хранит остаточное тепло жизни, эхо голосов, а половицы помнят недавние шаги, тем мучительнее невозможность понять, куда же они ушли, где их искать. В детстве от этой невозможности плачут навзрыд, ибо она есть первый, может быть, опыт отчаяния: мать, отец — их так очевидно, так окончательно *нет*, что их отсутствие равнозначно крушению всего бытия; и не отыскав их, нельзя вновь увериться в мире, нельзя обрести силы жить, потому что *нет* означает, что в мире есть дыра, где люди пропадают — и ты можешь так же пропасть.

Вещи умирали не безмолвно; почти всякий звук, который издает вещь, возникает оттого, что с ней что-то делают, а здесь проявились собственные их голоса; их речь тысячекратно замедлена, растянута, и обычно мы не слышим слабый шорох, который издает, коробясь, бумага газет, тихое потрескивание стареющего фарфора или стекла,

комариный зуд нитей накаливания в лампах. Но в пустых комнатах, где стремительно истекало время, все эти скрипы, скрежеты, шелесты соединились в одно первобытное звучание.

Порой умирающий хрипит так, будто и человеческое, и животное в нем уже прекратило жить, и осталась лишь третья, неизвестная им самим составляющая его существа, родственная неживой природе: так влажно пульсирует, взбухает лопающимися волдырями глина в грязевых вулканах. А потом, перед самой кончиной, к нему возвращается речь.

Вещи тоже сперва кричали, будто стали одичавшими, а затем, наоборот, обрели в слитности издаваемых ими звуков что-то человеческое; они впитали голоса хозяев, их интонации, и теперь, погибая, пытались заговорить в ритмике этих интонаций. Возникла странная речь: для человеческого слуха она казалась междометиями праязыка, которые — будь то стон боли или восклицание радости — прямо выражают эмоцию в звуке, не опосредуя ее в слове. Четвертая струна скрипки ближе других по звучанию к человеческому голосу, и в каждой вещи словно открылся дар этой четвертой струны; оказывается, в них жило молчащее напряжение, которое лишь через умирание могло стать звуком.

Теперь казалось, что вещи падают в какую-то бездну, сталкиваясь, вращаясь и почти по-человечески вопя от ужаса; комнаты и другие помещения бесконечно сменяли друг друга, из этой последовательности не было выхода и ей не было конца.

Внезапно я узнал эту какофонию, и в точке узнавания замедлилось, а вскоре и совсем прекратилось движение сквозь комнаты. Из детской памяти, из воспоминаний того же возраста, что и воспоминание о кажущейся утрате отца и матери, возник образ: подвесной мост через реку, натянутый на тросах, сухожилия этих тросов перерезает пила с мелкими злыми зубчиками, похожими на мышинные, тросы лопаются, но мост еще держится в воздухе, как будто силой привычки ходивших по нему, и лишь спустя несколько секунд рушится в воду.

Скрип и скрежет, треск — и долгое, по-женски нежное пение лопнувших тросов, протянувшееся дугой над речной водой, словно силившееся воссоздать мост — в звуке, в звучащей арке. И мой — внутри себя — плач, потому что никак нельзя понять, зачем уничтожать старый мост, чтобы построить новый, и уверенное знание,

что новый не будет лучше, хотя не было испытания страшнее, чем ступить на трухлявые доски, закачаться над камнями переката в ритме чужих тяжелых шагов, — не будет лучше, потому что возможность быть лучше у него заведомо отняли, вот так, в одно мгновение, в живодерском воодушевлении, в желании решительной перемены обрушив старый мост в воду, хотя его можно было разобрать, найти службу и дереву, и металлу.

Воспоминание о разрушенном мосте, будучи извлечено из памяти давних лет, было похоже на куст, вырванный из почвы с земляным комом, в котором прячутся корни: разрушение моста представляло собой эпицентр воспоминания, а все остальное, по закону контраста, ушло в тень: пропали дома деревни с берега реки, пропала церковь, да и сами берега утратили черты строго определенного места, став скорее образом берегов вообще.

Река же, словно наступило половодье, поднялась; уже не вода текла по руслу реки, а весь осязаемый в воспоминании мир стал руслом, и оплывающие берега, и небо — все стало единым течением, среди которого река была как бы быстринной, языком, в какие собирается вода перед перекатами.

Движение, приостановленное воспоминанием о мосте, началось снова, но уже в другом образном претворении; река, бывшая частью сна, вдруг оказалась больше него, словно там, где обретаются сновидения, есть образы непредставимого наяву, существующего лишь как абстрактные понятия; образы тем более достоверные и выразительные, что их основой служат знакомые нам объекты реальности, которые в сновидении, однако, воспринимаются не зрительно, а чувственно, воспринимаются не как символы, а как силы, действию которых всецело подлежишь и ты, и сам мир сновидения.

Мое сознание — сознание спящего, осязаемое для него как свет, делающий различимой действительность сна, — сократилось до скорлупки ореха; течение охватывало меня; это было странное течение, течение-на-месте, словно здесь были и исток, и устье; течение, увлекавшее меня не вдаль, а вглубь, течение без протяженности. Оно не уносило, а пыталось развоплотить, как будто река эта — подземный Нил, черный ход, обратный поток времени, по которому бог солнца еженощно плывет в барке из стран заката, чтобы утром вновь воссиять на востоке.

Однако течение не только развоплощало. В нем, как в дожде или ветре, был и намек на чье-то присутствие; было неопределенное и все же ясное ощущение — «там кто-то есть».

Кто-то безмолвно боролся с течением, не хотел ему уступить; совершался чей-то подвиг — давний, позабытый, но все еще продолжающийся. И я понял, что там — люди; те, кто оставил опустевшими комнаты, кому адресовали свой крик умирающие вещи; мост — некая дорога к ним — уже рухнул, но я как бы успел пройти им.

Так — через сон — человек получает прозрение памяти: он ощущает грозное присутствие затененных областей прошлого, которых не касался свет сознания; там, в тюрьме времени, похоронены люди, события, знания о себе самом, исключенные из сферы внутренней жизни.

Исключенные — но не переставшие существовать: ведь даже забывая что-то, мы лишь отказываем этому воспоминанию в праве появляться в поле нашего внутреннего зрения, а избавиться от него окончательно мы не в силах. И эти воспоминания, казалось бы, преданные небытию, на самом деле обращаются на дальних орбитах души, остывают или продолжают светить; все наши горести, все любви, все страдания существуют в нас, как погасшие светила, и долго еще длится свет бывших солнц — одно это может показать, насколько малая часть внутреннего космоса нам знакома.

Ясновидец памяти — вот кем стал я во сне. Течение реки, в которую превратилось сновидение, отрешило меня от себя самого, разорвало все нити, которыми связаны сознание и память, благодаря чему ты в любой момент в подробностях прошлого знаешь, кто ты; став никем, лишившись predetermined личностью избирательности в воспоминаниях, я словно обрел всю свою память целиком.

Власть воды отступилась от меня; и я узнал, что память одного человека — это не утлая лодка. Память — такая, какой она открылась мне, — была ковчегом.

В том течении, в том движении воды, что казалось пустым, вдруг стали проступать острова, в отдалении вновь возникли берега, и река стала рекой; я как будто достиг самой глубины сна, где образы не

знают конкретных черт, и теперь возвращался обратно, ближе к дневной яви.

Острова, плоские, печальные, были схожи с островами северных рек; их, состоящих из гальки, песка и земли, каждое половодье переживает наново, и они блуждают по речному руслу, прокливаемые лоцманами и бакенщиками. Острова эти бывают велики, но на них не ставят даже рыбацкой избы; иногда только, если остров слежавшийся, сопревший от речной гнили, там принимается в жадный рост трава, и, польстившись на густотравье, летом по реке везут в широких лодках, будто на телегах, стога сена. Но скотина неохотно ест эту траву, словно чувствуя, что стебли и листья ее так раздались от пустой воды, что трава эта донельзя голодна и потому отберет силы, а сама не отдаст ни капли, не насытит; разбавит кровь, сделает водянистым молоко. На следующий год и покоса уже не найти, вместо острова будет отмель; такие острова не наносят на карту, и только в прибрежных деревнях помнят, где какой был.

Я заметил, что некоторые острова несет вода — это были огромные торфяные плавуны; где-то в верховьях река размывала залежи торфа, уносила их; на одном из торфяных островов стояли старые, потемневшие деревянные кресты — река вырвала кусок кладбища.

Другие острова не двигались; их берега были будто обложены валунами, укреплены. И когда я приблизился к одному такому острову, я увидел, что это был берег человеческих лиц; люди сомкнулись тесно, передние по горло вошли в воду, следующие стояли чуть выше на отлогом дне, последующие — еще выше, и так много рядов, которые для смотрящего с реки были только лицами.

Вода эти лица не отражала: в реке словно иссякла сила самообновления, и река несла давние отражения, размытые, неясные, в которых едва угадывались то облако, то сине-белый борт парохода, то серый от дождя еловый лес на обрыве.

Вода реки струилась без напора или смятения, как кровь в жилах спящего; если бы возможно было перенести эту реку из сна в действительность, отделить ее от смутных берегов сновидения и вставить, как в оправу, в холмы и откосы любой известной долины, она бы издали казалась обычной рекой. Но оказавшись на берегу, человек вдруг почувствовал бы, что это вчерашняя река; она лишь течет

здешними местами, но ни один приток не сольется с ее водами, ни один ключ не пробьется сквозь донный песок, чтобы напитать ее.

Если в ясный день у воды кажется, что река — овеществленная речь дня, беззвучное и всепроницающее движение жизни в нем, то около реки, перенесенной из сна, ощущение было бы иным.

Речь отзвучавшая, речь, чьи слова похожи на пустые, треснувшие раковины с потускневшим перламутром, из которых извлечены жемчужины значений; жизнь окончившаяся, текущая, как вода из кувшина, разбитого у родника на обрыве, долго течет вниз по склону, прокладывая русло среди палой листвы, хотя наверху, у родника, уже давно собраны или втоптаны в глину черепки, — вот чем была та река. По ее берегам не могло быть пристаней, качающихся на привязи лодок, дорожек, ведущих к воде, и рыбацких рогулек на отмелях.

Лица людей, стоявших в воде и у воды, были темны; течение внезапно подхватывало то одного, то другого — и на место унесенного заступал тот, кто стоял следом за ним; так река размывает коренной берег, незаметно подтачивая грунт под камнями. Лица были так темны, словно люди долго шли под землей, шли не по тоннелю, а сквозь саму землю, и крупницы ее въелись в кожу; земля была у них во рту, в желудке, в легких, все пустоты тела были заполнены ею.

Люди были словно заживо похоронены, но не умерли в могиле, а блуждали подземными путями до той поры, пока не вышли на берег реки, не отворили, как дверь, земную твердь. Но вышли они в мир, где напротив имени каждого из них в давно истлевших списках стоял прочерк, удостоверяющий их небытие, и теперь смерть в считанные мгновения довершала отсроченный труд.

Так рассыпаются извлеченные из древних курганов свитки — сам воздух нового мира становится убийственным для них. Тысячелетия времени, от воздействия которого они были укрыты, протекают для них в один миг, и как убыстренное горение становится взрывом, в них происходит «взрыв» времени, уничтожающий их — и выправляющий общую временную ткань, для которой они были занозой прошлого.

Люди, стоявшие на берегу, были такими же занозами — и время расправлялось с ними, хотя они и старались держаться вместе; река уносила их, вода поглощала без всплеска; они стояли, словно сход деревни, затопленной много лет назад, деревни, чьи дома ушли в ил, и только окатанные течением кирпичи печей еще изредка краснеют на

песчаных косах. Эти люди, остаток давно ушедшего поколения, вычеркнутые из него, ввергнутые в душную тьму земли, были будто устаревшее слово, забытая часть речи. Им уже не было места ни в языке, ни в мире: слово их звучало глухо, как сквозь землю, и доносилось из-под ног живущих.

Я слишком хорошо чувствовал, что эти люди обращаются ко мне с *того* берега; один из берегов, к которому был ближе мой взгляд, мое местоположение во сне, был берег *этого*, я воспринимал его так, как моряк видит близящуюся землю, ощущая за узкой полосой всю ее желанную протяженность; а берег *того* был землей оставленной, покинутой, которая, как бы велика она ни была, всегда по мере удаления превращается для отплывающего в остров.

Остров людей среди вод; их земляные лица незряче просили узнать их, но одновременно над ровным течением реки слабо, как шелест крыльев насекомых в безветрие, сладко, как запах эфира из-под двери в комнату больного, разносился тихий бессловесный голос, как бы поющий песнь; в ней рассыпался колос, слабел черенок листа, червь проникал в скорлупу лесного ореха; все то, что служит иногда элегической поэтике, было собрано воедино в его действительном обличье, в бесстыдной естественности смерти. Это были те звуки, что громки лишь в кладбищенской тишине в будний день, когда единственный посетитель поражается, сколь бессильны ограды и памятники охранить мертвых от природы, которая, не будь уборщиков и сторожей, за десять лет превратила бы кладбище в бурелом, где редкие фотографии и надписи на плитах смотрелись бы так же чужеродно, как пластиковая банка, брошенная в лесу, среди птичьих гнезд и звериных нор.

В голосе слышался тот выдох, с которым изгоняется из мыслей тягость; тот выдох, с которым люди, не слишком близко знавшие покойного, покидают стены кладбища и сень кладбищенских деревьев. Радость, вынужденная выдавать себя за чувство исполненного долга, живет в этом выдохе: радость оттого, что утрата упрощает жизнь; радость сродни той, что испытывает случайно исцелившийся больной, который может теперь забыть о режиме, о предписаниях врача и, самое главное, — о той тени, поселенной болезнью в его сознании, тени, которую начинает отбрасывать внутрь себя человек, признавший власть смерти хотя бы над частью территории своего тела и разума.

Этот длящийся выдох, эта песнь заранее обрекали стоящих на берегу людей исчезновению; они видели меня, все смотрели на меня, и совокупная сила их взглядов творила видение внутри сна: песчаная отмель, туман и дым, высокий железный борт, плеск воды, огромные железные ворота, открытые на корме баржи, сходни с веревками над водой. И по этим сходням шли в общем строю арестанты, конвоиры, офицеры, матросы, мотористы — шли, не поворачиваясь, и пропадали в трюме, где виднелись только изогнутые металлические ребра. Потом железные створки начинали закрываться — сами собой, их никто не приводил в движение, ни люди, ни механизмы, — и ушедшие оборачивались, арестанты и конвойные стояли вместе, но их становилось все меньше — других заслоняли от меня сходящиеся железные плиты ворот. И снова я хотел остановить створки, вбить клин, снова тянулся — и просыпался, и взгляд мой не узнавал дома, потому что взгляд — как ковчег — был полон лиц, искавших в нем спасения.

Сны приходили три дня; на четвертый я понял, что должен ехать в город, откуда пришли письма, найденные в столе Второго деда, отыскать того, кто их отправлял. Что это единственный путь что-то найти в прошлом, было ясно и так, но теперь я ощутил, что этот путь открылся; мы были взаимно готовы, я — тронуться, путь — пропустить меня.

Часть четвертая

Когда просыпаешься в поезде, в ночь ушедшем из большого города, тебя окружают только протяженные вещи: провода, реки, дороги, поля. Страна выходит к насыпи посмотреть на вагоны с добродушной насмешкой постоянного над переменным, взгорки и опушки немного научаются быть видом из окна; триангуляционные вышки на местных высотах — точки привязки географических координат — выглядят марсианскими треножниками после неудавшегося вторжения, зато кресты на церквах задают оптические оси, и пространство строится от церквей; крест здесь не только символ веры, но и землеустроительный инструмент.

Но чем дальше от средней полосы и ближе к таежным краям, тем реже встречаются церкви; а когда поезд уже идет через северный глухой лес, непросветный, непрозвучный, там, в местности, сколько ни рассекай ее просеками, ни просвечивай лучами лесосек, ни разграфляй кварталами лесничеств, содержится нечто темное, мшаное, идущее от земли, от сумрачных пазух под нижними ветвями елей; это не дух язычества, а тот дух, которым язычество питалось, и крест как начаток «регулярного» пространства, как точка и мера отсчета пропадает среди зыбких, увлекающих в глубину, слитно, как речные травы, движущихся — и стоящих на месте сумерек.

Когда-то в горах за Полярным кругом я встретил группу альпинистов: то ли монахи, то ли просто верующие, они несли большой, крепко сколоченный крест, чтобы поставить его на самой высокой из местных вершин, «окрестить» тайгу и горные хребты. В разговоре выяснилось, что они делают это уже в седьмой раз: все поставленные прежде кресты свалило лавинами или камнепадами, их даже не удалось найти в ущельях.

Несколько дней спустя я поднялся на гору; здесь, на высоте, еще был день, а внизу, в долине, уже поднимались, как вода в прилив, тени вечера. Обложенный камнями крест подсветило закатным солнцем, а за ним простирались поросшие лесом отроги гор, неотличимые друг от друга. И я вдруг увидел, как пространство, исполненное безликой плавности линий, темное и глухое, отторгает ясную форму креста;

отторгает форму вообще. Наитием я понял, что и этот крест простоит тут недолго: его «съест», поглотит прорва леса; он как соринка в дремучем, замшелом лесном глазу, глаз моргнет, и креста не станет.

Когда я проснулся в поезде, мы уже миновали поля средней полосы и добрались до тайги; поезд шел вверх по глобусу, на север, вдоль великого канала; где-то там, за сосновыми лесами, текли в деревянных шлюзах воды, взятые займы у озер, совершалось путешествие воды через гранитные водоразделы; суда в уости канала казались идущими посуху, их мачты возвышались над лесом, и гнал долгое эхо корабельный гудок; поселки и города у железной дороги стояли по краям озер, нанизанных на линию канала, над низкими домами высились стрелы портовых кранов, штабеля леса, и все это было великовато для деревенской жизни; но все спасали озера — протяженные, с холмистыми берегами.

Канал вел к северному морю, его механическая перистальтика воплощала намерение связности, соединенности огромных пространств, где трение скольжения предпочтительней трения качения; его предшественниками были старинные волоки, старинные речные пути, которыми, может быть, ходили чаще, чем сушей. И, наверное, в создании канала было больше несознаваемой символики — дать сквозной ход воде, позволить ей течь, а не стоять, — чем действительной необходимости; шлюзовые строения с накладными колоннами и арками, храмы грузоперевозок, молельни речного плавания — через канал, как через катетер, в эти края должна была влиться жизнь большой страны; на берегах одного из озер выстроили целлюлозно-бумажный комбинат; леса сводили ради слова, и власть над здешними краями переходила от леса к бумаге.

Теперь деревни и поселки располагались на двух обочинах — железной дороги и канала; мимо шли корабли, мимо шли поезда — два потока, два устремления мимо, два увлекающих течения; и вся жизнь понемногу приобрела черты перрона и пристани, пристани и перрона — смотря в какую сторону повернуться; жители кормились не от земли, на которой стояли их дома, а от водной и сухопутной дорог, то загруженных, то пустующих; канал и железнодорожные пути были окружены полосами отчуждения, и жителей затерло, как между льдин, между двух этих полос.

Поезд пришел на крупную станцию: двадцать минут стоянка, смена локомотива. На низком, по голень, перроне уже толпились торговцы, знающие, где окажутся двери вагонов; торговали в основном женщины, старухи и ребятя; перошкии, перошкии, пивохолодное, пивохолодное, рыбка, рыбка, рыбка, кефирчи, комукефирчи, малина, малина, картошечкавареная, картошечкавареная, чипсы, чипсы, чипсы, водаминеральная, водаминеральная — десятки торговых скороговорок, скорговых тороговорок, все на бегу, быстро-быстро, незадерживайте-мужчина, подставляйпакет, сбанкойдороже, сбанкойдороже, — сглатывая буквы, словно от голода. Но в каждом лице, в каждой фигуре, приобретшей уже перронную вертлявость, телесную бойкость, угадывались другие лицо и фигура — те, настоящие, что будут дома; бог весть что ждет там — старухин угол с видом на постылый огород, квартира в барачной дощатой двухэтажке, где все у всех на виду и желтые простыни лежачего больного висят во дворе на одной бечевке с желтыми пеленками грудничка; бог весть, что ждало там, и ты знал, что твое место рождения — лишь случайность, и больше правды было бы тебе жить здесь. Ты был среди своих — среди люда городских и поселковых слободок, в которых родились твои отец и мать, и ты не забыл эти корни; уже подогнули локомотив, проводники торопили садиться, торгующие спешили на соседние пути — с севера подходил встречный скорый, его прожектор и красные двойные усы показались из-за поворота, а я стоял, докуривая; мне почему-то было важно исчерпать время стоянки до конца.

По соседнему перрону шла старуха; она несла букет увядших, потерявших упругость стеблей, но еще волнующихся, живых темно-бордовых раскрывшихся пионов. Я знал эти цветы — это я перекапывал, перемывал в розоватом растворе марганцовки клубни, запутанные переплетения корней, похожих на узловатую плоть, — и началу июля на даче тугие глянцевиные шарики бутонов в один день взрывались крупными бордовыми лепестками, вдесятеро сложенными, скрученными, а теперь распадающимися, как разломленный своей чрезмерной спелостью гранат, почти вульгарными в этом не-удержании пропорций, но прекрасными именно не-строгостью, исчезновением формы, ее умалением перед темно сияющим из собственной глубины цветом.

Такие пионы — я знал это, — привезенные с дачи, распустились сейчас на могиле Второго деда, запустив вглубь чуткие кожистые корешки; есть смертные цветы — те, которые не просто уместны пред лицом свершившейся гибели, но как бы венчают и оттеняют ее; те, чья травяная плоть ближе всего к человеческой плоти и потому может прямо и переносно быть ею в обряде похорон, расти на земле кладбища, не терпящей случайных посадок; бордовые пионы — в их бутоны часто заползали маленькие черные муравьи; темное пятнышко на зеленом, провозвестник будущего тления.

Старухины пальцы неловко держали перехваченные обрывком бинта цветы; пионы рассыпались, клонились в разные стороны, и казалось, будто внутри у старухи происходит то же самое: жизнь ее, которую уже почти ничто не удерживает в единстве, вот-вот распадется, и старуха старается только донести ее в укрытие дома и остаться наедине с трудом кончины. Непроданные цветы мешали, руки не могли за ними уследить, руки уже почти умерли, жизнь собралась ближе к сердцу, к животу.

Я понял, что не могу сейчас сесть в поезд, оставив ее на перроне; я узнал ее — так, как узнаются люди, которые являются нам, бывает, несколько раз, и они — разные, но по отношению к нам они есть один человек — наперсник, безмолвный советчик, утешитель.

Прежде я видел ее лишь дважды — в переходе метро около дома. Она давала мне излечение от самовлюбленности горя и самонадеянности обиды; были поздние вечера жаркого и пыльного лета, и что-то бродило в людях, вспыхивая то бессмысленной дракой, то бранью, то бьющимся стеклом; воздух стал душен, в нем скоротечно увядали цветы, сникали листья; я возвращался домой, замкнувшись на своих горе и обиде, ожесточась так, что начинал спотыкаться — все было поперек, не с руки, не в жилу, — и оба раза в переходе метро стояла в поздний час старуха в детском вязаном чепчике, в застиранном платье, старом-старом, по фасону ее девичьих лет. Что-то было в ней от чистоплотной мыши, прижившейся у людей: седые волосики над губой, ветхость ткани, где нить уже лишь в треть силы держит нить, подслеповатость, слабость, ясность ума на маленьком, размером в оправу очков, пяточке повседневных забот. Стояла она не робко и не искательно, но не отнимая ничьего внимания; перед ней на картонном ящике были саженцы комнатных цветов в

пластиковых стаканчиках и отдельно, в банке, когтистое перо столетника.

В ней была безропотность перед Богом; нам кажется, что безропотный означает готовый все сносить, но это говорит в нас гордыня, бухгалтерское представление о справедливости и воздаянии; действительная же безропотность там, где уже снято противоречие — сносить или не сносить, терпеть или не терпеть, где равно возможно и то и другое, — но не возвышая свой голос на Бога. И встречаясь с этой старухой, ты знал, что с ней ничего не случится в скверном вечернем метро; все твои обиды, тревоги, печали не то чтобы казались постыдно малыми в ее присутствии — они становились несуществующими; только что ты мучился, в солнечном сплетении сидел скользкий, холодный, ядовитый комок — и все это исчезало.

«Я сама дойду», — сказала мне старуха на перроне, будто угадав мое намерение. Я купил пионы; едущий на юг скорый скрыл ее от меня, подножка моего вагона тронулась.

Бывает так, что случайная — на короткий миг — встреча порождает близость, какой не случается в обычной жизни; вдруг узнается, что нет расстояний, нет защит — они иллюзорны, — есть только глубочайшее родство; и не нужно риска, не нужно преодоления, выхода за свои границы, чтобы встретиться с другим — эта встреча уже состоялась; она больше каждого из нас, мы живем внутри нее, мы уже встретились; встреча не случайность, а закон, способ и среда существования: не она между нами, а мы в ней.

И не нужно ждать, что человек откроется тебе какой-то стороной, которой ни ты, ни другие не замечали, не нужно искать кого-то неожиданного, неизвестного, нового. Ожидания и поиски только уведут, мешают увидеть, что неожиданность и новизна лишь маски пустоты, бижутерия, мишура; а все действительно ценное и близкое узнается по заведомой известности, по заведомому родству.

Поезд уже отошел от станции; цветы стояли на столике в купе — как привет и знак прощания одновременно; и постепенно с этими жадными к жизни лепестками, ощутившими воду, пурпурными, лиловеющими, густоцветными, как венозная кровь, лишенная кислорода, стремящаяся к легким, во мне установилось — в противоположность зримому образу — состояние глубокого вдоха. Цветы дышали лепестками, запах создавал объем их присутствия, и

объем этот увеличивался, будто бы стебли и лепестки составляли только малую, зримую часть цветов, а главное было эфирным, летучим, доступным только обонянию.

Цветы дышали; из-за чрезмерной сладости их аромата мне вновь вспомнилось кладбище, могила Второго деда; спускался вечер, поезд вылетел на мост, клепаные стальные фермы встали по бокам пути, как огромные буквы. Внизу было широкое русло реки, и река была недвижна, течение чувствовалось в ней только у дна, под напряженной гладью воды; поезд несколько минут двигался в пустоте, самого моста не было видно, только опоры и река, и сердце забило резче, ощутив этот перебой. Реку выстеклило закатом, и длинная рыбацкая лодка, направляемая единственным гребцом, двигалась поперек течения, медленно, тяжело, словно весла черпали ртуть.

Я узнал лодку с мозаики склепа около могилы Второго деда, длинные тени тополей, как бы павшие раз и навсегда и не могущие уже удлиниться; но там Харон вез тень, укутанную в долгий саван, а здесь перевозчик или рыбак плыл один.

Ближний берег был еще освещен, выплавлен из закатного света, а дальний уже скрыла тьма, и к нему-то и правил гребец; затемненный берег рассекал глубокий овраг, из него в реку впадал язык черноты.

Поезд мчался, из-за его скорости все за окнами было медленным, как бы уже совершившимся, неизменным: гребец не мог повернуть, ветер не мог скользнуть рябью по реке, луч не мог разогнать темноты, и мы переехали на темный берег, помчались туманными лугами поймы, где все было бархатным, как крыло летучей мыши, молчащим и недвижимым; в последних вагонах еще видели реку, лодку, свет, а голова поезда уже внедрилась в сумрак, в крылатое молчание птиц, круживших над лугами; редкие старицы курились, отдавая дневное тепло, и лишь по таким дымкам можно было понять, что здесь еще *этот* свет, что холод ночи здесь не вечен.

Почуяв ночь, цветы у окна стали сворачивать лепестки; уснул и запах, прекратилось его истечение; и только в глазах, пока я не уснул, держались сияние реки, темное пятно лодки и гребца, длинные тени деревьев. На что бы я ни смотрел, куда бы ни направил взгляд, все заслоняли золотистая река, движение весел, и мир стал вторым планом, чем-то, что помнишь только сквозь другое воспоминание, что отдалается, как берег для стоящего в лодке; и только сквозь свечение

воды виделась мне прошлая жизнь, ставшая вдруг очень далекой, менее чувственно осязаемой, чем воронки от весел на дымчатом вулканическом стекле воды.

С поезда я сошел ранним утром, темным из-за непогоды; пассажиры — а их было немало — как-то удивительно ловко исчезли. Только что они были — кашляющие, кричащие, матюкающиеся, с громоздким дорожным скарбом, с коробками, рюкзаками, сумками, тележками, которых всегда больше, чем места в плацкарте, путешествующие тяжело, натужно, поминутно сплевывающие, работающие мышцами и локтями; только что кровь прилиwała к лицу, сгибались спины, все что-то куда-то несли, тащили, волокли — и вот уже нет никого, только оставшиеся без клиентов таксисты курят у машин и смотрят, как грызутся на привокзальном пустыре собаки.

Я прошел через сквозные двери вокзала. За столиками в вокзальном кафе сидели два милиционера и двое в кожаных куртках; все четверо были одинаковы. Такие лица бывают у тех, кто в тринадцать-четырнадцать лет начинает ускоренно расти: телесная ловкость не успевает за растущими мышцами, и на год-два подросток превращается в увальня. В лицах и было это выражение подростковой тупости — словно бы каждый из сидящих от излишка мяса в теле чувствовал теперь только желудком и членом; на столике стояли тарелки с шашлыком и жареной картошкой, бутылка водки, в проеме двери маячила подавальщица.

Четверо сидели как привратники того мира, в который я вступал; в зале ожидания пахло отрыжкой, капающей изо рта в похмельном сне слюной, потом и куревом; на скамьях лежали, укрывшись с головой, люди, привычные к бесприютному сну, — на полу, на баулах, на третьих полках, на койках общежитий, на нарах КПЗ; каждый складывался, сгибался, чтобы было теплей, — но казалось, затем, чтобы выглядеть так, будто тебя уже ударили — и не надо бить еще, довольно. Я и сам умел спать так — чувствуя во сне не сердце, а бумажник; я спал и в местах похуже, но здесь, проходя сквозь зал, я еще был с *поезда*, где ты все-таки пассажир и на что-то, как ты думаешь, имеешь право — и для четверых, сидящих за столиком, я тоже был *пассажир*: блатной язык точен в легкой афористичной презрительности к тем, кто полагает, будто это он куда-то едет, а не его везут.

Автобус в город уже ушел или еще не пришел; тот бесконечно емкий промежуток времени, который учит существовать в иррегулярности, обживаться в ней, улавливать токи вероятностей.

У остановки были клумбы из раскрашенных автомобильных шин; я выкладывал такие на школьных субботниках. И я признал как свое это знакомое нищенство, вторую жизнь вещей, возмещающую недостаток необходимого; клумбы из шин и бутылок, вкопанных кверху донцем, кормушки из молочных пакетов, пепельницы из консервных банок. Родившийся и выросший среди них, я думал теперь: а только ли с вещами это происходит? А что, если и мои чувства, мысли — тоже вынужденная подмена чего-то настоящего? Вдруг моя любовь — не любовь вовсе, а такая же клумба из шины с заплеванными бархатцами?

К остановке подрулила машина; черная «Волга» с антенной — чей-то шофер калымил поутру. Открылась дверца; внутри «Волга» была похожа на берлогу: чехлы из темного, с длинным волосом искусственного меха на сиденьях, тонированные стекла, все чуть потрепанное, слегка нечистое, несвеже пахнущее от жара печки; водитель был такой же — в шерстяной безрукавке, оставляющей открытыми локти, в вельветовых штанах, толстый, золотозубый, небритый, с косящими от оглядки по зеркалам заднего вида глазами, дикий спросонья, но хваткий, из тех, кто любит мелкое жонглерство — выщелкнуть пальцем сигарету, поймать ее ртом, — думая, что в этом есть щегольство, удаль; такие чаще идут в таксисты, чем в личные шоферы, кучкуются, встречая поезда, в маленьких городках, но ты трижды подумаешь, прежде чем сесть в машину. Такое такси не везет, а увозит, даже знакомый путь делается в нем чуточку незнакомым; от таксиста тянет не опасностью, но беспокойством — то ли сбил пешехода в дождливую ночь и дал газу, то ли обокрал пьяного пассажира, то ли чем-то торгует из-под полы, — и деньги на сдачу у него обязательно найдутся ветхие, замусоленные, словно им не давали полежать в кошельке, а снова и снова пускали по рукам, мяли, комкали, жадно распихивали по карманам. От этих купюр — одна надорвана, вторая с пятнышком крови, на третьей записаны какие-то цифры — тоже будет тянуть чем-то жалко-запретным, какими-то пьяными уговорами, расчетами под хмельком, вытребованными долгами, вытертой клеенкой магазинного прилавка, закапанной

рассолом от селедки; и будет казаться, что полдороги таксист решал, везти ли тебя туда, куда тебе нужно, или свернуть в какой-нибудь проулок или перелесок, которые для тебя — незнамо где, сказать, что спустило колесо, посмотреть, как ты себя поведешь...

«Волга» взлетела на железнодорожный мост — мелькнули вагоны, цистерны, прожектора, раскоряченные грузовые краны — и понеслась разбитыми улицами города. Нам предстояло миновать его, проехать километров тридцать и прибыть в другой город — тот, что был указан в письме Второму деду; этот город был низкий, дальний вставал издали трубами горных комбинатов, а за ними — серыми, покатыми сопками, затянутыми дымом и кучевыми облаками.

За городскими окраинами началась лесотундра, но ни единого зеленого дерева не было там — только скалы, каменные осыпи и костяки мертвых стволов; сюда постоянно дул ветер со стороны горных комбинатов, и дым из труб, оседающий с туманами и дождями, за десятилетия сжег, уморил все живое. В таких местах не должно жить, их не должно видеть — их картина не имеет ничего общего даже со зрелищем природных катастроф: как криминалист отличит убийство от самоубийства, так и в изуродованных человеком ландшафтах узнается именно — косвенное ли, прямое — убиение, узнается по тому, что в природе смерть быстротечна и не безобразна, а сотворенное человеком отпечатывается дрящимся уродством.

Потом начались склады, заборы, заборы, заборы; вдалеке виднелись горы, ночное небо и простор, а здесь все было разгорожено, отъединено стенами; всюду — по гребню забора, по крышам — виднелась колючая проволока, то нитями, то спиралью; одна ржавая, другая еще блестящая, посверкивающая в свете прожекторов; кое-где новую проволоку тянули поверх старой, на тех же кронштейнах, и возникали проволочные заросли. Всюду были шлагбаумы, остерегающие надписи, знаки «въезд запрещен», будки охраны, у которых возились прикормленные бродячие собаки, бросавшиеся облаивать машину. Затем вдруг, как провал, возникал пустырь, сохранивший только начатки каких-то дел — тут черпнули грунт ковшом, тут бросили трубу, тут поставили рейки, что-то размещавшие; пустырь был темен, как земля, и темноту можно было копать лопатой. Машина летела, снова появлялись забор, прожектора, цеха, трубы, дым, пар и свет — и снова провал пустыря. Человек защищался,

отгораживался, он не владел этой землей, и будки охраны были архитектурными потомками лагерных вышек; земля эта была поражена *грибком* — грибком часового, и все это — заборы, проволока, шлагбаумы — было как единый, вечно длящийся окрик «стой, стрелять буду!».

Машина летела, и мне казалось, что мы живем на собственной земле как оккупанты; что мы смотрим друг на друга через вертухайский «глазок»; играла музыка, певец хрипел, что все друзья его быки, готовы к бою кулаки, готовый к бою пистолет, против быков спасенья нет; на пальцах водителя, когда он переключал передачи, синела татуировка — любительская, кажется, бледная, ее пытались свести, — и раздерганная, расхлюстанная музыка, и песня странно соответствовали местности. Мы мчались через «зону», хоть это и были вольные заводы; «зона» проникла повсюду, на всем была ее хозяйская метка — проволока в три ряда. Кажется, любую вещь здесь надо было запереть, чтобы не украли, и замки множились, замки, засовы, щеколды, следующие замки, — если вскроют первый, — и так по кругу; встречные машины не выключали «дальний», меня слепило, а водитель не отворачивался, привык; готовый к бою пистолет, против быков спасенья нет — орали динамики, и мы мчались, бессмысленно быстро, будто спешили драться с кем-то, ломать кости, вышибать зубы; темнота, заборы, пустыри — все гнало, все показывало, что тут нельзя останавливаться, как в зачумленной местности, и от этого рождался азарт, какая-то беспощадная готовность жить наперекор всему, вгрызаясь в жизнь как в жесткое, с жилами, со шкурой мясо; я много раз бывал в таких местах, но в тот раз впервые так определенно понял, что блатные победили, что лагерь победил не-лагерь; лагерь не ушел — он просто «размазался» в пейзаже, разделился на части, и каждая часть встроилась, переменяя все вокруг себя, в среду обитания человека.

К этой местности очень подходили игрушки, найденные в квартире Второго деда — безличные фигурки, винтовка, овчарка, лошадь; они были отсюда родом, они входили в микрокосм места. Мелькнул мост, заборы отступили, закутились по взгоркам узкие улицы городка, вывески, витрины, ларьки, остановки, дорогу пару раз перечеркнули рельсы, за взгорками то вырастали, то пропадали цеха комбинатов, и

сами горы приблизились, зажали городок в котловине, откуда был единственный выезд — через мост, который мы миновали.

Справа замаячил еще один провал темноты; но там, в темноте, угадывалось большое здание. Водитель заметил мой взгляд и стал объяснять, что это вокзал, раньше в город ходили электрички, в перестройку ветку забросили, остались только грузовые пути; вокзал стоял бесхозным, потом его по неосторожности сожгли. Дорога завертелась по склону, машина вылетела к самому вокзалу; здание было характерное, с арками, с колоннами, с широченными окнами — железнодорожный храм сороковых или начала пятидесятых, алтарь расписаний. Пожар лишь немного закоптил стены, и вокзал действительно стоял с поруганным величием брошенного храма, будто местные жители отрешились от некой веры; по тону я не мог понять, сожалеет водитель или, наоборот, гордится поджогом, в речи было и то и это.

Потом я приходил к вокзалу днем; схожее впечатление я испытал только единожды — в Стамбуле у Золотых ворот; я видел там, во что превратился бывший перекресток истории, ее натопанное, высветленное — множеством событий — для ретроспективного взгляда место. Я видел там, как некогда разрушенное разрушается во второй раз; как у крепостных стен бывшего Константинополя торгуют чехлами для телефонов, испорченными кипятивниками, болтами, гайками; вот обогреватель (пластик пожелтел от времени или курева), вот погнутый микроскоп, вот упаковка шприцев. Потребители шприцев обосновались в самих стенах, там дымили костры, меж провалившихся зубцов бродили оборванные бродяги, от которых несло трусостью и насилием.

У Золотых ворот тебя охватывает тоска; новая орда, кочевники нового мира, торговцы куртками из поддельной кожи ютятся в развалинах, не будучи в силах хотя бы разобрать их до основания и построить нечто иное; они сжились с разором, с тем, что щели в старых стенах достаточно им для жилья; с тем, что можно жить без оглядки на прошлое, можно полагать, что тень древних стен — удобная прохлада в жару, и ничего более.

Вот и в вокзале я увидел такой же брошенный перекресток, заиленное устье судеб; город как бы отрезал сам себе путь наружу, уничтожил окно в большой мир и теперь жил как ослепленный

циклоп, лишенный прожекторного глаза поезда. Конечно, до железнодорожной станции было всего тридцать километров автобусом или такси, но город-с-вокзалом тем и отличается от города-без-вокзала, что в него — через параллельные линии рельс — впущена абстракция пространства: шоссе, пусть и асфальтированное, все-таки просто дорога, а линии рельс — и дорога, и идея дороги одновременно. Стоя на перроне, ты и здесь, и уже не здесь, и это присутствие в городе точки, ему не принадлежащей, точки, где сходятся движение и покой, открывает город; предел, край города оказываются не там, где им положено быть геометрически, а внутри города, и он не может стать по отношению к жителям некой безвыходностью места.

Но вокзал был сожжен, и город, принуждаемый к этому ландшафтом, долиной, в которой он был расположен, замкнулся, часть посягнула быть целым; начался своего рода террор места против населяющих его, и люди отвечали тем же: стены домов и гаражи были густо исписаны руганью, никому не адресованной, то есть адресованной непосредственно среде обитания; надписи шли поверх прямоугольников свежей краски — ругань закрашивали, — избыточно, размашисто и однообразно; следы мелкой мести — свороченная урна, разбитые фонарь и стекло, мусор, выкинутый у обочины — показывали, что жители ведут с городом, закупорившим их в себе, партизанскую войну.

Высадив меня у гостиницы, водитель уехал, а я стал смотреть объявления на столбе в белесых потеках клея; преобладали предложения о продаже квартиры, обмене, их было очень много, они лепились слой за слоем, столб уже оброс тетрадной бахромой, и казалось, что всем здесь живется неуютно, все хотят что-то переменить, переместиться, найти, пусть и в прежних городских пределах, новый вид из окна. Многие даже не указывали, что продают квартиру или комнату, а писали только «48 квадратных метров», «37 квадратных метров»; объявления, видимо, мало кого интересовали, ветер шевелил нетронутые отрывные листочки с телефонами, и голые квадратные метры, которыми торговали, как участками на кладбище, уменьшились до тетрадных клеточек.

В таких городках за Полярным кругом гостиница называется либо «Север», либо «Арктика»; эта была «Арктика». В гостиницах этих особенный неуют, здесь живут чаще всего командированные, никаких

праздных постояльцев, отдыхающих, и эта командированность, отправленность черт-знает-куда становится состоянием человека; он не существительное — постоялец, — а отглагольное прилагательное, прикинувшееся существительным — командированный.

Здесь сны лаконичны, как натюрморт из графина и двух стаканов, но и сны, как снедь в поезд, приходится брать с собой из дома. Находясь в номере, ты словно выходишь на необустроенный край жизни. Тут слишком мало предметов — поднос, кипяtilьник, пепельница, слишком велики расстояния между ними, как в пустыне, от одного к другому идти полдня, и все они немного ненастоящие, как учебные пособия; пепельница и графин стоят как пепельница вообще и графин вообще; в скудости быта как бы исчезает та взаимосвязь вещей, которая делает жильё обжитым, и каждая вещь обособляется, становится голой формой. И вода в графине, если она не испарилась, оставляет внутри него кольца осевшей на стенках мути, как в городе, где замеряют уровни наводнений; она без вкуса, который есть даже у кипяченой воды, это, как и вещи, просто вода, вода как отвлеченное понятие, жидкость как таковая.

В подобном номере можно уложить вещи, бросить книгу на тумбочку, сигареты на стол, но все равно останется ощущение, что ты на привале где-то в безлюдной местности. Вокруг, как и в природе, будут только однообразные поверхности; там — холмы, долины, здесь — плоскости и прямые углы; это некая новая дикость, новое одичание; лучшее чтение здесь — школьный учебник геометрии.

Окна гостиницы выходили на глухую стену соседнего здания; до стены было метров десять, и на окнах не было занавесок — зачем, если кирпичная кладка так близко?

Вынужденный жить с видом на стену, я читал ее как книгу — книгу стены. На город очень хорошо смотреть с точки зрения зданий; с точки зрения кирпича; тогда ты уже не наблюдатель, ты как бы заодно с духами места. Но эта стена не позволяла мысленно переместиться внутрь нее, отталкивала взгляд; кирпич ее был положен неровно, линии кладки кривились, стена виляла; и ты мог только узнавать, как постепенно она складывалась, как работали люди на стройке.

Мне показалось, что намерение строить было как бы выпущено из их действий; каждый кирпич клался не машинально даже, а с некой мыслью, предельно далекой от дела строительства, — мыслью то ли о

родных краях, то ли о вечерней пайке. И в результате о стене, о доме в целом нельзя было сказать, что они именно построены, нельзя было сказать, что дом твердо стоит на земле. Стена была передо мной, она застила взгляд, но одновременно была как бы неубедительна; казалось, в любой момент она может развалиться, потому что в нее не было вложено нечто, что держит дом дополнительно к кирпичам и раствору.

Я увидел, что великая сила принуждения возвела города, вырубил леса, проложила дороги, прорыла каналы, построила заводы; но оказалось, что принуждение не способно дать одного: того усилия, которое прилагает в деле человек, свободно его выбравший. А без этого усилия, без доли духовного труда, которая вливается в труд физический, все дороги, мосты, города, цеха — держатся лишь волей государства, что их возвела. И когда эта воля исчезла, ушло ее время, люди остались с наследством великихстроек, к которому — в духовном смысле — не были причастны; остались среди домов, вокзалов, улиц, построенных подневольно, — с городским ландшафтом, в котором не претворился, не проявился человек.

Спать в номере с видом на стену было хорошо; сон становился способом выйти из помещения. Сны — те три сна, которые являлись мне дома, — больше не приходили; они не могли существовать в этом гостиничном номере, они были чем-то слишком личным среди здешней обстановки общего свойства; те сны, что я видел, когда лег спать после поезда, были не снами даже, а заготовками снов, чистыми листами сновидений, по которым скользили легкие неузнаваемые тени; большего ждать было пока нельзя.

Я еще заранее решил, что не сразу пойду отыскивать человека, писавшего Второму деду; я хотел сперва увидеть город, увидеть его настоящее — и лишь потом тревожить прошлое.

Город был назван в честь большевика, убитого в середине тридцатых; имя города ничего не сообщало месту, а место — названию города. Они говорили на разных языках и сторонились друг друга.

Окрестные горы носили имена, данные местными народностями; эти имена оставляли в гортани ощущение сырого мяса, разгрызаемых костей; прочитав с карты десятков названий кряду, ты словно выпивал густой крови, от которой на холоде идет пар; названия эти отдавали дымом костра, рыбьей чешуей, сыромятной кожей, собачьим и

человечьим потом, они были длинны, и слог соединялся со слогом, как олени или лайки в упряжке.

Имя города — в два слога, окончание на «ск» — выдавало его чужеродность, фамилия большевика хорошо смотрелась на большой карте страны, где фамилии его товарищей складывались в топонимическое созвездие, прижизненный и посмертный пантеон, но вблизи имя оказывалось бессмыслицей, случайным набором букв, с которым люди, однако, сжились и числили себя горожанами какого-то Абракадабр-ска.

Все первоначальные основания города лежали вне его, сначала он появился в плане, на карте, а только потом на местности. И как бы он ни рос, ни развивался, все равно в каком-то смысле оставался городом из папье-маше. Были дома, магазины, улицы, деревья, перекрестки, фонари — но сквозь все просвечивала изначальная временность; город существовал, покуда не кончается руда месторождения рядом с ним; сам по себе, в отрыве от этой руды, он не был значим. Он возник не в точке фокуса исторических судеб, не на перекрестке торговых и военных интересов, а около огромного кармана земли, откуда можно черпать богатства; был создан согласно решению власти, переместившему на север тысячи работников, вырос из барака, из временки, и дух этот не выветрился; стылый, нежилой, дух новостройки, цеха, промасленной ветоши и преющих труб.

Оставив гостиницу, я пошел искать библиотеку; там я надеялся прочитать какие-нибудь сочинения краеведов, а потом разыскать городской музей, если таковой есть.

В библиотеке было слишком темно, чтобы читать, сыро и зелено; всюду росли цветы в горшках, вьющиеся, остролистные, и казалось, что книги пропали в джунглях; женщина-библиотекарь, не видя меня, проходила с лейкой, и горшки стояли так, что она будто бы поливала не цветы, а книги, доливала воду слов в старые, иссохшие тома. На стене висел календарь за позапрошлый год; с полок в проходы торчали таблички с буквами — А, Б, В, — заячьи уши алфавита; было школьно, печально, близоруко, будто зрячему надели очки.

Работ по истории города в библиотеке не нашлось; вместо них библиотекарь показала мне старые издания, дореволюционные и двадцатых годов, с полустертыми экслибрисами; у высланных отбирали книги, и так сложились первые фонды библиотеки.

Историю города можно было узнать только по подшивкам газет. Газетные листки, хрупкие, как сушеные водоросли, запечатлели иероглифы минувшей повседневности; фотографии превратились в кадры черно-белой подводной съемки; в них удавалось что-то распознать — угол дома, силуэт человека, но все — сквозь некую субстанцию, мутную, как вода у покрытого илом дна; вид внутри фотографии был видом сквозь стеклянное окошко в шлеме водолаза — того и гляди, проплывет глубоководная рыба, донный удильщик со светящимися бусинами на усиках. Я вдруг понял, что эта субстанция — время, а я и есть условный водолаз, могущий говорить только сам с собой — шлем водолазного скафандра не пропустит звук наружу.

Газеты лежали передо мной, несомненные как вещь, но они не пускали в себя; смыкались колонками букв, пестрили именами, подробностями, датами, указами, объявлениями, праздничными передовицами; бригада Дюмина перевыполнила план по трелевке, экскаваторщик Рютин награжден правительственной наградой, на шахте № 3-бис пущена линия сепарации — газетные страницы сообщали только давние новости, новости, новости; новости теснились, переговаривались, подгоняли друг друга, их было так много, словно любое дело делалось для того, чтобы произвести новость, а лучше — две или три, новость о том, что прежняя новость уже — не прошло и дня — устарела и есть сообщение еще новее; газетные листы мелькали, как скорый поезд, в который не вскочишь с платформы, они не оставляли зазора, куда можно было бы проникнуть. И любая фамилия, любое имя тоже только мелькали — если это был не очерк про какого-нибудь производственника; тонкий лист бумаги — вертикальный срез времени толщиной в микрон — складывался с другими такими же, газеты лежали толстыми кипами, но временного объема в них не было; нужна была книга в ее трехмерности, книга как собранное, наново упакованное переосмыслением время, но книги о городе никто не написал. «Нас пока еще нет на книгу, — сказала библиотекарь. — Не нажили, слишком тонко нас, тонко».

Библиотека как ход в прошлое не сработала; и даже старинные книги с экслибрисами, вырванные из единства библиотек их прежних хозяев, казались опустившимися бродяжками, уже не помнящими имени на обложке, любому дающимся в руки, любому позволяющими себя читать; не реликвия, не раритет — ощущение

ценности книги улетучилось из них, и остались только тома в покоробленной коже.

Музей оказался еще безнадежнее библиотеки; он был слишком нов, этот музей, и его создатели слишком заботились иметь хорошее, достоверное прошлое; поэтому весь музей был инсценировкой, крепким новоделом: так непритязательно и в то же время основательно декорируют рестораны под старину. В центре зала стояла реконструкция землянки, где якобы жили первые поселенцы, основавшие город, — заключенных именовали «поселенцами»; землянку сложили из первосортных бревен, остеклили низкие окошки, крышу покрыли ровным дерном; это был исторический аттракцион, попытка выправить себе родословную.

Под стеклом витрины лежали котелок из консервной банки, изгрызенные крысами резиновые чоботы проходчика, ржавый фонарь, еще какие-то предметы, настоящие, неподдельные, но, положенные под стекло, подсвеченные яркими лампами, они казались застывшими комками грязи из тракторной колеи, которые почему-то выставили в музее. Прошлое не приближалось, а, наоборот, отдалялось, и экспонаты представляли как свидетельства некой цивилизации — земной ли, внеземной, — к которой мы, ныне живущие, не причастны; «смотрите, у них там тоже была жизнь» — говорили витрины, и респектабельное настоящее, стыдясь неказистости прошлого, — затем и строили землянку из самого качественного леса, — показывало ряженных, спешило заявить, что прошлое — в прошлом, и заталкивало его туда поглубже, в душный мешок, в рукав, в погреб.

Рядом с витринами, представляющими историю города, были витрины с экспонатами археологическими; самодельная ложка из дерева, зажигалка из гильзы — а по соседству костяные наконечники стрел и копий, обточенные камни-рубилы, иглы из костей рыб, глиняные бусы; и было странно видеть, что, несмотря на разницу в замысле и материалах, и те и эти вещи равно отстоят от нас на неопределенно большое время; что они ближе друг к другу, чем к нам.

Заключенные тридцатых и сороковых, жившие в земляных норах, прежде чем построили бараки; рыбаки и охотники неолита, оставившие в окрестных горах рисунки-петроглифы, ловчие солнца и кормчие луны — они были родственны между собой в пещерной тьме, где первое чувство разума есть чувство боли; и мне вспомнился

давний знакомец, старый профессор-археолог, изучавший неандертальскую культуру, а потом арестованный и отправленный в лагерь.

Мы познакомились с ним в тех местах, куда он был сослан и где впоследствии остался жить; он занимался уже историей местных племен, населявших узкие и длинные песчаные косы среди тысяч километров болот. Там во времена, близкие к нашим, еще творился жизнью народа эпос, и большие события эпохи, войны, революции вплетались в его узор, перетолковывались в мифологической картине; Николай Второй, Ленин, Сталин превращались в героев срединного мира, большевики рождались из земли; битвы и сражения доходили сюда как волна, ударяющая в дальний берег, приимчивый миф оприходовал их без разрушения собственной цельности; план ГОЭЛРО превращался в сражение за солнце, коллективизация — в схватку духов земли и духов войны, истребовавших все плоды земные для дела смерти.

Профессор изучал эти племена без научной отстраненности, точнее, не отделял собственного восприятия от восприятия тех, чье сознание, проявленное в образах мифа, он исследовал; профессор говорил, что он на себе проверил действенность, спасительность мифического восприятия действительности, которое преображает ее в битву древних, полиморфных сил добра и зла, битву без разделенности на воюющие стороны. В этом сознании добро еще не отъединено от зла, они растут из одного бытийного корня, легко перетекают друг в друга, они близки и братственны; например, то, что в реальности является злом, представляется добром — и, побеждая, знаменует победу добра, хотя на самом деле верх одержало зло. Так, считал профессор, сознание спасается, длит благодаря мифу призрачное присутствие добра, тогда как взгляд без искажающих линз мифа, взгляд в лицо тотальности зла уничтожил бы человека.

Но при этом профессор не забывал давних своих научных интересов и любил рассказать, как в лагере он, изучавший неандертальцев, входивший в немногие пещеры, где сохранились их стоянки, исследовавший скелеты, по которым ученые пытались восстановить облик некогда живших существ, — в лагере он духовным чувством понял, что те, кого он полагал исчезнувшими десятки тысяч лет назад — вокруг него.

И научное открытие, что неандертальцы не были предками человека, что они представляли самостоятельный подвид и враждовали с человеческим родом, случившееся в последние годы жизни профессора, утвердило его в ненаучной, но в ином смысле точной гипотезе: что древние антропоидные расы не исчезли, они научились сосуществовать с людьми, сроднились с ними в облике, но людоедская их суть осталась прежней; что в годы, когда человеческое в человеке предается поруганию, эта суть обнаруживает, предъявляет себя: людоеды открыто исповедуют, так сказать, свое людоедство. Впрочем, и эту гипотезу профессор употреблял как метафору; «так спокойнее, чем понимать, что все виденное мной принадлежит человеческой природе».

В городе был еще и геологический музей; главными экспонатами в нем были местные породы, из которых делались потом удобрения, и минералы, содержащие редкоземельные металлы.

И те и другие были некрасивы — один только невзрачный камень, и было странно, что весь город — десятки тысяч людей — возник только для того, чтобы добывать этот камень, зрительно заурядный; глядя на минералы церия или скандия, ты умом понимал, что в них, как примесь, есть эти самые металлы, стоящие чрезвычайно дорого, но их стоимость была сугубо умозрительной.

Конечно, ты судил в некотором смысле как обыватель, ждущий ощущения наглядной ценности, которое оправдало бы масштабность затрат, — комбинаты, карьеры, шахты, — но в то же время в этом обывательском взгляде было что-то очень верное; он как бы подсказывал, что труд здесь имеет какое-то специфическое значение и бессмысленно судить о нем по его плодам.

Даже в угле, извлеченном из шахты, спрессовано яростное солнце юры, солнце великанских тварей и хвощей, и уголь, окаменевший торф древних болот, помнит этот блеск чешуйчатых шкур, помнит жар солнца, бывшего моложе на сотни миллионов лет, уголь — не зря и тепло, и еду считают на калории — кажется пищей огня, и древнее почтение человека к огню делает уголь хлебом пламени, чем-то весомым в деле жизни. А породы и минералы, которые лежали в музее, ничего не говорили сердцу, они могли стать чем-то ценным только в цепочке химических превращений, переменив несколько конвейеров, и, казалось, отколов такой камень отбойным молотком,

шахтер должен себя спросить — а зачем я это сделал? — и должен как-то себя убедить, что труд его имеет смысл, приносит людям пользу — слишком велико расстояние между куском серой неказистой породы и выходом полезного вещества.

После библиотеки и музеев я решил все-таки пойти на ту улицу, где жил человек, писавший Второму деду; не заходить к нему, не спрашивать о нем — просто пройти по улице, как бы случайно; чуть приблизить будущее, но не вступать в него; увидеть то, что видит — или видел — этот человек каждый день, его магазин, его табачный киоск, его остановку, его подъезд; рассмотреть — пока как досужий прохожий — улицу, которая потом невозвратно станет той улицей, рассмотреть ее свободно, как одну из многих, и, может быть, она что-то подскажет мне, о чем-то предупредит.

В газетном ларьке я хотел спросить карту города, но понял, что город не нуждается в том, чтобы видеть себя со стороны; здесь вряд ли издадут карту, все и так известно, все углы, перекрестки, проулки, дворы; здесь не смотрят карту — здесь спрашивают дорогу; спросил и я.

Улицы, указанной в письме, никто не знал; люди вспоминали, останавливали других, кто-то даже позвонил домой — улицы не было; впрочем, запомнить было немудрено: улица называлась Краснокохозной, и в городе было еще много улиц с красным цветом в названии: Красноармейская, Красных Партизан, Красного Маяка, Красных Зорь; все они не имели — по названиям — никакого отношения к городской местности, выстроив параллельную ей систему идеологической космогонии, в которой над страной вставали Красные зори и Красный маяк зачем-то светил Красным партизанам; в эту сетку нереальностей были уловлены люди, и они жили в ней, произнося названия и продлевая существование морока. Я вспомнил подмосковный поселок, где однажды гостил на даче и проснулся утром с диким ощущением, что я — в Заветах Ильича, и сама возможность жить там, говорить «мы — жители Заветов», «население Заветов насчитывает...», жить в чем-то дважды выдуманном, потому что Ильич заветов не оставлял, была убийственна для ясности сознания, либо — то, либо — это. Теперь я имел дело с топографией целого города, лишённого собственного голоса, расчерченного по трафарету, и

улицы пересекались, будто взаимные ссылки в статьях новейшего мифологического словаря.

Наконец кто-то вспомнил, что Красноколхозная была, но потом старые, одни из первых в городе, дома снесли, выстроили микрорайон «Радужный», и улица теперь звалась Первая Радужная.

Надеясь, что, может быть, адресату Второго деда дали квартиру в одном из этих новых домов, я пошел на Первую Радужную. Там стояли многоэтажки, раскрашенные по примеру одного большого северного города в яркие цвета; оранжевые, розовые, фиолетовые дома в девять этажей. Они были уже не новы — с переустройства прошло лет пятнадцать-двадцать, но веселенькие краски как бы отрицали возможность того, что человек из прошлого останется жить здесь; во дворах действительно не было видно стариков, они, похоже, действительно не приживались тут, среди стен в цвет фруктовой жвачки; на газонах росли низкие деревца, подпертые рейками, у домов стояли блестящие машины; дома были высокими — и в то же время игрушечными, ненастоящими, словно собранными из конструктора.

Для этого места городского прошлого не существовало; здесь жили не шахтеры, а управленцы комбината, это они когда-то выселили прежних хозяев Красноколхозной, задумав свой, отдельный микрорайон, чистый от шахтерской пыли, и времена уже были те, когда можно было сменить название с соломенной и навозной Красноколхозной на Радужную. Собственно, по смене названий и можно было судить об отношении к прошлому въезжая в новые квартиры — дело было в перестройку, — люди въезжали в будущее, выкликали его этим наименованием — микрорайон Радужный, — и пусть не нашлось краски выкрасить дома в цвета радужного спектра, зато можно было обособиться, легализовать свою касту, и вряд ли кто видел, что микрорайон выглядит как кукольный домик среди грязного пустыря.

За крайними домами микрорайона стоял еще один, низкий, деревенский, крытый дранкой, сизой от лишая; его почему-то не снесли. Я пошел туда — дом был из прежних времен, он был ровесником писем, которые опускал где-то здесь в почтовый ящик человек, писавший Второму деду.

В огороде окучивала картошку старуха; есть такие старухи — восьмидесятилетние, девяностолетние, давно потерявшие мужей на войне или в шахте, настолько давно, что за это время иные успевают целиком, от рождения до смерти, прожить жизнь. То давнее — замужество, материнство — уже так далеко, что должен умереть либо человек, либо прошлое, и если человек живет, прошлое умирает. Старухи эти из особой породы — они не устают, жизнь предстает им

только как ежедневное дело — копать, поливать, окучивать, пропалывать; они привычно и единственно для себя возможно впрягаются в эту лямку, без надежд, без ожиданий, без спешки. Устаешь ведь тогда, когда работа трудна и далек отдых, а они действительно не понимают, что такое отдых, и никакая работа не трудна им, потому что, чтобы ощутить ее трудность, нужно знать праздность, а они ее никогда не знали. Они не заряжены на работу — такой человек в конце концов тоже устанет; они трудятся так, как действуют абстрактные силы в учебниках — нажимают, тащат, придают ускорение, двигаются; есть одна лошадиная сила, а есть одна человеческая сила — ей, этой одной силой, они и живут.

Я поздоровался; старуха крикнула мне, чтобы я уходил — дом она не продаст. Я ответил, что дом мне не нужен — я ищу тех, кто жил здесь двадцать лет назад, когда еще не было микрорайона. Старуха отперла калитку, провела в дом; она не до конца верила мне, все ждала, когда же я все-таки заговорю о покупке, назову сумму, но было и что-то другое, почему она так легко переменяла настроение.

В доме было царство рукодельных ковриков, покрывал, занавесей; на видном месте стояла швейная машина, старый «Зингер», и казалось, будто старухе досталась волшебная катушка с нескончаемой нитью; она шила, пряла, вязала, а нить не кончалась, и старуха уже не знала, что делать с ней, но боялась остановить машину и прялку, опустить вязальные спицы: а вдруг эта нить — ее жизнь?

На стене в рамке висела вырезка из газеты, увитая бумажными цветами — атеистический жертвенник; эта вырезка — старуха стала говорить о ней — определила ее судьбу. Там, на фотографии, была она, молодая ткачиха, единственная из всех жителей города когда-то лично видевшая большевика, в чью честь город был назван, и даже сфотографированная с ним; он принимал делегацию ткачих-ударниц, взяли и ее, совсем малолетнюю, как пример работы с молодежью; потом большевик был убит, а она уехала в город его имени — и в этом городе газетный листок стал охранной грамотой. Пока город носил свое название, власть — и советская, и та, что пришла после — обихаживала ее; старуха — это мне сообщили уже после — рассказывала о большевике в школах и детских садах, на городских собраниях и юбилеях; ее собственная жизнь была несущественна, она стала чем-то вроде фотопленки или грампластинки, где отпечатались

изображение и голос покойника; старуха не присочиняла, не выдумывала небывшего; она трудилась очевидцем.

При этом никому не приходило в голову выяснить, как она сама относится к человеку, ради чьего посмертного существования она урезала свою жизнь; и лишь много позже, уже в новое время, узнали, что он сослал ее родителей; но она продолжала рассказывать о нем, свидетельствовать о тех восьми минутах, что была с ним рядом; сначала с помощью газетной вырезки она избежала ссыльной судьбы, стала наглядным пособием для школьников; затем превратилась в восемь минут взгляда, в отрывок кинохроники — а потом уже не смогла перемениться.

Рассказывая мне о прошлой жизни, она говорила так, словно чувствовала, что приходит время, когда ее газетный листок уже не будет ничего значить, чьим бы именем ни звался город; ее дом стоял благодаря этому листку, ее одну не выселили с бывшей Красноколхозной, а теперь газета в рамке в окружении цветов все больше походила на кумир забытого божества; это лицо, этот шрифт — все было слишком давнишнее, и еще больше отдалялось, не забывалось, но теряло свое значение, переходило в разряд курьезов, и если кто узнавал, что она видела человека, чьим именем назван город, то удивлялся лишь тому, что старуха до сих пор жива.

Услышав, что я ищу кого-то, старуха понадеялась, что я принесу какие-то перемены, что оживет давнее отношение, возвратится время; но поняв, что мой интерес иной, она, кажется, пожалела, что впустила меня; сказала только, что жильцов с Красноколхозной расселяли кого куда, здесь были самые старые дома в городе, и кое-кто получил хорошие квартиры в центре, в «сталинских» домах; вероятно, администраторы комбината имели власть достаточную, чтобы выселить прежних хозяев, но обязаны были «уважить» бывших, к примеру, чинов лагерной охраны; собственно, отчасти план в этом и состоял — разделить городское прошлое и городское настоящее, отмежеваться, чтобы одним было удобнее забывать других.

Я спросил что-то еще о городе, о том, где искать переехавших, чем они сейчас живут; старуха сказала, чтобы я шел к карьере — там я все пойму, и про переехавших, и про непереехавших; карьер означал для нее ответ, который снимает саму возможность вопроса.

Она, бывшая ткачиха, хранительница чужой памяти, прожившая жизнь наособицу от остальных, защищенная газетной вырезкой на стене, ответила мне так, будто бы я спросил ее, где все ее сверстники, где ее муж и дети — были ли они; где все ее поколение, что оно оставило после себя, где уцелевшие, последние, что могут они сказать; ответила — иди к карьере — и закрыла дверь в дом, звякнула щеколдой.

Я снова пошел через город; я не искал специально дороги, а прогуливался, удерживая в голове общее направление, и понял то, что подмечал давно, только не находил слов описать: город был спланирован так, словно в нем должны были ходить строем и поворачивать только под прямым углом; один человек, один горожанин с иррегулярностью его маршрутов был, похоже, слишком мелок для взгляда планировщиков, у них не было такой разрешающей способности зрения, чтобы увидеть сквозь план человеческую фигуру; в результате город был рассечен заводами, цехами, и человек — просто человек — оказался в нем как бы на нелегальном положении.

Я увидел, как «зоны», огороженные забором с колючей проволокой, будь то настоящий лагерь или предприятие с их особым режимом, который означает много больше, чем охрану, пропуска и шлагбаум, вторгаются в общественное и частное пространство, коверкают его.

По сути, города как города не существует — есть территория, на которой выборочно допускаются частные интересы, открываются магазины, школы, детсады, но все это лишь необходимая уступка; не на человека тут все рассчитано, и потому городская местность напоминает прогрызенную древоотцом балку: тут все незаконно, наискосок, через пролом, в обход, мимо охраны; тут срезать, тут отодвинуть доску, тут пройти свалкой; через пустырь, сквозь дыру в заборе, двором, двором, обочиной.

К карьере нельзя было пройти просто так, он охранялся — в том числе и на случай таких, как я, праздно интересующихся, которые могут попасть под взрыв; но чем выше были заборы и больше охраны, тем многообразнее становились лазейки; мне даже не нужно было их искать — любое место, через которое часто пролезают, выдает себя, обнаруживает тропкой ли, к нему ведущей, обтертыми одеждой прутьями ограды, расстояние между которыми по недосмотру чуть шире, так что человек может протиснуться; или следами бесполезной

обороны, приваренными полосами железа, наваленными бетонными балками, табличками «проход запрещен»; но и к лабиринту балок шла дорожка, пропадавшая внутри; взгляд тех, кто возводил эти препоны, опять-таки не обладал достаточной разрешающей способностью, и всегда находилась щель — вернуться ужом, оборвать пуговицы, подтянуться на руках, но все-таки пролезть.

Я встретил бродяг, собирающих металл; стариков, идущих в тундру за грибами — дорога к самым грибным местам проходила через территорию карьера; рабочих, что-то спрятавших во время смены и теперь возвращающихся вынести; ребятню — эти шли играть в войну; парочку, ищущую место для свидания; все привычно протискивались, лезли, перебирались, тащили с собой кто корзины, кто выпивку; бродяги волокли катушку провода; их путем проник на карьер и я.

Я видел такие карьеры в Казахстане; но там было жарко, воздух над огромной ямой закипал, становился белесым, непрозрачным, и даже звук взрыва тонул и глож в нем. А здесь, на Севере, яма карьера открывалась вся сразу, опрокидывала в себя, в пятисотметровую глубину; карьер был зеркальным — относительно земной поверхности — отражением Вавилонской башни, ее слепком из пустоты; витки карьерной дороги, кругами спускавшейся с уступа на уступ, уходили на дно, столь глубокое и узкое по сравнению с верхним урезом карьерной чаши, что там лишь несколько часов в день видели солнце.

Серый цвет камня был похож на цвет осинового гнезда, в котором кроме основного тона серости есть еще какая-то специфическая прибавка, сообщающая взгляду, что в составе вещества, из которого сделано гнездо, помимо истертой древесины есть и элемент, исторгнутый из себя живым существом, — клейкая, тускло блестящая жидкость.

На скалах карьера лежала мельчайшая, образовавшаяся от взрывов каменная пыль, смоченная водой и так запекшаяся; эта пленка, в которой раздробленные зерна минералов слабо отражали солнечные лучи, и придавала карьере такой цвет; пыль покрывала самосвалы, огромные «БелАЗы», экскаваторы с зубчатыми двустворчатыми ковшами; здесь, где не было земли, только крепкий камень, изошренный разум человека словно обнаруживал свою хищную природу; в образах техники вставала готовность грызть, крошить, врезаться, сминать, взрывать; этот ум — я вспомнил музей — был

близок уму неандертальца, только на новом витке развития; ум, соединивший челюсти саблезубого тигра, шею жирафа, туловище мамонта, создавший гибрид — распахнувший пасть экскаватор; ум, движимый какой-то ненасытимой, безнадежной жаждой поглощать.

Мое сознание отказывалось признать человеческим творением эту пятисотметровой глубины дыру в земле, эти шагающие экскаваторы, в которых предельно воплощено тупое усердие металла. Казалось, что их создавали полуразумные животные или насекомые, благоговеющие перед масштабом в ущерб точности и тонкости; существа, не знающие индивидуальности, берущие всегда числом. В гигантской яме, в громадных грузовиках был какой-то вызывающий, но не артикулированный манифест, некий грузный символ; практический смысл — добыча руды — как-то отступал на задний план перед открывшейся картиной: человеческие усилия, умноженные мощностью механизмов, произвели усилие уже нечеловеческое, и карьер показывал собой объем, меру этого усилия.

Наверное, существуют пропорции, при нарушении которых создание человеческих рук перестает быть соразмерно человеку и, наоборот, обращается против него. Дело было не в том, что в этом карьере ты чувствуешь себя песчинкой или пылинкой. Нарушение принципа соразмерности в первую очередь отделяет человека от того, что он делает; лишает его значимости применительно к труду. Собственно, исчезает труд как таковой, если понимать под ним некую живую связь, возникающую между трудящимся и плодом его труда, связь, взаимно обогащающую и облагораживающую.

Карьер лязгал, грохотал, звенел металлом; ревели самосвалы, бульдозеры, плыл солярный выхлоп, шумели насосы, откачивающие воду; но результат всей этой работы был эфемерен: тонны и проценты, мерные единицы.

И как весь город — улицы, стекла домов, хлеб и овощи, выложенные на прилавки, — покрывал налет серой карьерной пыли, придававший ему нечто неживое, словно дешевая пудра из морга, так и чрезмерная масштабность здешнего труда оставляла свой след на горожанах.

Особенно ясно это чувствовалось в конце августа, в День шахтера. Здесь, за Полярным кругом, в это время уже была глубокая осень. Облака цвета ваты из засаленной телогрейки повисали над туманными

горами, пахло близкой зимой — этот запах ощутим только на Севере, где осень скоротечна, и листва не желтеет постепенно, а в неделю выгорает на ветвях, как зелень, брошенная в костер, и этот убыстренный распад материи оставляет в воздухе свои флюиды, обонятельные ноты; воздух переполняется, как раствор, не вмещающий больше растворяемого вещества, и несколько дней, в канун снега, пока еще не налетел ветер, который принесет снеговые тучи, на улице пахнет так сильно, что кажется, это не запах уже, а осязание: тебя бросили в палую листву, сапогом вдавили лицо в землю.

И весь город пил; пил без удали, без залихватства, без задора или даже простой радости пьяницы. Бесцветное, как водка, время завивалось жгутиком в бутылке; бесцветный день стоял, жутко, противоестественно длясь. Бесцветные люди лежали на улицах, а другие шли мимо; распадалась не связь слов — распадался сам алфавит, и человек орал, мычал гласными, ключьями звуков; явленный в этих звуках распад сознания достигал пика. А затем над городом устанавливалась конечная, последняя тишина.

В день, в который должен был праздноваться их труд, их работа, люди словно вымещали на себе все, что не могли выместить на карьере, на цехах и трубах комбината; в день легального, даже одобряемого пьянства в людях вдруг прорывалась определенная, собранная и как бы заранее решенная тяга к самоуничтожению; так сводит счеты с жизнью не здоровый человек, а безногий калека, который уже на треть убит — и ему нужно убить только две трети себя, смерть уже сделала часть своей работы, и он приступает решительно и споро, зная, что его смертный путь на треть короче.

Это был последний, задавленный почти что в зародыше бунт человека; десятки километров рельс, ангары, трубы, цеха, озера-отстойники, карьер, транспортеры обогатительных фабрик — все это обступало, расчленило город, и он был похож на машину после лобового столкновения, где живая плоть сжата, исковеркана металлом. Только карьер все увеличивался, рос в ширину и в глубину, и все труды людей уходили на то, чтобы собственной жизнью, старением мускулов, износом сердца умножать зияющую дыру в земле. Вероятно, именно это приращение убытка и было чудовищнее всего; добытая порода перемалывалась, превращалась в удобрения, на юг уходили грузовые поезда — но все это присутствовало в сознании только

назывным образом, а перед глазами, постоянно, каждый день, оставалась лишь растущая, вбирающая в себя труд — дыра.

В горах вокруг карьера были взорваны склоны; так требовалось, и это называлось «зона обрушения». Из любой точки города было видно это торчащее кусками скальное мясо, вывихнутый, неестественно расколотый камень, сдвинутый, смещенный центробежной энергией взрывов; зона обрушения занимала три стороны городского горизонта, взорванные скалы грудились на склонах словно бы уже за пределом равновесия, в застывшем падении.

Есть картины, сочетания линий и углов, которые человеку противопоказано видеть: смотреть на них — все равно что жевать толченное стекло, пытаясь узнать, каков его вкус; они болезненно разрушают чувственные фокусировки восприятия; вид зоны обрушения был именно такой картиной. Мир после катастрофы; мир расколотый, рассоединенный, без возможности собрать его вновь; и я поразился, когда понял, что в карьере добывают сырье, из которого потом делают удобрения, и эти удобрения высыпают на поля; мне увиделось, как на этих полях всходит безрадостный хлеб, потому что так удобрять их — все равно что посыпать пеплом из крематория.

Серый хлеб моего детства, хлебные кирпичи на лотках в булочной, за которыми вставали в очередь за час до открытия, и очередь была темнее сумерек; женщины в серых платках, мужчины в серых пальто, серые от недосыпа лица и серый соленый снег городской зимы; я понял теперь, откуда брался этот хлеб, привозимый машинами, так похожими на «воронки»; откуда бралась эта повсеместная серость — не в значении уничижительном, а серость как отсутствие цвета или как цвет пыли.

Ты стоял у края карьера и говорил себе, что так выглядит ад; но образ ада, кругов преисподней — витков карьерной дороги — принадлежал культуре; ты спасался ею от того, что едва ли могло быть описано на художественном языке, потому что карьер как раз представлял собой анти-образ, отрицание образности как таковой.

Он был — *зияние*; говорят — зияющая рана, и если отрешиться от подробностей плоти, можно увидеть в ране не очертания, не форму, а именно вторжение разрушительной бесформенности.

Однажды на каменной скамье римской арены я понял, что она замысливалась как воронка взглядов, соединяющая их, уплотняющая в

одну материю зрения, и гладиаторы бились на дне этой воронки — во власти взглядов; первые ряды зрителей наблюдали бой, различали бойцов, а сидящие на верхних рядах, откуда схватка становилась мельтешением точек, только напрягали глаза — и вливали свое желание рассмотреть происходящее в мощь воронки.

Карьер же вбирал взгляд — и взгляд в нем терялся; он не встречал ничего, кроме пустоты, кроме следов работы опустошения; и невозможно было справиться с абсурдом, вместить в сознании *объем отсутствия*.

Что-то было сделано в этом месте, чего не должно делать; переступлен какой-то предел, которого не должно переступать в отношении человеческой природы — и дыра карьера собрала вокруг себя город, стянула окрестность.

Вид карьера материализовал ощущение безнадежности жизни, приходящее во время отчаяния, переводил это ощущение в разряд наглядного, существующего в мире как вещь; карьер не грозил ничего поглотить, не манил гибельностью, он просто был — в тупом постоянстве дыры, самой неизменной вещи, и то, что человек преходящ относительно ее неизменности, было почти невыносимо — для чувства, для мужества, для твердости духа.

Я ушел от карьера, но мог бы и не уходить; расстояния тут значения не имели. Карьер врезался в сознание; раньше ты не знал, как выглядит мир человека — без человека; теперь узнал.

На остановке автобуса — закончилась одна из смен — я услышал, что породы в карьере с каждым годом становятся все беднее и беднее; уже приходится работать с таким содержанием полезного вещества на тонну породы, которое раньше сочли бы бесперспективным.

Это был еще один угол зрения — обеднение пород, обеднение городской среды, как будто бы два эти процесса были не прямо, но связаны. На остановке висели старые, двухмесячной давности, афиши, и их не заклеивали следующими; город был засмотрен, как эти афиши, и не предлагал нового; судьба его неявно сплелась с основным занятием жителей — добывать руду в карьере и в шахте, которая вскрывала жилы, отходящие от основного рудного массива. Беднели, оскудевали со временем породы — и оскудевал город, живущий как фабрика, не могущий сам, силой своего существования, породить городскую среду, и люди терялись в нем, становились популяцией

индустриальных маугли; управляющие горными машинами, работающие у станка, но не знающие, что делать с собой, куда себя деть, когда по звонку кончается смена.

Был вечер; я шел окраиной города, мимо складов и гаражей, тесно составленных, лепящихся к соседней стене, будто без нее строение упадет. Здесь были свалки, стаи бродячих собак — кудлатых, в засохшей грязи и репьях; каждый гараж, каждый сарай был выстроен по-своему, но было одно общее: и гараж, и сарай строились с некой оглядкой через плечо, с некоторой неуверенностью, с ощущением, что строительство не совсем легально — или нужно спрашивать чье-то разрешение, или, может, так обойдется; и вот это ощущение, что строение не до конца верит земле, на которой стоит, смыкалось с другим: что все строительные материалы были то ли совсем явно украдены, то ли прихвачены по дороге, — чьи-то они или ничьи, неизвестно, — то ли найдены как выброшенный хлам. Из сочетания двух ощущений рождалось третье — ощущение жизни, не смотрящей на саму себя, махнувшей на себя рукой.

Гаражи и сараи простояли лет тридцать или сорок; вплотную к ним уже придвинулись пятиэтажки городка, и балконы на их фасадах — словно через воздух переносился архитектурный вирус — превратились в те же сараюшки, сколоченные и застекленные на скорую руку; дома так долго смотрели на сараи, что приобрели их черты; люди обустроивались в бетонных коробках так, как умели, выгадывали еще по три-четыре метра жилой площади, и в этих сарай-балконах, выпятившихся на фасаде дома, представала жалкая, почти что незаконная частная жизнь, повсеместная и незаметная, как грибница; жизнь, схожая с чем-то низовым, самосевным, всепроникающим.

Машину здесь покупали, чтобы завести гараж; в городе, не знаящем, что такое пляж, в городе, который можно насквозь пройти за час, машина была лишь родом зимней одежды, шубой-на-колесах. К тесным квартирам, где одежда мужчин и одежда женщин умещалась в одном шкафу, где всякая вещь была двуспальной, как кровать, и в каждой точке всегда было больше, чем один человек, где жили, как спали, не различая, где заканчиваешься ты и начинается другой, — к тесным квартирам приплюсовывался еще гараж, дополнительное место, нечто, при общей бесполости быта, за исключением кухни,

имеющее признаки пола. Мужчины ходили друг к другу в гости — в гараж; в гараже держали все то, что не помещалось в квартире, он был и чуланом, и подполом — хранить картошку и соленья; порождение дефицита жилья, аппендикс быта — гараж, сарай.

И если в городских пятиэтажках было уродство безликой одинаковости, то гаражи поражали уродством несколько иным; однообразные, предельно функциональные — стены, крыша, ворота, то есть просто полезные кубометры, — они все-таки немного разнились; каждый строитель пытался по-своему сделать какую-нибудь отдельную деталь: не так, как у других, прикрепить трубу, выгнуть ее по-особому, нарастить небольшой навес над въездом, приварить железный уголок над проушинами замка, чтоб не сорвали фомкой — и эти малые отличия становились нестерпимо приметными. Приплюсовываясь друг к другу во взгляде, они повторялись как попытка чем-то отличаться — при отсутствии на то возможности; трубы с конусовидными шляпками росли на гаражах, как поганки на древесной колоде — сверху, с боков, и создавалось ощущение, что люфт вероятных отличий одного человека от другого лежит в общих пределах недосмотра, недогляда, эстетического расфокуса зрения. Чувствовалось, что здешняя жизнь почти целиком уместается в этот зазор; что скука тут привычнее тоски, потому что тоска отсылает к чему-то, чего нет в данности жизни, а скука утверждает, что и тосковать-то не по чему нигде ничего нет, всюду то же, что здесь.

Я вырос в таком же месте; там был клейстерный завод, куда шли по разбитой дороге грузовики со скотобоен, везущие прикрытые побуревшим брезентом кости. Грузовики трясло, кости падали на дорогу, и вдоль всей трассы лежали в пыльных кустах собаки — ждали мосла; иногда неловкий, постаревший или пораненный в сваре пес мешкал и попадал под колеса; оставались темные влажные полосы на асфальте.

Зимой к грузовикам, идущим на завод, присоединялись другие, везущие снег на снегоплавильный пункт, находившийся под нашими окнами; снег выпадал, снег был красив — но там, за забором снегоплавилки, он лежал грязный, пятнистый, сваленный, как негодные шкуры на бойне, и всю зиму я видел абсурдную, отдающую тихим привычным безумием транспортировку снега на плавку.

Машины везли снег, машины везли кости, машин ждали псы, обитавшие зимой у печей снегоплавилки, и вся округа чего-то ждала.

Ожидание это, как некое тайное голосование, назначило двух гениев места, двух его вечных обитателей.

Старуха, которая приходила к магазину со своим старым котом в кошелке и показывала ему — люди выносили купленные продукты, — чем она могла бы его кормить, если бы ей увеличили пенсию; и старик — он по утрам собирал бутылки, а потом на вырученные копейки отправлялся в кино, смотрел один и тот же фильм по десять раз; все ждали, все тайно надеялись; и я сам думал, начитавшись шпионских детективов — вдруг с самолета к нам по ошибке сбросят тюк с одеждой, деньгами, оружием и документами, упаковку с другой судьбой.

В округе было много тополей, и летом ветер гонял вдоль тротуаров шары серого пыльного пуха; позже, в казахстанской пустыне, я увидел шары перекасти-поля, чистый апофеоз геометрии, — шар, катящийся сам по себе по бесконечной плоскости, — и узнал в пустыне бесконечность скуки как безразличного повторения жизни. Я понял, что уже испытывал это ощущение — оно было фоном детства: машины с костями, машины со снегом, бродячие псы у дороги, комки пуха у тротуара, которые несет ветер.

Дело не в том, что в городском районе моего детства не происходило ничего нового; хуже было то, что в нем не оказалось ничего старого: дома его, построенные, чтобы расселить общежития, коммуналки и комнаты, где жили ввосьмером на восьми метрах, начали разрушаться с самого момента постройки; достоинства возраста не было в них. И жизнь не длилась, а хромала, никуда не продвигаясь.

Теперь, в северном городе, я как бы возвратился в детские годы; я узнал эти запутанные дворики, разгороженные бельем, навесы для домино, песочницы — и тут же, по соседству, гаражи и сараи; все так перемешалось, слиплось, вросло одно в другое, что я подумал: а ведь не случайно самым притягательным местом детства был тир — синий вагончик за кинотеатром. Там всегда была длинная очередь, и по тому, сколько народу стояло в ней, — пять копеек пулька, подвешенные к потолку движущиеся мишени, зайцы, кабаны и волки, — можно было угадать, что тир отвечает какой-то особенной потребности; люди жили

среди заборов, подворотен, глухих дворов и ходили в тир глотнуть прямизны линий, увидеть ясность цели.

Однажды я поехал в места былой жизни, где не был уже два десятка лет. Улицы, дома, двор — все показалось мне чрезвычайно маленьким, убогим; можно было предположить, что я давно вырос и некогда бывшее огромным теперь явило свои истинные размеры. Но это объяснение чего-то не учитывало, оно исходило из какой-то сухой математики развития; и я подумал, что иногда ребенок вынужден видеть не ту геометрию пространства, которая есть, а ту, которую он создает в своем взгляде, выстраивая перспективу, задавая объем там, где всего этого в реальности нет.

Я понял, что в том дворе, среди тех домов я в детстве просто не смог бы жить — они были слишком духовно и зрительно незначительны даже для девятилетнего ребенка, и преувеличительная метаморфоза, которую я, девятилетний, производил с ними, предстала передо мной как необходимость самосохранения и самосохранения.

Я шел мимо сараев и гаражей; мне нужно было узнать, увидеть городок с изнанки, пройти теми тропами и дорожками, которыми ходили его жители, воспроизвести рисунок их перемещений — так обживается, присваивается место; в пятничный вечер у гаражей выпивали, расстелив газетку на капоте машины или на каком-нибудь ящике; играла музыка — неотвязная музыка, которую я уже слышал в такси; суть была не в мелодии — в дешевых голосах, мужских, женских.

Голос, человеческий голос — ценность; у него есть музыка, но отнюдь не в смысле мелодичности: это способность чувства звучать, минуя посредство слов. И когда голос умолкает, что-то, что было в нем как бы внутри звука, остается в воздухе, и это присутствие, само себя поддерживающее, столь явственно и столь необъяснимо, что кажется: звук еще длится в недоступном для слуха регистре, заставляя отвечать ему на самой границе восприятия и за ней, будто нам доступна лишь малая часть наших чувств; напряжение, возникшее на месте звука, раздвигает пределы восприятия, открывая нам, сколь глубока была бы печаль и велика радость, если бы мы могли испытывать их такими, какими они уже в качестве возможности есть в нас.

Дешевые голоса — певцы и певицы пели о любви, разлуке, встречах, о долгих сроках, о тюрьме, пели, будто накануне переезда

сваливали все вещи в одну кучу, не разбирая, что — рухлядь, а что нужное. Люди пили и ели под эти голоса, где-то жарили шашлык; гаражи и сараи уже кончились, начался вытоптаный редкий лесок, где на каждой поляне было кострище.

И вдруг в этом леске я услышал другие голоса — кто-то просто переговаривался, кому сколько налить, кому передать сосиску, дать уголек прикурить, но этот простой разговор звучал без пустых, но прикидывающихся что-то означающими интонаций.

Я свернул с дороги и увидел пятерых мужчин, сидящих на бревнах. Один, совсем старик, напластал ножичком колбасу и воткнул нож себе в ногу — никто не дернулся, все знали, что нога деревянная; другой — тоже старик — сидел отрешенно, опершись на посох из автобусного поручня, и на лямке его спецовке были пришиты велосипедные катафоты; третий, со шрамом через все лицо, поросшим свиным волосом, разливал по стаканам водку, четвертого я видел со спины, он сидел слишком недвижно, как будто был парализован, а пятый, наоборот, трясся, подкожный живчик бегал по всему его телу, и черты лица перемигивались друг с другом, корчили друг другу рожи, левая бровь дразнила правую.

В каждом из них узнавалось шахтерское прошлое; горизонт для шахтера — рабочий термин; чтобы достичь горизонта — одного из многих, — нужно спуститься в шахту, и зачастую шахтеры десятилетиями работают в одном горизонте, ограниченном для них концом забоя; их горизонт — тупик, и люди бьются с камнем в этом тупике, но он только отступает, не переставая быть тупиком, и труд в забое — пусть на поверхность и поднимают добытую руду, — труд, не имеющий в себе выхода.

Горизонт жизни, подземный, темный горизонт, каждодневный спуск в горные толщи, туда, где уже тепло от жара глубин, спуск по долгой вертикали; люди, работавшие в шахте, словно держат небо на плечах: тело помнит о давлении каменных толщ, ощущением спинным мозгом. Тяжелые мышцы, тяжелая походка — они словно свинец и платина в таблице элементов, они обжаты этим давлением, выпестованы темнотой. Подземные ходки, раз в сутки получающие в ламповой комнате налобный фонарь, выдерживающий удар камня, которого не выдержит тело, — люди, живущие в двух мирах, этом и том, люди, чей ежедневный путь по земле короче, чем путь под землей

— боковые штреки шахты бывают несколько километров в длину, и шахтеры идут под своим домом, под городом, под его окраинами, идут сквозь камень, где есть только кротовые норы штреков и вертикальное жерло шахты — ее глотка, единственный путь наверх.

Все пятеро когда-то были шахтерами, тружениками подземелий; все пятеро в разное время попали под обвал. Теперь, вероятно, они держались вместе — полукалеки, слишком крепкие, чтобы погибнуть; шахта выбросила их как шлак, обломки, но силы их тел хватало еще на долгую жизнь — жизнь после обвала, — и они собирались здесь, в лесочке, откуда были видны карьер, шахтный двор, здание самой шахты, терриконы отвалов; кажется, шахта притягивала их, выманивала на это место.

Меня заметили, спросили сигарет; я дал, мне предложили выпить. Водка теплым слизняком опустилась в желудок; меня спросили, кто я и откуда — без любопытства, у меня было две ноги, а не одна; я сказал, что ищу хоть какие-нибудь следы человека, которого давно нет — и назвал фамилию Второго деда.

Сидевшие молчали, это сочетание букв никак не тронуло, не взволновало их. Конечно, я не ждал, что случайные собеседники в леске на городской окраине окажутся знатоками биографии Второго деда, что загадка его судьбы разрешится так нетрудно, однако все же я замер: я впервые подумал о том, что, может быть, о Втором деде уже в принципе невозможно что-либо узнать, что я — единственный, кто держит в уме часть из всех сведений о нем, а остальное уже трижды пропало, рассеялось либо существует вне связи с его личностью, например, просто как вещи, невесть откуда взявшиеся, вещи-среди-вещей; в чьем-нибудь комодe лежит фотокарточка, на полке стоит книга, в буфете — чашка, и никакая воля, никакое прозрение не соединят их, не заставят опознать друг друга и свидетельствовать.

Я молчал; меня спросили, зачем мне этот человек, который так давно и так надежно умер, кто я — внук, правнук, дальний родич, журналист, просто любопытствующий? Я ответил, что надеюсь понять, зачем мне он, когда что-то о нем узнаю; я еще раз произнес имя и фамилию Второго деда — от безнадежности, потому что увидел себя со стороны: за гаражами, среди березового мелкоколесья, с видом на шахту, в произвольном месте, со случайными людьми, в конце тупика;

человек со шрамом позвал безногого — попробуй вспомнить, ты же все знаешь; попробуй!

Безногий будто очнулся, посмотрел с хитрецей: то ты говоришь, что надо все забыть, а теперь — что надо вспоминать; однако остальные стали его уговаривать — похоже было, что они развлекались иногда, упрашивая старика — так раскручивают волчок на карте, чтобы он остановился в какой-нибудь точке, — вспомнить что-нибудь наугад, и тем перемогали не находящий себе пищи в повседневности общий жизненный интерес.

Как я потом узнал, старик с деревянной ногой заведовал архивом рудоуправления. «В архиве как в штольне, — сказал он мне, — только вместо камня бумага». Каждая тонна руды, добытой в карьере и шахте, породила цифирь, руда требовала чернил, краски для печатных машинок — и бумаги; листы чертежей, рабочих планов, отчетов, протоколы тысяч заседаний и тысяч комиссий оседали в архиве, уплотнялись, спекались за десятилетия в глыбы бумаги; в эти листы редко кто заглядывал, но канцелярские установления предписывали хранить их, и в архивном подвале бумага занимала все больше места, проходы между шкафов и стеллажей сужались, свет ламп с потолка уже не освещал нижние полки и дальние закоулки; архив действительно стал похож на горную выработку.

Заведующий архивом принимал раз в квартал новые документы, а все остальное время вел войну с крысами; крысы, словно их привлекал запах бумажного тления, пролезали в подвал по трубам, прогрызали деревянные перекрытия, двери, пытались вскочить в карман спецовки, когда старик спускался из общих помещений в свой рабочий угол; наверное, крыс манило тепло подвала, тепло бумажной трухи, в которой так хорошо устроить нору, устлать ее бумажной рваниной и вывести крысенят, но казалось, что они ненавидят бумагу как таковую. Животные бедствий и горестей, войн и революций, животные времени безвременья, они будто чуяли, что архив — это склад прошлого, пусть этим прошлым и были лишь сводки добычи руды, и стремились уничтожить, изгадить, изорвать бумагу и вывести такое же прожорливое потомство.

Старик заделывал цементом ходы, припудривал ядом укромные углы, ставил самодельные крысоловки; он боялся — об этом, смеясь, сказал шахтер со шрамом, — что крысы сгрызут его деревянную ногу,

если он уснет от усталости в подвале, и он уже не выберется наверх. Но то был смешной страх, и старик сам смеялся — сражение с крысами дало ему смысл существования, и, может быть, остальные даже завидовали ему. Наверху, в надземных этажах рудоуправления, работали инженеры, геологи, маркшейдеры, начальство; там передавали из рук в руки пробы руды, спорили о запчастях для «БелАЗов», заказывали вагоны взрывчатки, планировали, чертили схемы — а внизу в подвале горный инженер на деревянной ноге, попавший некогда под обвал в шахте, отбивал атаки крыс, и ему казалось, что верхние этажи держатся, стоят только благодаря его борьбе. Здание рудоуправления было поставлено на фундаменте бумаги, и старик, сохранивший то преклонение перед ней, которое шло из давних лет, когда она как вещь еще представляла собой ценность вне зависимости от написанного и ее появление где-нибудь в селе, в деревне всегда означало некое действие судьбы, — старик, знавший цену входящим и исходящим, самоотверженно хранил архив; по этим грифам, шапкам, росчеркам, по строчкам добычи можно было восстановить архитектуру судеб, поступь времени.

Я еще раз назвал старику фамилию Второго деда; он задумался, словно мысленно прикинул, в каком шкафу искать документы.

«Он был начальником лагеря, — сказал старик, помолчав. — Здесь еще не было города, а только лагерь, карьер и шахта. Он и начальствовал над всем этим. Пятнадцать тысяч человек. Две тысячи охраны и вольнонаемных, остальные — заключенные. Он долго был начальником, лет десять, с первого барака до первых домов. Потом что-то с ним случилось, не помню что. Меня-то еще не было, я по документам знаю и по рассказам. У меня бумаг с того времени почти нет, они по ведомственной принадлежности хранятся».

«Меня один раз приглашали *туда*, — добавил он, захихикав. — Им нужна была какая-то справка по устройству комбината. Знаете, что *там*? Такой же архив, как у меня, только больше. Залежи бумаги. Она долго живет, бумага. И они сидят там, крутят свои разводки, не человек, одно удостоверение — но сидят на этой бумаге, на прошлых делах».

Я вспомнил *то* здание; в городке находились секретные производства, и ему полагался филиал конторы-*там*; я не пошел туда спрашивать про Второго деда. Здание было в конструктивистском

стиле — серый куб с внутренним двором и прямоугольной висельной аркой; казалось, что куб этот наделен особой неживой жизнью, и если его кормить, дом вырастет, ширясь гранями, по метрике Дома на набережной, склада судеб, а потом от него отпочкуются кубы поменьше. Что-то было в этом доме, в маленьком внутреннем дворе, закрытом чугунными решетчатыми воротами, — что-то от тюрьмы и от крематория одновременно, от двух мест, где человек уже не принадлежит себе; но то говорила архитектура, замысел прежних лет, а ныне — старик был прав — дом был силен только хранящейся в нем бумагой.

Конечно, теперь, спустя два десятилетия, как кончилась прежняя власть, среди дел в картонных папках не было ничего ошеломительно нового; вышли книги, открылись — частью — центральные архивы; но суть и была в том, что все эти дела не увидели свет в какой-то уникально точный момент истории, в то единственное время, когда они могли что-то перерешить; не обязательно перерешили бы, даже скорее нет, чем да, но — могли бы. А теперь это была только мертвая бумага; никакой дьявольщины, никакого ореола ужаса вокруг той конторы — одна мертвая бумага; в архивах лежало последнее, что осталось от людей, лежали листки с приговорами, и контора даже давала взглянуть на них, позволяла снять копию, но сами листки оставляла у себя, как купчие или закладные; контора и в смерти владела этими людьми, потусторонними крепостными; контора оказалась — без иронии — единственным хозяином сонмов душ.

Все пятеро бывших шахтеров смотрели на меня; теперь я не мог, даже если бы захотел, просто так взять и уехать отсюда. То, что случилось с ними, — обвал, раны, жизнь калек, — случилось и со мной; и дело было уже не в том, что кровь Второго деда, положившего начало этому месту, — в моей крови; я поехал сюда, чтобы избавиться от тени Второго деда, поехал, догадываясь, что примерно узнаю, хотя и не предполагал во Втором деде начальника лагеря; поехал, внутренне отстранившись от места и его людей, и смотрел на живущих здесь лишь под одним углом: что они могут сообщить мне. А здесь была адова дыра в земле, и были побитые обвалом калеки; и нельзя было что-либо узнать бесстрастно, нужно было сперва ответить на вопрос, а кто ты сам, — прежде чем спрашивать о Втором деде; нужно было встать под обвал, вызвать его на себя, остаться здесь, даже

мыслью не посягая избежать чего-либо — и только тогда тебе откроется что-то, потому что ты сам станешь частью того, что откроется.

Наутро — вечер я провел там, в леске, пару раз, как младший, сбегал за бутылкой, выпивал и слушал про то, как росла шахта, как увеличивался карьер, — я пошел искать новый адрес человека, писавшего Второму деду. На улице мне подсказали, что в городе есть стол находок, а при нем — адресное бюро.

Они помещались в старой водокачке; красно-кирпичная, с островерхой немецкой шляпой из крашенной в темно-зеленый цвет жести, водокачка была когда-то построена у паровозного депо, теперь там расположились гаражи, а водокачку почему-то отдали милиции. С узкими окошками, с накладными кирпичными зубцами, она была похожа на крепостную башню, потерявшуюся в географии; внутри было зябко — кирпичи напитались холодом воды из глубокой скважины.

Стол находок и бюро заведовал один человек — милицейский капитан с повадками карманника, худой, высокий, весь какой-то хрящеобразный, перетекающий, не могущий стоять спокойно, будто бы умеющий быть в двух, трех местах сразу; хорошо же ему было среди потерянных бумажников и длинных узких выдвижных ящиков с адресной картотекой: город терял вещи, в городе терялись люди, и за любой пропажей приходили к нему, а он сидел с видом, будто сам украл потерянное, сам уволок куда-то человека — и сам, согласно должности, содействует поиску.

Капитан повел меня по винтовой лестнице вниз, в бывшую насосную; там теперь хранились вещи и адресные карточки. По дороге он успел пожаловаться, что нынче стол находок уже не тот, — он произнес «стол находок» с особенной интонацией, как «стол был яств»; раньше, сказал капитан, приносили больше, кто что на улице поднял, а теперь только если в автобусе сумку найдут и вызовут милицию проверить, не бомба ли, — такую сумку сдают, а все остальное — нет.

Конечно, капитан привирал: мы шли мимо груд неостребованных вещей, каких-то пыльных баулов, выпотрошенных портмоне, «дипломатов», дамских сумочек; попадались косметички, рулон рубероида, мини-холодильник для пикника, несколько тубусов для

чертежей, детские коляски, горные лыжи и даже коньки; игрушечная пластмассовая лошадка на колесах, бидоны — брать молоко в розлив, ведра, тележки, мешок цемента. Все это было похоже на предбанник того света, куда люди долго шли, обрастая скарбом, а здесь все это пришлось оставить. И вещи стояли, сбившись в кучи, как овцы без пастуха, и казалось, свистни им кто-то — сами собой покатятся на свист коляски и тележки, в которые набьется остальной хлам, поковыляют палки и костыли, поедут лыжи. Вещам было боязно: их бросили, и теперь они, старые, вышедшие из моды, не знали, что с ними будет; я иначе взглянул на капитана: понимает он или нет, какую службу совершает? Потери всего города собрались здесь, и было что-то горькое в том, что они — не замечены; что проще не смириться даже, а вообще не придавать значения факту утраты, хотя пропавшее, оказывается, можно отыскать, вернуть.

Пока капитан рылся в своих ящиках, чтобы найти адрес корреспондента Второго деда, — если он жив, — я думал об этих вещах; когда-то, наедине с женщиной, я вдруг понял, что мы оба — усталые люди, которые с жалостью смотрят на свое тело, и в наших объятиях есть этот привкус жалости; мы прожили столько, что из предметов прошлого у нас осталось лишь тело: другой город, другая квартира — тело живет дольше современных вещей, рассчитанных на недолгий век. И так и хочется ему сказать: вот мы и остались одни, дружок; вот мы и остались одни... Я думал о вещах — и об одиночестве человека среди них; о том, что человека можно описать как набор его значимых вещей — но когда кто-то другой окажется перед этим набором, что будет он делать: составлять головоломку из наручных часов, портсигара с гравировкой «От сослуживцев», обручального кольца и пробитого компостером билетика? И вот я стою среди потерянных вещей, а мне нужен только человек — тот, кто может знать, помнить; я не верю вещам.

Капитан сказал мне адрес; тот, кого я искал, действительно переехал с Краснокохозной. Потом он предложил посмотреть находки — вдруг что приглянется, тогда можно купить; вроде как в ломбарде, сказал капитан. Я отговорился; особенно он сватал мне забытый кем-то в автобусе спиннинг; он вертел передо мной вызолоченную по краям блесну с крючком-тройником, показывал, как ее заглотит рыба; спиннинг был совсем неважнецкий, самодельный, но капитан учел и это, сочинив историю, будто такие на первый взгляд неказистые снасти и есть самые лучшие; капитан был трепло, он сидел среди рухляди, приторговывал барахлом и ждал удачи — вдруг какой дурак притащит ему что-то вправду ценное; у двери нам навстречу попался следующий посетитель, принесший что-то под мышкой; капитан засуетился, заспешил меня выпроводить — наверное, принесли краденое на продажу. Я дал капитану денег — он оживился, не стал уже меня торопить — деньги, полученные как мзда, уравнили меня с остальными его визитерами, установили между нами отношения — я дал, он взял, — и он, пожалуй что, еще решил бы познакомить меня с воришкой — от скуки, посмотреть, что выйдет.

На улицах было солнечно; у городской администрации с опозданием на полтора месяца запустили фонтаны — трубы еще не прочистились, и к небу взметывалась ржавая мутная вода; я купил мороженого, и тут меня нагнал капитан. «Обед, — сказал он мне. — Пообедаем?»

Мы зашли в кафе; за едой капитан как бы путано, а на самом деле осторожно стал меня выспрашивать, зачем я ищу того человека; потом, видя, что я не понимаю, куда он клонит, капитан высказался определеннее: в этом городе у многих стариков большие состояния; если кто, например, занимал верную должность по хозяйству, то выходил в отставку миллионером; подряды, расчеты, подменные документы, пущенные налево стройматериалы — здесь было достаточно способов разбогатеть, комбинат был слишком велик, слишком темен и запутан даже для управлявших им, и «много кто, много кто» — так повторил капитан — сумел правильно распорядиться должностью. И если я, скажем, ищу такого человека, кем-то ему придется, на что-то рассчитывая в смысле денег, то мне стоит заранее обзавестись здесь друзьями.

Капитан как бы между прочим рассказал, что однажды у него спрашивал адрес молодой пижон, он приехал за наследством, но, увы, не преуспел — что-то с ним случилось. «Адрес я ему дал, — сказал капитан, — а вот обедать со мной он не пошел, отказался».

Скорее всего, капитан лгал; он лгал, как ел — не заботясь о вкусе еды, торопясь пропихнуть в глотку и откусить еще; по сути, он жевал денники, глотал рубли, он хотел дорого пообедать — за мой счет; он был трусоват, капитан, привыкший жить с оглядкой, перебиваться мелочью; я заметил, что у чемоданов и сумок в столе находок были вспороты бока — это капитан разрезал бритвой швы: не зашито ли что в подкладке? Так же он прощупывал и меня; но было понятно, что капитан не один, что он может сообщить кому-то еще, повернуть дело так, будто я действительно — будущий наследник.

Объяснять капитану, что я ищу только человека, который мог бы рассказать мне о бывшем начальнике лагеря, представляться историком или журналистом было поздно; я чувствовал, что капитан уже поверил тому, что придумал про меня, уже укрепился в домыслах и фантазиях, и любая попытка сказаться кем-то иным, чем искатель наследства, лишь заставила бы его подозревать, что я хочу сбить его со следа. Капитан так долго ждал среди старых сумок, среди ящиков картотеки, один в своей разбойничьей башне, так долго скупал тряпки, ворованную технику, все по мелочи, все исподтишка, что теперь увидел во мне единственный, сверкающий, драгоценный шанс. И я понял, что он, веря своим домыслам, аттестует меня подельникам как богатого наследника, сам не осознавая, что врет; капитан ел маслины, обсасывая косточки, и аккуратно выкладывал косточки на край тарелки; он ел — меня, он был здешний, а я пришлый, и он очень хорошо это знал.

Мне оставалось только притвориться, будто я принимаю его предложение; я рассчитывал на жадность капитана — он прикинется, что рассказал обо мне своим подельникам, но на самом деле не расскажет, понимая, что ему, трепачу, бездельнику, тогда ничего не достанется; капитан ответил мне, что вечером наведет справки, где я остановился, и будет меня навещать. Я встал, положил под пепельницу деньги за двоих; капитан улыбнулся и выщелкнул в пепельницу маслинную косточку.

Я пошел по адресу, который дал мне капитан. В условном центре города располагался квадрат «сталинских» домов; если в Москве они все-таки есть лишь фрагмент архитектурной истории, стиль среди других стилей, то здесь, строго говоря, «сталинки» представляли собой единственную архитектуру вообще. Ветра, морозы и дожди не пощадили их излишеств: лепнина и декоративные балконы осыпались, пропала белая окантовка окон, облезла краска на стенах; в широких и высоких парадных завелись влажные сквозняки, под сводами арок всегда тянул ветер, цемент, известка и кирпич крошились, понизу стены покрыл зеленый, цвета ряски, налет, в трещинах разросся мох; повсюду были ржавые потеки, на сломе камня выступала арматура, и кое-где было видно, что в цемент — наверное, не хватало металла — вместо арматуры укладывали скрученную в несколько раз колючую проволоку.

От этого вида — дом, построенный на колючей проволоке, — возникало ощущение, что здание вот-вот дрогнет, оно все исколото, и поэтому никакая кладка не будет прочной, какой бы марки цемент ни скреплял ее. Проволока словно разламывала дом изнутри, как древесные корни — асфальт, и вся лепнина, все барельефы, все вазы в нишах не могли побороть впечатления, что здание это — не для жилья, не для людей. Такое обычно хорошо чувствуют животные, и здесь было так же: во всем квартале «сталинок» не заметить было ни кошки, ни собаки, птичья кормушка крутилась на ветру пустой, и только в помойных баках шуршали, перебегая, крысы.

Что-то странное было в квартале, какая-то одна деталь — я не мог уяснить, какая — тревожила меня; чего-то не хватало в звуках города, пропала некая нота второго плана. Я остановился, но чем больше вслушивался, тем яснее ощущал, что слух мне не поможет, ответ же в буквальном смысле был перед глазами. Здесь — единственное место в городе — в окнах домов были не ситцевые легкие занавески, не шторы, а глухие, плотные коричневые или соломенного цвета портьеры, наверное, огрузневшие от пыли, набрякшие тяжелыми складками, как кожа под веками старика; портьеры закрывали окна, и ни одна форточка не была открыта; ни звука не доносилось изнутри квартир.

Жители домов затворились от воздуха улицы, заперли широкие двери парадных; там, в квартирах, куда падал редкий луч, они

пытались сохранить воздух своего уходящего времени; в рассеянном медовом свете закатных минут, когда не так заметна желтизна кожи на руках, они протирали, может быть, лакированную мебель, любясь коньячным цветом лака, резным хрусталем рюмок в буфете, и добротное существование крепко сработанных вещей отводило от них страх собственной немощи.

Я понял, что где-то уже слышал такую тишину: один только раз, она и запомнилась из-за этой единственности; в детстве, однажды утром в залах палеонтологического музея, где выставлены скелеты динозавров.

В то утро в музее было совершенно пусто; и когда я, опередив родителей, вошел в самый большой зал, где стояли тираннозавр и прочие плотоядные исчадия, я вдруг удивился: обычно я боялся этого зала, боялся клыков и когтей размером с мою голову, боялся скелетов, похожих на увеличенный чертеж — в них открывался естественно-разумный замысел творения, и я не знал, что думать о жизни, о природе, которые с равной тщательностью создают и нежную сойку, и хищного птеродактиля.

Было тихо, совсем тихо; и в оскале чудовищных пастей я узнал не ярость и злобу, пугавшие меня прежде, а исковерканность смертью и муку; я увидел, что зал, где выставлены скелеты, весь музей, весь солнечный осенний день — мы уже внутри незримой пасти, она еще не сомкнулась, но все в каком-то конечном смысле уже свершено.

И вот на улице северного города я узнал эту тишину — тишину музея, где исчезнувшие твари иной эпохи, грозные и жуткие, все же умалились перед бесплотным ликом смерти, стали столь же безобидными, как раздавленная лягушка, высохшая на жаре, похожая теперь на расправленный легкий и сухой листок из гербария.

В парадном меня встретил тот же охряный, песочный, в цвет печенья, кафель ромбами, что и в московском доме, где жил Второй дед; кафель, стены, перила, короб лифта — все было таким же. И меня поразило: в скольких же еще городах я могу войти в дом — и один его вид изнутри неизбежно вызовет воспоминания, которые я считал глубоко личными; даже провода, идущие к кнопкам звонков, изгибались так же, как в том прежнем доме, и мне показалось, что дом на самом деле один, как памятник Ленину, и что различия в биографиях его жильцов в разных городах как бы нивелируются

единственностью дома; что мемориальные доски, которые иногда можно увидеть на его стенах, не более чем насмешка, потому что за каждой квартирой числится больше тех, кто был выведен из нее, чем тех, кто сейчас там живет. Я представил вдруг, что было бы, если бы все сгинувшие жильцы вернулись — дом не вместил бы их, они стояли бы кто на лестнице, кто во дворе, чуждые друг другу, но каждый узнавал бы песочный кафель ромбами, кнопки звонков, таблички с номерами квартир... А те, кто уцелел, сидели бы внутри комнат, не смея выйти, не смея приоткрыть дверь — и сквозь малую щель в прихожую проникли бы, втиснулись боком зыбкие тени с черными пятнами, с кляксами вместо лиц, вымаранных чернилами или тушью цензуры.

Я стал подниматься по лестнице; на мгновение мне показалось, что в доме уже никого нет; что из замочных скважин тянет остатним, стоялым духом похорон; что там, за дверями, занавешены все зеркала. Я опознал в этом доме начало третьего из снов, с которыми начал путь; не буквально — что место действия сна было здесь, — но так, что оно могло бы быть и здесь.

В воздухе лестничных площадок, казалось мне, еще держатся — так распознаешь запахи соседской кухни — горячечные, сочащиеся потом, клокочущие в горле сны стариков; они спали, метались под пуховыми одеялами, спали, стиснув зубы, чтобы не проговориться во сне, не захлебнуться, как пьяный — рвотой, внезапной речью лунатика, а их тела дрожали и потели, и пот этот пах смертью.

Такой же запах я чувствовал однажды в онкологическом диспансере, где засалены и линолеум, и банкетки, и стены, и карты в регистратуре — так блестят грязные, залоснившиеся брюки; человек становится там дряблым, текучим, как подогретый воск, жарко топят батареи, и плоть боится себя самой — жалкой, омерзительной в неразрывном соединении больных и здоровых тканей.

Сны в воздухе; этот воздух множество раз вдыхали и выдыхали обитатели дома, он побывал в глубине их тел, он с хрипом выходил из их гортаней, вынося в себе несказанные слова; наверное, в нем не смогли бы жить растения, настолько он был выдышан.

Четвертый этаж, шестнадцатая квартира; звонок задребезжал, казалось, за всеми дверьми сразу, звук его полетел по длинным коридорам, ударяясь о стекла шкафов, рассыпаясь прыгучими

бусинами на паркете. Внутри квартиры было тихо; я позвонил еще раз, подождал несколько минут. В квартире щелкнул замок.

В темноте приотворенной на длину цепочки двери я увидел лицо; ощущение было такое, что человек смотрит на меня с собственной фотокарточки; снимок отстранен, и поэтому почти всегда что-то мешает признать его до конца своим: вот такое лицо — лицо фотографии, чуждое себе самому — было у старухи, выглянувшей на лестницу.

Она стояла за дверью, в полутора метрах от меня, но я не мог сказать, человек она или изображение; потом я догадался, что лицо ее почти парализовано — двигались только брови, они-то и выдали удивление; черт лица я уловить не успел — оказывается, лицо живет в движении, в незаметной игре лицевых мышц, и когда оно неподвижно, о нем ничего нельзя сказать; мой взгляд притянули ноздри — две черные точки, два хода во внутреннюю темноту тела.

Мне почудилось, что из этих черных отверстий, словно из дыр в каменной стене или в скале, могут выползти ящерица или змея; что они не принадлежат лицу, они — только проемы, опасные, зловещие; если бы я мог, я бы в тот миг закрыл, замазал плотью ноздри старухи.

Чтобы выскочить из помраченного, как бы наполовину затянутого вдохом в эти ноздри мгновения, я заговорил; поздоровался и спросил, дома ли Семен Викентьевич. Старуха ушла по коридору, ушла так неслышно, как будто всю жизнь старалась не потревожить чей-то чуткий, маетный, пронизанный невралгическими болями сон; так же бесшумно вернулась и отперла дверь. Связка в три десятка ключей — вероятно, от дверей в комнатах, от шкафов, буфета, письменного стола — ни разу не звякнула в ее руках, словно каждый ключ был обернут тряпицей. Было что-то диковинное в этой связке, в этой страсти к ключам, к их резным бородкам, в стремлении держать все ключи вместе; тут был какой-то намек, какой-то ключ уже к самой старухе; она приглашающе повела рукой — проходи — и тут же закрыла за мной дверь, сделала это незаметно, но сразу возникло неотвязное ощущение: дверь заперта.

Ключи и двери, двери и ключи; и тут я понял, кто она: бывшая надзирательница, жена какого-нибудь чина, устроившего ее на работу в свое ведомство; сиделка у того человека, к которому я пришел.

Старуха мягко подтолкнула меня в спину: иди. Я пошел по темному долгому коридору: две худые кошки умывались у мисок, стены были голы, боковые двери закрыты, и лишь в конце коридора слабый дневной свет из комнаты освещал изъеденные молью медвежью и оленью головы, из голов торчала вата, и моль вилась в лучах, как ожившая пыль; я вспомнил письма — медвежий жир, тюлений жир, — голова принадлежала одному из медведей, чья плоть поддержала жизнь в теле Второго деда.

Первое, что я увидел в комнате — палку, такую же, как та, которой Второй дед убил черную собаку в моем детстве, сделанную из той же розовато-медовой от смолы, крученной, как сухожилия, лакированной древесины полярной лиственницы, перехваченной медными блестящими поясками; палка была прислонена к ручке кресла, вертикальный узкий пласт яркого света из щели промеж портьер придал ей длинную тень, будто стержню солнечных часов.

— Вечная палка, — сказал человек, сидевший в тени. — Такая лиственница растет двести лет, ее топором не перерубишь. Хорошая вещь. Мы сгнием — она не сгниет.

Я смотрел на палку; теперь я видел, что она не была такой же — она была той же, именно той палкой, что переломила хребет черному псу; вероятно, мастер из заключенных, делавший эти палки, действительно старался изготовить их без отличий, но дело было не в подробном сходстве; палка была как зримая рифма, как одинаково звучащее окончание двух, может быть, разных слов; я не просто узнал в ней конкретный предмет из своего прошлого — ее существование показало мне истинный объем этого прошлого, как будто в затемненных помещениях за границей памяти вдруг вспыхнул свет. Палка повторилась, как повторяется при спуске по винтовой лестнице внутри башни вид из окон, расположенных одно над другим; повторилась, зафиксировав виток времени.

Но что-то еще, кроме палки из лиственницы, отсылало меня к прошлому. Из почти до-памятного состояния памяти, из пяти или шести годов жизни, из тех областей внутри, обращаясь к которым понимаешь, в какой степени человек состоит из пробелов и прорех — оттуда, будто сквозь пленку, что-то билось, как если бы у воспоминаний могло быть сердце.

Голос — я знал этот голос — и никогда раньше его не слышал. У меня словно было две памяти, меньшая и большая, почти непроницаемые друг относительно друга, и в меньшей этот голос запечатлелся, а в большей — нет. Причем та память, в которой он был сохранен, находилась как бы ниже другой; в ней не было картинок, событий в последовательности их развития; только конечное и, вероятно, обозримое число неких моментов, смутных, но исполненных мощи образов, каждый из которых — словно эпитафия, предвосхищающий будущий текст, вызывающий, выманивающий его на себя; «Всех благ возможных тот достиг, кто дух судьбы своей постиг», — сказано у поэта, и речь именно о тех моментах-впечатлениях, которые определяют не судьбу, но дух судьбы; в них и напутствие, и вызов, а главное — рок.

Старик в кресле снова заговорил; сказанного им я почти не расслышал, потому что на этот раз его слова оказались по звуку близки к тем, что вибрировали в моей памяти; и мне почудилось, что я теряю сознание, опрокидываюсь навзничь, но на самом деле это высвободившееся воспоминание положило мне на лоб свою руку.

Так и было — тяжелая рука на лбу, твердые, словно костяные, пальцы, мой полусон и два человека у моей кровати: Второй дед — и тот старик, что сидел теперь в кресле. Они стояли, разговаривая полупшепотом, думая, что я сплю; двое стареющих мужчин над кроватью пятилетнего ребенка. Я не знал, чья рука лежит у меня на лбу, чьи пальцы так холодны — сердце уже почти не доталкивало до них кровь; их фигуры возвышались надо мной, размытые сумраком, и тело под одеялом покрылось мурашками: в моей дачной комнате всегда тикал будильник, но тогда он молчал, — наверное, вышел завод, а завести забыли, — и эти выпущенные секунды высыпали «гусиной кожей».

Я вдруг ясно ощутил свой малый возраст, детство своего тела — не сознания, тела, — какое оно слабое и жалкое; старики стояли надо мной, как жрецы над приготовленной жертвой, и я чувствовал угрозу в одном нашем взаиморасположении, усиливавшуюся жесткой ладонью, которая поглаживала меня, почти царапая.

Я вспомнил тугое яблоко, еще неспелое, которое накануне разломил в саду, и увидел себя мягким, еще не начавшим коричневеть семечком; старики стояли над открытой, белеющей в темноте

постелью, мгновение было разломлено, как то яблоко, до самой сердцевины.

Мне пришло на память, как Второй дед прививает яблони, их было много в нашем саду — с бугристым кольцом, со шрамом прививки у комля; а среди всех ножей моего детства был единственный, которым я не мечтал и не хотел владеть — кривой садовый нож Второго деда, крючковатый, страшный, страшнее хирургических скальпелей, созданный, чтобы подсекать молодые черенки, уродливый, похожий на клюв хищной птицы. Им нельзя было счистить кору, разрезать картофелину, поиграть в «ножички» — только расслаивать, рассекать древесные волокна, оставляя блестящий гладкий срез. И все это — белое яблоко, косо срезанные черенки, яблони с вывихнутым, если прививка плохо срослась, стволом, нож Второго деда, — все это соединилось в паническое ощущение, что два старика пришли, чтобы что-то сделать со мной.

И тем жутче было, что они ничего не делали, только стояли, разговаривая, и речь их казалась заклинанием, произносимым над спящим, чье сознание размягчено и беззащитно; рука все поглаживала меня по лбу, и я чувствовал, как с этим прикосновением ложится на меня незримая мета, печать; старики говорили о своей бездетности, Второй дед назвал два имени, и я понял, что у него была жена и был сын, умерший в раннем детстве; понял и то, что сейчас, слепой, он в воображении стоит у постели своего ребенка и показывает его другому старику.

В этом замещении, в этой подмене и рождалась та печать, которую его рука клала на мой лоб: не должно живого даже мысленно помещать на место мертвого — это накладывает противоестественные узлы и бросает в будущее тень мнимого предопределения, которое никогда не исполнится, но свяжет узлы, которые человеку придется развязывать собственной жизнью.

Вероятно, потом я вытеснил это воспоминание из памяти; я честно не помнил второго старика; наверное, он был в Москве проездом и единственный раз приехал в гости ко Второму деду на дачу. Утром, когда я проснулся, его уже не было, не было ночи, слов Второго деда об умершем сыне — событие это отдалилось, будто произошло годы назад, а вскоре и вовсе исчезло; то ли сон, то ли явь, видение, слишком значительное, чтобы я мог с ним справиться тогда, а потому утаенное

сознанием и лишь возвращавшееся в течение детства смутным мучительным эхом во снах, в которых я ощущал, что мое место в жизни занимает кто-то другой, подменыш-кукушонок, чудовищный младенец, который растет вместе со мной, оставаясь младенцем. Я вздрагивал, слушая — «кто ел из моей миски, кто спал на моей кровати», — я знал кто; мутное белое лицо, словно из колбы с формалином смотрело на меня из моих снов, ключ к которым я потерял, а никто больше в нашей семье не слышал о жене и сыне Второго деда.

И вот теперь, стоя в комнате, куда привели меня почтовые открытки из бумаг Второго деда, я почувствовал, что произошло одно из самых, может быть, значительных событий моей жизни: то, что скажет нам о нас самих, существует в раздробленности, оно разнесено в пространстве и времени, и чаще всего мы не знаем чего-то самого важного относительно себя, что, однако, уже есть; я вспомнил второй путеводный сон, где были машинист поезда и его ссыльный брат, навсегда разминувшиеся друг с другом у арестантского эшелона, сошедшиеся, чтобы не встретиться; я почувствовал, как моя жизнь преломляется в мгновении настоящего, как луч — в увеличительной линзе, преломляется и выстраивается этой линзой понимания; я узнал то, за чем ехал, — и это знание, оказывается, всегда было со мной, в моей памяти.

В сущности, это был конец пути, я мог выйти из комнаты и возвратиться домой; однако я вдруг вспомнил, что дверь крепко, слишком крепко заперта. Понятно, что я мог попросить открыть ее, более того, мне так и хотелось поступить; я рвался выбраться, рвался обдумать то, что случилось; но дверь еще не открывали. И постепенно я осознал, что мне предстоит узнать что-то еще, понять что-то, и мое существо противилось этому близящемуся пониманию. Однако уйти означало — уйти, поступить произвольно.

Должно было выйти не раньше, чем сами хозяева откроют мне дверь; должно было взять от этой встречи не только то, что я желал узнать, но и то, что разум — в предощущении — отторгал; что обещало не возвращение домой, а какой-то другой, новый путь.

Старик поднялся из кресла мне навстречу; я отпрянул. Передо мной стоял постаревший ребенок, телесно — подросток лет тринадцати-четырнадцати; к нему уже не было применимо понятие

худобы — он был не просто худ, а иссушен, словно его выпили, опростали, накололи на иглу, как насекомое, и годы держали под стеклом на бархате. Мышцы его истаяли, остались лишь сухожилия, кожа на торсе стала прозрачной, как пергамент тонкой выделки, и обнажилась вся внутренняя жизнь тела: сизые, с отливом голубиноного крыла кровеносные сосуды сплелись в карту кровотока, и то тут, то там возникали на ней темные, как раздавленные ягоды черники, области подкожных кровоизлияний. Старик был полуодет, он страдал еще и оттого, что тело не может выдавить ни капли пота, не может выгнать с потом эту расплзающуюся под кожей смерть; лица — в человеческом понимании — у него уже не было, плоть расплавилась, как масло, от крепнущего внутреннего жара, и дергающиеся зрачки смотрели прямо из черепа. Хрящи ушей уже обвялились, как копченое мясо моллюска, брови и ресницы выпали, только слабый, будто опаленный, детский пушок покрывал надбровные дуги; воспаленные капилляры на щеках слились в тонкую вязь иероглифов, выписанных багровой тушью; старик умирал от хронической лучевой болезни, когда-то он получил малую дозу радиации, которая отозвалась в теле только сейчас; пресеклась способность кроветворения, кровь в его сосудах не обновлялась, и он медленно отравлялся проживаемой — и прожитой — жизнью, отравлялся прошлым, его шлаками и ядами, копящимися в тканях тела. Его убивало время — в буквальном смысле; и я, стоящий перед ним, был для него воплощением этого нового времени; он ненавидел меня, это было ясно по стиснутым зубам — он забыл, что усохшие губы уже не прикрывают их; челюсти его были вставными, гладкими, белыми, и я вспомнил вставные зубы Второго деда.

Я передал старику его собственное письмо; он прочел, кивнул, показывая, что понимает, кто я, и заговорил. Он сказал, что знает, как умер Второй дед, знает, что мне перелита его кровь, — Второй дед объяснил домработнице, кому сообщить, если с ним что-то случится, и велел держать поручение в секрете от моей семьи.

Старик ждал — зачем я пришел, и я спросил, не осталось ли каких-то бумаг, может быть, фотографий; спрашивать его о Втором деде — начальнике лагеря, о том, каковы были их отношения, мне не хотелось, все было и так ясно.

Старик велел мне взять в шкафу альбом, вынуть из прорезей поздравительную карточку; за ней была фотография.

На черно-белом снимке за давностью лет почти не осталось ни черного, ни белого, все выцвело; казалось, что фотограф снимал не реальный мир, а фотографировал воспоминание.

На снимке были люди, они собрались что-то торжественно открывать, среди них я узнал Второго деда; и лишь одна точка как бы выступала из фотографии — пятнышко черноты в том месте, где лопата в руках Второго деда отбросила ком земли. Эта ямка была темна, она притягивала взгляд, как родинка на щеке. И я понял, что из этой ямки возник карьер, который я видел накануне.

Фотография тщилаась передать парадную радость действия, реяли, смешиваясь на просвет с облаками, призрачные транспаранты, притиснулись друг к другу офицеры лагерной охраны и инженеры, чтобы попасть в кадр; дул в трубы плохонько одетый оркестр, и было ощущение, что не одежда, а сами музыканты сшиты из подпаленных зимой у костра кусков ватной стеганой материи, а потом залатаны, не люди — игрушки в театре кукол; играл оркестр, качались флаги, но все уже было свершено — уже произошла закладка карьера, и будущее предопределилось: будущее города, всех этих людей — и мое.

Я стоял, понимая, что нечего больше спрашивать, все тут, на снимке. Уйти, скорее уйти; только одно узнать — где похоронены жена и сын Второго деда, чтобы побывать на их могиле и этим завершить спуск в прошлое. Старик сказал, где искать могилу на городском кладбище; но когда я стал торопливо прощаться, он удержал меня.

Старик говорил; он знал, что близко кончина, что он может «исповедаться», и, чего бы он ни рассказал, в чем бы ни признался, я в ответ не смогу даже закричать на него из опасения невольно убить; может быть, впервые он имел возможность говорить совсем свободно — и употребил свободу на то, чтобы разделаться со мной. «Чистеньким хочешь остаться, — сказал он, — не получится чистеньким, замараю!»

Нет, он не видел во мне чистенького мальчика, чья наивность могла бы раздражать его; не хотел доказать, что всякий человек скорее склонен ко злу, чем к добру, он был далек от обобщений; не пытался и оправдать себя, выводя тотальную зависимость человека от обстоятельств. Он ненавидел меня за то, что я пришел из мира, где

есть мобильные телефоны, иностранные машины, Интернет, вай-фай, поездки за границу, боулинг и роуминг, мир переменялся, люди предпочли не помнить ничего, чем помнить со страхом или помнить со скорбью, и старик шептал, — думая, что кричит, — что он начальник расстрельной команды, что он видел, как пуля бьет навывлет тело доходяги, а доходяга не подышает, потому что раны опасны для здорового тела, а человек в крайней степени истощения уже не ощущает рану как рану, он чрезвычайно вынослив к смерти. Старик шептал, думая, что кричит, что к заброшенным отвалам рудника, куда сбрасывали мертвецов, много лет потом приходили медведи; он шептал, что расстреливал сам, из нагана, из винтовки, шептал, что вблизи города до сих пор есть нескрытые могилы, он знает, он может показать, где, если я не верю; старику было страшно.

Он страшился не того, что сделал; он испугался, когда оказалось, что он, начальник расстрельной команды, — никто в теперешнем мире; ему не плевали в лицо, но его и не боялись больше. Он, переживший не только своих жертв, но и тех, кто мог бы свидетельствовать о них и за них, остался один; все расстрелы, все убийства были забыты, целая эпоха ушла на дно памяти, и он, запертый внутри нее, все пытался доказать, что он — был; старик не мог перенести, что причиненное им зло не существовало больше как зло; он убивал, а мир в конце концов закрыл, а потом открыл глаза, и все стало так, будто ничего не было. Мир не заметил, и старик лишился единственной, потусторонней почти, извращенно-духовной опоры в самосозерцании преступника: осознавать, что ты содеял нечто непоправимое, неотменимое, раз и навсегда случившееся, заступил на место Бога; что содеянное — в бытийном смысле — не изгладится и не забудется.

Я все-таки вырвался; старуха отперла мне дверь, и я бежал по ступенькам, унося в руках фотографию — просто забыл ее вернуть. Я думал пойти в гостиницу, запереться там — все вокруг, все увиденное и пережитое вернулось в одном ощущении, что здешний мир порожден Вторым дедом, что он тронул землю штыком лопаты, и земля отозвалась, отверзлась — и теперь ее не сомкнуть, не затворить обратно; город стоит на разломе, и прошлое более властно над ним, чем настоящее.

До гостиницы я не дошел; из переулка вывернула та самая «Волга», на которой я ехал с вокзала, перегородила дорогу; если бы я не узнал машину, то, может, и успел бы убежать, а так — на секунды — решил, что водитель тоже узнал меня и чего-то хочет; потом из машины выскочили трое, на заднем сиденье мелькнуло лицо капитана из адресного бюро; я побежал, меня догнали, толкнули в спину, заломили руки.

Багажник открыли примерно через полчаса; было уже сумеречно, машина стояла у огромного рукотворного озера — одного из отстойников комбината, наполненного зеленоватой кислотной массой; поодаль в химическом месиве ворочалась птица — говорили, птицы травятся испарениями отстойника и падают в него; ком грязи трепыхался, булькал, и только клюв — жижа отстойника к нему не липла — открывался и закрывался, как маленькие меха, накачивая легкие.

Меня поставили на колени перед бортиком отстойника; на цементе засохли блевотина и кровь; видно, место использовали так не в первый раз.

Капитан и водитель остались в машине; они курили там, приборная доска светилась зеленым, вдали мерцали огни города, по насыпи шел состав с рудой, тепловоз уже давно скрылся за поворотом, а поезд все не кончался, и я вдруг понял, что боюсь не увидеть хвостовой вагон; и за этим страхом скрываю страх больший — что станут бить, что перекинут через борт и окунут лицом в отстойник. Я смотрел через плечо: трое стояли за спиной, среди них нельзя было угадать главаря; наколки синели на руках, как синюшные штампы на сыром белье плацкарта, руки дергались, плясали, будто в них раз и навсегда вошло напряжение; трое переговаривались, что они сейчас со мной сделают, и особенно усердствовал один, у которого не хватало безымянного пальца на правой руке.

Меня выследили, капитан все-таки рассказал кому-то про дурачка-наследника, и теперь меня будут пытаться о несуществующих деньгах, драгоценностях, сейфовых ячейках; все наследство — фотография в кармане куртки. И вдруг в том, что был без пальца, взглядевшись в лицо, я узнал черты того беглеца, которого я пытался накормить в дальних горах у брошенного лагеря; то был его младший брат или

брат-близнец, или мне уже мерещилось, что мертвец достал меня, перевоплотился — и поставил на колени к стенке отстойника.

Я заговорил; сказал ему, что знаю, как погиб его брат, знаю место, где он похоронен; я видел культю на месте безымянного пальца, и мне казалось, что тот, погибший безымянным, оставил по себе такую зарубку.

Оказалось, что я угадал: брат увечного действительно ушел в побег — это было последнее известие о нем — и пропал; меня отпустили и стали расспрашивать, я рассказал, что нашел его, пытался спасти, а потом похоронил. Захватчики посоветовались, не сдал ли я его ментам, и решили, что тогда они знали бы — беглеца вернули бы в колонию, добавив срок. Не я ли его убил? Я предложил посмотреть на меня: похож ли я на человека, который смог бы убить? Они засмеялись.

Все перевернулось; захватчики, похоже, и сами не слишком были убеждены, что я богатый наследник, просто решили проверить «наводку» капитана; меня повезли в забегаловку, чтобы я нарисовал план, как найти в горах могилу беглеца; капитан сидел рядом на заднем сиденье и смотрел почтительно: он-то был уверен, что я обманул, задурил этих троих, и почти, наверное, восхищался моей хитростью.

Меня спросили, что я делаю в городе; и я, вопреки разуму, коротко рассказал свою историю. Приемный внук начальника лагеря — я говорил о Втором деде бандитам, и те слушали с уважением; я был — их, я был связан родством с лагерным миром, и оказалось, что колючая проволока не только отъединяет, но и соединяет: передо мной даже извинились за вывернутые руки. Не было деления на арестованных и охрану, на воров и вертухаев — во всяком случае, для прошлого; был только человек, давший начало их городу, человек, в котором они чувяли большую, старшую силу — и им казалось, что они могли бы найти с ним общий язык. Второй дед, как и они, гнул, ломал людей, и теперь, когда прошлые распри становились несущественными, они тосковали по произволу, возведенному в закон — им думалось, что они нашли бы себе место в том времени, место на стороне силы, и отблеск этой силы придал бы их низменной страсти к мучительству легальность и оправдание. «Я бы в те времена надел форму», — сказал один; и я понял, что все трое действительно пошли бы в охрану — не вольность их привлекала, а власть; тот беглец, старший брат, убил бы

за такое предложение, а эти — эти, младшие, уже приняли бы его как должное; они и служили, как выяснилось, вохровцами на комбинате.

Мертвец — почти что против своей воли — охранил меня; та попытка человечности все-таки оказалась действенной. Если бы я бросил его, я бы — сам для себя — не имел права сослаться на тот случай; но не бросил, не выдал — и теперь разминулся с жижей отстойника, где исходила липкими пузырями обманувшаяся птица.

Настроение троих изменилось резко; я как мог описал путь к заброшенному лагерю, но понимал, что младший брат не отправится перезахоронить старшего — будет только рассказывать, как захомутал стороннего лоха, а лох оказался тем, кто видел тело брата; постепенно история мутирует до неузнаваемости — либо я стану предателем, которого накажет младший брат, либо, наоборот, буду выносить беглеца на себе; но все это будет потом, а пока мы пили в забегаловке — за друзей, за неудачу врагов, — и капитан пил со всеми, будто и не сдавал меня.

Утром я собрался было поехать на кладбище, к могиле жены и сына Второго деда, но передумал; я чувствовал, что поездка будет концом, что после нее нужно будет возвращаться — и старался отсрочить конец.

Мне захотелось посмотреть на то место, где старик, начальник расстрельной команды, схватил дозу радиации. В городе существовало свое излучение — излучение неблагополучия, жизненной какой-то надорванности, надломленности; и я намеревался сверить ощущения от двух мест, понять, сходны ли они в чем-нибудь.

Невдалеке за городом, в горах, находилось ущелье, где заключенные добывали радиоактивную руду.

Когда создавалась ядерная бомба, руду эту искала каждая геологическая экспедиция, чем бы она ни занималась. Здесь, на Севере, ее нашли. Я представил, как десятки тысяч людей по всей стране, в степях, в пустынях, в тайге, в тундре разыскивали распадающееся вещество, чреватое цепной реакцией, высматривали желтые урановые смолки, чей цвет похож на цвет крапин на коже ядовитых змей; как отклонялись стрелки счетчиков Гейгера, когда в породах отыскивались зерна минералов, окруженные коричневыми ореолами радиоактивности, и стесанные кончики карандашей чертили

графитом на выцветшей бумаге полевых дневников контуры будущих месторождений.

Поиск веществ, чей век сопоставим по протяженности с человеческим, поиск коротко живущих минеральных соединений, предателей камня, у которого свое, долгое — миллионы лет — время; поиск ключа к силам природы; поиск ускорителя распада, в некотором смысле — философского камня, сообразного философии нового века, ищущего средства разрушения, а не созидания; средства остановить историю, прекратить время.

Уран, элемент, названный именем оскопленного бога, бога-до-времени, уступившего место Кроносу и своим исчезновением сделавшего возможной смену поколений богов, — уран, бесплодное вещество, не могущее дать начало вещи, не могущее отлиться в постоянную форму, как медь или железо; уран, открытый Мартином Генрихом Клапротом в год начала Французской революции, в год взятия Бастилии и принятия Декларации прав человека и гражданина, — думал ли немецкий натурфилософ, что черное вещество из его пробирки будет весить на весах истории столько, сколько не весило все добытое человечеством золото? Что ради этого вещества проложат дороги, устроят рудники? Слышал ли он в звуках того года подземные толчки, провозвестия будущих революций, — и той революции, которая поднимет красное знамя Французской?

Чтобы попасть в ущелье, нужно было пройти мимо брошенных цехов и недостроенной обогатительной фабрики. То было место, где окраина города смыкалась с территорией комбината и возникала ничья земля, где не обретались даже бродяги-бичи и одичалые собаки; если от развалин цехов и домов по краю города веяло запустением, то здесь, казалось, распадается, полнится кавернами само пространство.

Повсюду были кострища, ржавые мотки корда — металлические кишки шин; пятна ржавчины, заваленные набок цистерны, смятые вышки ЛЭП, куски железа, выкрученные, согнутые, словно нарезанные великанскими ножницами; развороченные колесами грузовиков колеи, будто кто-то нарочно терзал землю. Среди остовов барачных, как обрубленные осколками деревья из военного сна, торчали стояки канализации; из позабытых скважин бессмысленно била многометровыми фонтанами вода. Там не было даже обычного мусора

— банок, бумаги, оберток, объедков, — только остатки бывшего жилья, покореженный металл и убитое дерево.

Я не смог идти через этот разор; тут, на стыке города и промышленной зоны, вдруг обнажилось все, что в других здешних местах было отчасти скрыто, замаскировано архитектурой и пейзажем; страх вызывало не это изувеченное пространство само по себе, а реальность внутренней жизни тех людей, чьими не сказать усилиями или стараниями, наоборот, неделанием усилий, неприложением стараний оно было порождено.

В отвратительной отверстости этой свалки свалок — не в смысле превосходной степени, а именно в том смысле, что здесь возник мусорный конгломерат из множества частей, на них, однако, обратным ходом не делящийся, — как бы открывалась повсеместно присутствующая изнанка человеческого сознания; и нельзя было сказать, что кто-то виноват, кто-то недосмотрел, недоглядел, мог бы все сделать иначе — если эта свалка свалок была действительностью, значит, существовало то анти-зрение, то попадание на волну распада, после которого невозможно по-библейски вернуть человека к утраченной способности видеть: иди и смотри.

Когда-то в этом месте располагались лаборатории нескольких геологических институтов; от них и сохранились остовы барачков, все прочее же растащили, когда лаборатории закрылись. Среди колотого, обгоревшего шифера еще валялись куски керна — длинные цилиндры горных пород, поднятые из глубины скважин. Обычно их раскладывали по специальным ящикам метр на метр, и так, по метровым столбикам керна, можно было «прочитать» всю вертикаль скважины, построить срез пластов, через которые она проходит. И вот этот брошенный керн, зарастающий лопухами, бессмысленно вынутый из земли, с больших глубин, — он показывал, что люди ушли отсюда, как бы отрекшись от своего дела, бросив его небрежно и поспешно, и в пустоте, образовавшейся с их уходом, завелась другая жизнь: так прорастает на развалинах растение-вьюнок.

Глядя на керн, я вспомнил историю, которую передавали как байку; когда-то, в восьмидесятые годы, в Министерство геологии обратился проситель, специалист-буровик на пенсии: у него был проект использования части отработанных скважин, которые, как правило, заливали цементом, чтобы не смешались подземные водные пласты.

Проситель предложил превратить скважины в кладбища: хоронить в них покойников, вертикально опуская одного за другим на глубину; разных скважин по всей стране бурились тысячи, и в пояснительной записке указывалось, что совокупный их метраж, «полезный объем» позволит десятилетия использовать их для захоронения, высвободив, как скрупулезно отметил проситель, рабочую силу, кладбищенских землекопов и гробовщиков, для иных государственных — слово «государственных» было набрано прописными буквами — нужд.

В приемной видали разное: почва эпохи давала дикие всходы мысли, подавленная энергия переустройства и преобразований находила выход в аполитичном и в этом смысле безопасном техническом изобретательстве. И чем медленнее текло время, тем больше появлялось мнимых изобретений, отрицающих законы науки, отменяющих их одним желанием изобретателя, желанием столь очевидно нелепым и столь страстным, самозабвенным, что за ним виделось нечто уже не из области науки; люди хотели хоть что-то переделать, переменить, и законы естественных наук казались в этом смысле более податливыми, чем законы общественного устройства. Но проситель с проектом скважин-кладбищ поразил всех; и вот теперь, стоя перед брошенными ящиками керна, я чувствовал, откуда пришел этот человек, какая среда так помутила его разум.

Чтобы обогнуть участок разоренной, ничейной земли, я решил пойти по железной дороге, ведущей на рудник; над насыпью разносились женские голоса; слов еще не было слышно, но угадывалась интонация. Голоса эти не исходили из какой-либо точки — воздух звучал ими, словно они содержались в нем как взвесь или пар.

Две женщины устало говорили о чем-то. И по одной только звуковой картинке, по звучанию тех междометий, которые живут в произнесении гласных, как бы эмоционально на разные тона подсвечивая слово изнутри, — аа, уу, оо, — можно было понять, о чем разговор. Я подошел ближе, и стали ясны фразы. Валера вчера мне сказал... Сосисок съел... А мне спать с ним, пьяным... Дети в другой комнате... Наволочку окурком прожег... С утра опять принялся... К дочери стал ломиться...

Слова относились к человеческому быту, но казалось, их произносит окрестность; две женщины-диспетчера сидели в

километрах друг от друга в будках около переездов, был перерыв, составы с рудой не ходили — и они говорили друг с другом по громкой связи. Их никто не мог подслушать — некому; день за днем они беседовали, и казалось, что ближе — среди знакомых, соседей — тут собеседника не найти.

Может быть, эти разговоры велись годами — и годами не менялись; в дождь, в пургу, летом или зимой женщина произносила — «Наволочку окурком прожег...» — и это всегда были одна наволочка, один окурочок; а подруга ничего не отвечала ей, слушала.

Вокруг насыпи были видны все те же развалины, все та же выбитая земля, и беседа женщин не контрастировала с нею, не резала слух, как режет его разговор о домашних делах, отсылающий к дому — к небытовому смыслу стен, крыши, очага, ведущийся среди разоренных построек. Наоборот, здесь мог звучать только такой разговор.

Безгласное существо находится только в страдательном залоге, в неразрывной связи причин и следствий; речь может вывести человека за рамки этой связи; слово позволяет ему не быть безропотной материей, все принимающей, всему подчиненной. А тут и люди, и место оказались в том самом страдательном залоге — и не могли перемениться.

Голоса доносились из репродукторов на столбах, и казалось, что слова говорят сами себя, и уже нет собеседников, будто это запись, пленка, поставленная на повтор в пустой диспетчерской.

В ущелье было пасмурно, за вершины гор зацепились низкие облака; дождь не шел, но ощущение было такое, что капли уже летят — они просто еще не достигли земли. Колеи старой дороги заросли, мосты через речку разметало напором воды; узкая стежка, натоптанная в колее, показывала, что сюда ходят за грибами или ягодами. Вода в речке была горная, слишком прозрачная, слишком чистая — такой не напьешься в жажду, нужно подсолить или подкислить; в зарослях черничников зрела неспелая еще ягода; язвы промышленных зон комбината были в полукилометре, но здешняя природа была стерильной, нетронутой, еще десятилетие — и старой дороги уже не найти, ее скроет березняк.

Лагерь открылся за поворотом долины; часть зданий построили из речных валунов, и теперь они казались пародией на средневековую архитектуру; двухэтажные, приземистые, без крыши, с узкими, чтобы

беречь тепло, окнами. Деревянные постройки давно сгнили или были сожжены, уцелели только столбы линии электропередачи с покосившимися поперечинами, но глаз не узнавал в них креста, не мог опознать символического значения — столбы и столбы; так же и все эти постройки — я вдруг осознал, что человек, не знающий, что это был лагерь, никогда не поймет, что он увидел.

Ни каменная кладка, ни черные проплешины в тех местах, где сваливали уголь, ни брошенные на склоне вагонетки, ни отвалы штолен — ничто само по себе не было свидетельством. Даже моток колючей проволоки, в котором, как в силке, запутался когда-то заяц, — грызуны постепенно растаскивали выбеленные, мелкие, словно ссыпанные с тарелки, косточки, — был просто мотком колючей проволоки. Чтобы «размотать» его, как разматывают нить из клубка, вытянуть за этот кончик все целокупное прошлое, весь облик этого места шесть десятилетий назад, и не только облик, но суть происходившего здесь, — нужно было все-таки что-то заранее знать, нужно было какое-то водительство.

Я ходил по лагерным мастерским — там сохранились топчаны-верстаки, по компрессорной, откуда тянулись наверх, к штольням, ржавые трубы; все, что я нашел, была пуговица — самодельная, выточенная из консервной жести пуговица; понятный и одновременно бессмысленный без одежды предмет. Также и с впечатлением, ощущением от места: оно было такой же пуговицей; настоящее, несомненное — и оторванное от чего-то главного, слишком малое, безнадежно потерявшееся.

Но сама пуговица в руке напоминала мне о чем-то; я вспомнил, что уже стоял в горах, на той же широте, только в тысячах километров восточнее, и смотрел на остатки лагеря в широкой седловине перевала, и так же наверх по склону тянулись ржавые трубы из компрессорной.

В пуговице были две дырки, проколотые шилом или гвоздем; я вспомнил гвоздь, который держал тогда в руках как свидетельство, что остается след, остается то, что скрепляло здание прошлого, и эти скрепы как особый материал всегда долговечнее самого здания. Но теперь в руках у меня был не гвоздь, а дырка от гвоздя; ситуация вывернулась наоборот. Я стал смотреть сквозь пуговицу, как в миниатюрный бинокль, и два ее отверстия вдруг совместились с двумя пятнами — с устьями штолен на склоне ущелья.

Мне не хотелось подниматься туда; но всякая темная дыра в земле привлекает к себе, словно она — ход в изнанку мира, дополнительную к трехмерности. К тому же я помнил о цели прогулки в горы: в штольнях добывали минерал, из которого потом извлекался уран.

Обезображенная ничейная земля, рассыпающаяся речь двух женщин на железной дороге еще не стали пусть и близким, но воспоминанием, еще были включены в момент настоящего, и месторождение, откуда исходило это оскуднение, обеднение, разубоживание, притягивало, как притягивает взгляд сбитая собака на обочине, в чьих вываленных кишках ползают мухи; притягивало — в воображении — некой честной открытостью уродства. Увидеть не последствия, а первопричину, увидеть, как выглядит самое нутро распада — войти!

Я поднялся к штольням; когда-то они были завалены камнем, закрешены сваренными рельсами; но вода, текущая из них, проточила дорогу, устроила обвалы, и в штольни можно было проникнуть. Я думал, что встречу средоточие опасности, исток той мути, что

наполняла окрестности; ничего этого не было. Подземелье сперва вообще не оставляло никакого впечатления; затем я понял, что напрасно ищу чего-то заметного, явного; здесь важнее что-то другое, но что?

В таких заброшенных штольнях, где нет ни тяги, ни стороннего дуновения, обездвиженный воздух со временем теряет текучесть, становится похож на застывший бесцветный туман: с каждым твоим вдохом в нем возникает пустота, ямка, и чтобы что-то вдохнуть еще раз, нужно сделать шаг.

Воздух распавшийся, истлевший: в нем вязнет голос, рассеивается свет, и только водяная пыль от капель, падающих с потолка, дает в луче фонаря радужные вееры, безрадостные, как крыло мертвой бабочки.

Чернота проникла в самый его состав, разъела его изнутри, как ржа разъедает железо: тронь — рассыплется. Кажется, каждая молекула, каждый атом заключены в оболочку черноты, они не видят друг друга; и ты вдруг чувствуешь, что воздух — слеп, как бывает слеп человек от внутреннего разлада: связность мира для него в этот момент непостижима.

То, что я искал — я вдыхал; мне подумалось, что надо было прихватить с собой респиратор. Этим воздухом никто не дышал много десятков лет, и в нем, как штаммы вирусов в лабораторной колбе, сохранилось все то, что тогда, в прошлом — я не отказал себе в незамысловатой игре слов — носилось в воздухе; сохранились не мысли, не голоса, а некий яд эпохи, вытяжка разрушения и разложения. Я наполнял легкие тем, чего нельзя касаться человеку; дыхание перехватило, словно я увидел, что мясо, которое я ем — гнилое, в нем не черви, но личинки червей, что еще отвратительней: личинка превратится в червя уже в твоей плоти.

Я закурил, чтобы крепким запахом табака отогнать этот морок; ни потусторонних шепотков, ни ощущения чьего-то присутствия, только воздух, пустой, ничего не сохранивший, кроме тлена — и время, потому что я понял, что эта штольня — погреб, где хранится воздух номерного, как номер 3/к, года.

Время здесь не остановилось — в слове «остановилось» есть зафиксированный момент конца движения; оно словно никогда и не шло здесь, оно стояло, как вода в черных пещерных протоках, где

движутся только белесые рыбы. Мне показалось, что если штольно наклонить, как бутылку, этот воздух, это время потечет наружу, но не смешается с временем дня сегодняшнего: они не узнают друг друга в качестве настоящего и прошлого.

Выйдя обратно на свет, я услышал гул вертолета. «Ми-8» местного авиаотряда сел невдалеке от развалин каменных бараков; из него стали выходить люди — не люди, а цветные пятна, столь яркие, что излучение цвета скрывало очертания фигур; желтые, красные, фиолетовые, голубые, изумрудные, синие, оранжевые куртки, брюки, рюкзаки, шапки; они двигались так, как специфически ходят люди с фотоаппаратами и видеокамерами, заранее ищущие, с какого ракурса делать снимок и куда встать самому на будущей карточке; они разошлись, мысленно разрезая долину этими ракурсами, и ни один не смотрел под ноги. Ветер донес до меня английскую речь; если в городе я бы опознал ее как иностранную, то здесь, в ущелье, она казалась чем-то еще более отстраненным, дважды нездешним, как если бы, например, люди, по-чужому говорящие, решили подражать голосам тропических птиц.

От вертолетных сопел тянулись струи тепла; иностранцы — их привезли на экскурсию, в городе я видел объявления «тур по лагерям» — ходили в бахилах и старались не прикасаться к земле, к строениям, наверное, их запугали радиацией. И я стоял на склоне горы, у штолен, как дикарь, увидевший посадку космического модуля; цвета одежды были из другой, полноцветной жизни, и мне хотелось кричать, что сюда нельзя прилетать на вертолете, нельзя высаживаться на час, чтобы пофотографировать и подобрать сувенир, заранее подобранный организаторами тура. Если бы было оружие, я бы выстрелил, прогнал бы их, а так оставалось только смотреть — и понимать, что, вопреки духу нынешнего времени, утверждающему уже не равенство, а тождество людей, есть неодолимые преграды, есть нестираемые различия, глубже различий в вере, культуре, достатке; цветные куртки отталкивали окрестность, защищали от ее бесцветья, и я увидел — через цвет, — что мы рождены в разные времена, хотя хронологически они совпадали. И вот это различие — между рожденными в одни годы, но в разные времена — было столь сильным, что вызывало отторжение. Две женщины на железной дороге, трое вчерашних бандитов были ближе мне — дело не в том,

что нас окружали одни и те же реалии жизни, а в том, что мы были порождением этих реалий, несли в себе их изъян и могли говорить на языке изъяна; а люди в цветных куртках с фотоаппаратами были целостны и в этом смысле — отчуждены.

Вертолет скоро улетел; я пошел из долины вниз, вниз, вниз, по камням, по руслам ручьев, и мне показалось, что теперь предстоит только спуск — по таким же высохшим руслам, хрусткому мху — вниз, вниз, вниз.

Часть пятая

Городское кладбище, где были похоронены жена и сын Второго деда, оказалось просто куском земли среди тундры. Могилы, ограды, кресты, не осененные листвой, представляли взгляду так, словно это больных в кроватях с высокими металлическими спинками вынесли под открытое небо; кладбище без деревьев, без кирпичной стены вокруг казалось каким-то шанхайчиком, повторяющим скученность гаражей и сараев. Причем было ощущение, что это сами покойники стали привычно обустроиваться на новом месте, и в результате вместо регулярного порядка кладбища возникло стиснутое скопище могил; как на нарах в бараке жмутся друг другу, греясь, как набиваются с узлами в общий вагон, пока не треснут ребра, — так же люди хоронили и сами ложились потом в землю.

На краю кладбища прилепилась церковка; красный ее кирпич, еще не успевший потемнеть, напоминал о нескольких особняках на въезде в город, где жило начальство комбината; если бы не купол, ее можно было бы принять за еще один такой особняк, да и строила их, наверное, одна бригада; церковь была понята — заказчиками, архитектором, строителями — как особняк Бога, а Бог — как авторитет федерального значения, к которому приходят за советом, за «разбором по понятиям»; было что-то несуразное в том, что для церкви не нашлось другого кирпича, что ее поставили, как сторожевую будку, не остановившись душой на точном и правильном месте, и потому при взгляде с любой точки кладбища церковь вжимали в землю, уничтожали своей мощью полосатые, в цвет арестантских роб, трубы комбината, извергающие вулканический дым, и на их фоне пропадали и крест, и золоченый купол.

В хаосе могил все-таки выделялся один участок, где могильные плиты были повыше, помассивней; среди низеньких, ушедших в топкую землю оград и проржавевших крестов стояли прямоугольники черного диабаз, который везли сюда по железной дороге; надписи на диабазе были золочеными. Здесь хоронили начальство; из овальных рамок смотрели мужчины в мундирах и пиджаках, полковники, главные инженеры, доктора технических наук — смотрели друг на

друга, потому что плиты их могил были составлены в воображаемый круг, и ни одна траектория взгляда не могла выйти из него.

Низкие тучи принесли июньскую пургу, и черный от дыма труб снег падал на могилы, черный снег. Казалось, что с небес сеется сажа давнего пожарища; потом трубы изрыгнули дым цвета киновари, и снег стал темно-красным, он расплывался на лице, пятнал кладбищенские тропки; из сторожки выбежал человек — он схватил меня за руку и втащил под крышу; киноварный снег мог быть опасен, но мне это было неважно.

Тундра вокруг кладбища покраснела, будто из земли выступила разжиженная талой водой кровь; красная вода текла по рукам, по лицу; цвет кирпичной пыли, окалины с сизым оттенком пороховой копоти разбрызгался по пейзажу, окрасил горы и небо, и памятники кладбища стали островками в половодье этого цвета. Умом я понимал, что это просто случайность — снеговой заряд, попавший в дым из труб, напитавшийся им; но по тундре бежал ставший красным полярный заяц, бежал петлями, уходя от мнимой погони, от сумасшествия красного цвета, и получалось, что он несется по кругу; заяц спасался от красной пурги, не зная, какого цвета он сам, прыгал в сторону, сбивая со следа гонящихся, уходил низинами и снова выскакивал на гряды.

Наконец заяц изнемог и лег на землю в мшаной ложбинке; было видно только его уши. И я осознал, что бессмысленно бежать, как этот заяц, если видишь красную воду на своих руках; бессмысленно говорить, что это просто выбросы комбината, если наитием знаешь, *о чем* этот красный снег; ты окликнут, и ты можешь только вчувствоваться в собственное потрясение, пройти его путем — не пытаясь понять, разложить на составляющие, — нет, именно вжиться в потрясение до того предела, за которым цвет уже не имеет названия, снег не имеет названия, за которым останавливается внутренний оборот слов. Только тогда этот красный снег, заметающий кладбище, станет чем-то более глубоким, чем образ, чем метафора, — станет открывающейся дверью, ходом в пространство возрастающей судьбы; внезапно по памяти я повторил строки из «Гильгамеша», его ответ человеку-скорпиону:

В тоске моей плоти, в печали сердца,
В жару и в стужу, в темноте и во мраке,
Во вздохах и в плаче — вперед пойду я!
Теперь открой мне горные ворота.

Повторил — и еще успел поразиться, что нет временных различий для такого рода состояний, которые безошибочно узнаются, когда они уже есть внутри тебя. Нет ни сомнений, ни борения, ни готовности, ни решимости — только понимание, снимающее выбор, развилку, отменяющее второй путь; и тогда ты в полноте своей свободы говоришь в ответ на «Ты войдешь и больше оттуда не выйдешь» — «Теперь открой мне горные ворота», говоришь так потому, что вдруг осознаешь: все другие, кто входил, входили со страхом в сердце, входили не своим путем, ведомые ложными причинами, от долга до тщеславия, а ты тот единственный — в смысле жизненной точности, а не в смысле избранничества, — для кого этот путь верный согласно направлению внутреннего пути, пути жизни.

Красный снег падал над тундрой до Ледовитого океана; земля была красна, а вода поглощала его, и темные зеркальные реки текли невозмутимо; красные капли срывались с проводов, в карьере снег таял на камне, по трещинам и расселинам бежали красные ручьи, словно здесь подсекли кровеносные жилы земли и добывали эту земляную кровь; на буровых, похожих силуэтами на лагерные вышки, в устьях скважин проступала розовая пена, и газовые факелы над тундровыми пустошами становились алыми; бензопила на лесоповале разбрызгивала красные опилки, и лопата канавщика уходила в пустоту, где что-то липко хлюпало; под досками рухнувших барачков просыпались от полувекового сна клопы, и медведи, чьи предки лоснились когда-то от съеденной человечины, вновь приходили к отвалам шахт, с которых сбрасывали расстрелянных; человеческая кровь текла в проводах, в древесных стволах, в артериях зверей, в пустотах земли, словно мир стал одной кровоточащей опухолью, сплетением кровеносных сосудов, и только реки — реки текли невозмутимо.

Потом красный снег растаял до конца; в голове тонко звенело, словно лопнули от напряжения струны-капилляры. Мы вышли наружу.

У сторожа левая рука была искусственной, а необмятые, слишком гладкие ботинки выдавали, что и вместо ног протезы; морщины на его

лице были глубокими и застарелыми, кожу уже нельзя было разгладить пальцами, чтобы побриться, она запеклась, как на месте ожога, и неровная седая щетина торчала из нее; худой, когда-то очень высокий — с него начиналась бы любая шеренга, выстроенная по росту, — человек этот был теперь согнут, и горб на его спине казался зачатком второй головы; глаза его были словно с другого лица, от другого тела: жизнь утомила плоть, но в глазах, в их покрасневших, изъязвленных белках, существовало нечто бессонное, помнящее, всегда бодрствующее, но ничего не ждущее.

Сторож — этот человек был им не по профессии и не в силу призвания; он был, если так можно выразиться, сторожем без глаголов: он не сторожил, не охранял, не исполнял обязанностей, положенных сторожу, но тем не менее им был — в ином смысле.

Когда кладбище еще было лагерным, его, инвалида, а в вольном прошлом — каменотеса и мастера гравировки по камню, приставили делать памятники; десятки лет он высекал имена, фамилии, звания и должности, словно был служителем загробного отдела кадров; он вел свой учет тем, кто посадил его и охранял, вел свою книгу жизни и смерти — кипу листков в картонной папке «дело №...», куда вписывал всех покойников.

Потом, когда город уже стал больше лагеря, окончился его четвертьвековой срок, но он остался; гравер говорил, что ему некуда возвращаться, что было правдой, но истинной причиной было другое: он сросся с кладбищем, привык стоять у его ворот, сгорбленный, оглохший от визга пил по камню; бывшие лагерные чины уходили на пенсию, и рано или поздно, с выстрелами почетного караула или без, с орденами на подушечках или без них, чинов опускали на веревках в неподатливую, каменистую землю, где на глубине метра лом ударялся в лед вечной мерзлоты; гравер брался за свой инструмент, выбивая на камне годы жизни.

В нем осталось не слишком много плоти, треть его тела состояла из металла, дерева и пластмассы — гравера ценили и лечили на совесть; та плоть, что уцелела, пропиталась пылью камня и абразивных кругов, каменная пыль была в его легких, он стал почти минералом, как те погибшие в соляных копиях горняки, чьи тела, ставшие соляными образованиями, находили спустя десятилетия. Его и звали — Петр, камень, и он подлежал уже не физиологии, а петрографии — науке о

горных породах. Всю жизнь больше знавшийся с камнем, чем с людьми, он изучил его медленную силу, силу давления, выгибающего горные пласты, силу подспудных копящихся напряжений; он обратил эту силу на себя, превозмог слабость ожидания и превзошел натугу терпения; он был просто кладбищенским каменотесом, жил при кладбище, и даже в глубокой старости буквы на камне ложились у него ровно и точно.

Зрение, глазомер гравера словно установили ту же точность внутри него самого, требовательные к верным начертаниям буквы подчинили тело служению линиям; может быть, он и выжил лишь благодаря этим буквам, благодаря их графике; он стоял как бы на двух границах сразу — на меже жизни и смерти и на том пределе, где незримое слово становится зримым, уловленным в графические сгустки букв; буквы стали его лагерной пайкой, и не скудные калории питали его — он кормился от алфавита, и в практическом, и в духовном смысле. Он жил, не помышляя о мести, жил единично и одиноко, и жизнь его длилась, пока оставались еще на свете те, кто состоял в лагерной охране; он встречал их у кладбищенских ворот, как они когда-то встретили его у лагерных; он стоял на заемных ногах из железа и дерева, а они лежали на спине, и ноги их были переобуты в ботинки, заранее купленные для похорон. Не месть владела им, не ощущение свершающейся справедливости — он просто смотрел, как они уходят вереницей, растянувшейся на годы, уходят, будто прожили обычные жизни, были обычными людьми — и он, обязательно он должен был выбивать цифры, прощальные слова жен и детей на их могильных плитах, чтобы содеянное ими и уже почти забытое, не ставшее виной, не породившее ни покаяния, ни искупления, все-таки закрепилось, утвердилось как нечто действительно бывшее; утвердилось не в памяти людей, а именно как не зависящий от памяти, от «размноженности» в воспоминаниях факт бытия.

Достаточно одной зарубки, одной меты, чтобы нечто не исчезло. Нужен лишь один человек, который возьмет на себя труд памяти; помнить — означает быть в связи с реальностью, даже иначе — самому быть этой связью; не мы удерживаем в воспоминаниях реальность прошедшего времени, а само прошлое, когда-то сцепившееся, сложившееся по-живому, говорит памятью человека, и речь эта ровно настолько ясна, насколько сам человек не лжив не в

смысле намерения следовать правде, а в смысле абсолютности позволения говорить собой.

На заднем дворике мастерской гравер пытался сделать памятник своим давно умершим товарищам; но насколько точна была его рука в графике алфавита, настолько же он был не способен верно передать пропорции человеческого тела; он уподоблял его букве, накладывал ее на тело как мерку, но тело выходило изломанным, растянутым по воображаемым осям, будто бы распятым на этой букве; незаконченные статуи лежали у стены, как трупы расстрелянных, и это, наверное, и был памятник, полностью отвечающий времени и событиям, — памятник, существующий во множестве попыток, но так и не случившийся; памятник, который никто не увидит.

Я объяснил граверу, чью могилу искал, и он отвел меня к небольшой впадине, похожей на безгубый рот земли. В тех краях вечная мерзлота могла исторгать из себя кресты и памятники, как выталкивает она сваи домов, могла оставаться безучастной, а могла, наоборот, поглотить могильный холмик. Я вспомнил ту фотографию, где Второй дед выворачивал лопатой ком земли на закладке карьера; и снова вернулся к чувству, которое испытал, глядя на нее: лопата входит в грунт — и уже поздно заваливать эту выемку, отрезаться, отказываться, говорить какие-то слова; события сцепились так, что не расцепить, не прекратить действие рока. Поэтому и на месте могилы был прогиб поверхности земли, как бы повторяющий — в одном из множества мест — воронку карьера, начатую Вторым дедом.

Гравер рассказал мне, что с одним из этапов в лагерь пригнали сумасшедших: в доме-интернате, где они жили, отвели место под участок для голосования, потому что сельская школа, где обычно голосовали, накануне сгорела вместе с колхозной конторой. Сумасшедших, конечно, заперли, однако ночью они пробрались на участок и посрывали плакаты, чтобы повесить их у себя в палате. Один плакат порвался, и его спрятали в нужнике; это оказался портрет Сталина.

Обо всем этом граверу поведал санитар из того дома, отправившийся отбывать срок вместе с сумасшедшими. Они не помнили имен, не отзывались на поверках, и санитар был ценным работником: он отвечал за всех, соединив в себе фамилии трех десятков человек. Сумасшедшие оказались замечательными рабочими,

лучшими, может быть, рабочими на закладке карьера: они не знали, что где-то есть воля, не завидовали, что кто-то получает большую пайку, не старались обмануть, сделать меньше, прикинуться большими; через лопаты и ломы, через единство действия и формы — так же их учили пользоваться ложкой — они обрели малую толику разума, достаточную, чтобы слиться с инструментом, самим стать инструментом. Черенок лопаты, стержень лома стали их опорой, их земной осью в мире, и они копали, рубили камень кайлом, долбили дыры под взрывные шпурсы, целиком отдавшись труду, полностью заместив им собственное существование. Их так и звали — Лом, Лопата, Тачка, и они вскоре начали отзываться на эти клички.

Постепенно бригаду сумасшедших стали выделять, подкармливать — ни с одной другой бригадой начальству не было так удобно, — и офицеры охраны шутили даже, что опыт следует распространить, арестовать психов по всей стране: где еще возьмешь таких послушных рабочих? Заключенные прозвали сумасшедших Безумной бригадой; хорошо еще, что начальству хватало разумения не ставить выработку сумасшедших в пример другим — тогда бы их просто поубивали, а так — срывали раздражение, издевались, но всерьез не трогали.

Офицеры, предлагавшие арестовывать психбольных, не знали — все дело было в санитаре; это он интуитивно понял, что повторяющиеся действия простой работы с землей могут помочь этим людям хоть частично вернуться в мир, и еще там, в доме-интернате, годами учил их работать, сначала в четыре руки, как учат играть на рояле, потом, когда действие медленно осмыслялось, — самостоятельно. Среди сумасшедших был брат этого санитаря, говорили, что это наследственное, и он пытался спасти брата, упреждая собственное вероятное безумие; он сумел укоренить в своих подопечных, увязав их с памятью тела, навыки простого труда; но теперь его задумка обернулась уравнением человека и инструмента.

Несколько сумасшедших были бесконвойными — бежать из этих краев можно было, только имея намерение бежать, здесь нельзя было заблудиться, где-нибудь по случайности пропасть, и сумасшедших отпускали легко; этих людей разбирали по домам начальства пилить дрова, носить воду — всем нравились рабочие, рядом с которыми можно было чувствовать себя еще более значительным человеком, чем рядом с обычными зэками; к тому же они не умели ненавидеть

начальство, конвой, их семьи, и рядом с сумасшедшими те отдыхали, как отдыхают с собакой или кошкой — в покровительственности и покое.

Приходили сумасшедшие и на квартиру ко Второму деду; его семилетний сын, родившийся около лагеря, ничего, кроме лагеря и лагерного народа, не знавший, неожиданно привязался к ним; один из сумасшедших, чье имя гравер не помнил, был когда-то резчиком по дереву, отцом большого семейства; два или три года он не видел детей. Не сказать чтобы бывший резчик проникся чем-то к мальчику, сыну лагерного начальника, — способность проникаться и переживать он утратил, но пальцы мастерового человека жили своей памятью и вырезали осколком стекла — ножи и бритвы не водились у Безумной бригады — деревянную птичку-свистульку, вырезали машинально, безучастно, словно всякому ребенку — резчик мог еще распознать малый рост — было положено иметь такую птичку.

Сын Второго деда, живший без игрушек, — все дети лагерной охраны росли так, и даже обычных детских игр вроде казаков-разбойников они почти не знали, они играли в работу своих отцов, в конвой или в солдат на вышках, — вдруг оставил своих сверстников; птичка-свистулька, нехитрая поделка, что-то заронила в него. Нет, он не увидел по-настоящему тот мир, в котором родился и вырос, не повзрослел достаточно, чтобы пожалеть арестованных, почувствовать, кто есть его отец; игрушка лишь открыла ему, что бывает иная жизнь, где возможно легкое пение воздуха; в тундре нет певчих птиц, и мальчик никогда не знал, как поют соловей или жаворонок, как и не знал, что у людей есть песни: за семь своих лет он слышал несколько раз лишь патефонные пластинки и думал, что пение — это работа ящика с ручкой и трубой; ящик умеет петь человеческим голосом, он для этого создан, а люди петь не могут.

Губы, касающиеся звучащего отверстия, выдох, рождающий звук, — мальчик словно иначе задышал, какие-то силы его существа, неостребованные, дремавшие, пробудились к жизни; он стал чаще уединяться, сам сочинил простые мелодии и высвистывал их, будто сам себя завораживал, снова и снова вызывая изнутри то незнакомое, что возникало в нем.

Как говорил гравер, было даже что-то жутковатое в том, как мальчик привязался к свистулке; гравер вспомнил тогда легенду о

гамельнском крысолове, о детях, уведенных звуком флейты; сумасшедший резчик, сам, может быть, того не желая, сделал странный и страшный подарок. Он был родом из глухомани, из мещерских лесов и болот, которые не сумели осушить три поколения ирригаторов, царских и советских; в доме-интернате он, убегая от санитаров, собирал по окрестным лесам древесные наплывы, капы, чагу и вырезал из них всегда одно и то же: кривляющиеся, искаженные, как в изогнутом зеркале, морды леших, и нельзя было сказать, что резчик их выдумывает — он высвобождал те обличья, которые уже были в дереве, словно лес и вправду был полон ухмыляющихся мшанных лиц, выглядывающих вослед человеку из-за стволов и лишь притворяющихся корявыми наростами, если он внезапно обернулся.

Мальчик, впрочем, не сходил с ума, а лишь все больше и больше времени проводил один; иногда он бездумно шел куда-то, словно свист певучей игрушки протягивал одному ему видимую путеводную нить, и во всем его облике проступила какая-то нездешность, словно он тут случайно и надолго не задержится; появление птички-свистульки как будто приостановило его рост, забрало силы роста, которые всегда даются детям с большим избытком, с запасом; эти силы, казалось, истощались в тщетной и повторяющейся попытке вдохнуть жизнь в деревянную птичку, живущую чужим дыханием.

Наконец Второй дед заметил, что с сыном что-то неладно; заметил поздно и с тем большим напором стал действовать. Мальчик ничего не мог объяснить отцу — у детей нет языка для изъяснения внутренних состояний, — а если и мог бы, то что бы он сказал Второму деду: что его приворожила игрушка, сделанная сумасшедшим заключенным? Второй дед все равно — благодаря товарищам мальчика — дознался до свистульки и ее отобрал; он выяснил, кто ее изготовил, и вызвал к себе с конвоем безумного резчика; тот уже ничего не помнил о подарке, не помнил и о мальчике, а пальцы его ощупывали древесину начальнического стола, словно резчик примерялся, что выйдет из такой толстой дубовой плашки, если ее распилить и пустить на мелкие поделки.

Второй дед, в меру своего понимания, решил, что резчик только симулирует помешательство, что он достаточно разумен, раз зачем-то пытался подкупить ребенка, сына начальника лагеря; в такие моменты

он становился изощренно-жесток: ничтожный безумец посмел думать, что способен найти себе выгоду, через сына управлять его, Второго деда, волей.

Он отправил резчика на дальний лесной участок, где заготавливали крепь для будущих шахт. «Пусть работает с деревом», — сказал Второй дед, зная, что на лесоповале сумасшедшего вскоре зашибет упавшим стволом; он мог бы просто приказать расстрелять резчика, но это было бы прямым убийством, а Второй дед любил поступать так, чтобы его приговор свершался как бы самым ходом событий, силами природы, отсроченно и отстраненно: не личное его, Второго деда, намерение послало человека на смерть, а виновный попал в водоворот судьбы, из которого не выбраться.

Сын Второго деда не знал, что случилось с резчиком; когда отобрали свистульку, он тяжело заболел. Неделью мальчик лежал в сухом жару, тело его напряглось и закаменело; порой он вскрикивал, борясь с чем-то в полубреду. Фельдшер рассказывал, что лицо ребенка так резко и дико менялось, будто в мальчике спорили два разных человека, то один, то другой попеременно проявляясь в лице. В одном явно проступала жесткая порода Второго деда, родившегося в деревне у меловых скал над рекой, где почва была настолько пропитана известью, что на ней росли лишь вишни, а другой был младенчески нежен, неясен обликом, словно пришел в мир, не имея за собой череды предков, чьи черты определили бы его лицо, пришел первым, новым, и тот, в ком текла кровь Второго деда, густая, тягучая, как сок, выступающий на стволах вишен, передававшаяся из жил — в жилы, пытался вытеснить этого младенца из тела мальчика, изгнать его, вытолкнуть, как птенца из гнезда.

Через неделю наутро мальчик проснулся здоровым, но похудевшим и почти беспмятным; казалось, что многие воспоминания не выдержали жара болезни и развоплотились, а может быть, то развоплотилась часть его души, самая тонкая, чистая, детски податливая; он выздоровел и забыл про птичку-свистульку, но стал каким-то остроугольным, деревянным в движениях, словно в болезни истощилась живость, дающая слитность телу, и всякая ссадина, всякий ушиб долго не сходили теперь с его кожи.

Он вернулся к сверстникам, но как-то по обязанности возраста — дружить с другими мальчишками; он играл с ними безучастно, без

азарта, и только прятки отвечали новому его самоощущению: водил он плохо, рассеянно, а вот прятался так хорошо, что, кажется, и не прятался вовсе, не имел намерения спрятаться — просто пропадал в какой-нибудь щели, как закатившийся между половицами пятак, и в конце концов, когда водящий не справлялся, его принимались искать гурьбой, но находили лишь случайно. Мальчик словно перестал *хотеть быть*, приблизился по внутреннему состоянию к старику; что-то самое важное перегорело в той болезни, когда Второй дед сидел у постели сына. Пропал дар, пробужденный птичкой-свистулькой, дар собственной, неподвластной никому другому жизни, о которой мальчик еще ничего не знал, кроме чарующего ее предвкушения; и мальчик внутренне опустел, стал легок, как обертка, и поэтому-то не прятался, играя в прятки, а проваливался в пазухи, пустоты, дыры мироздания, как случайная, не имеющая своего места вещь.

Второй дед не отступился от сына; он видел, что мальчик по-прежнему не в себе, и думал, что он долго — несоразмерно долго — изживает обиду за отнятую игрушку, и поступил так, как поступили бы большинство взрослых — решил возместить отнятое подарком, заслонить внутренний взгляд, обращенный на утрату, чем-то новым, значительным, ценным. Так действуют те, для кого все события в жизни примерно равнозначны, и одно легко изымается и замещается другим; привыкший именно так обращаться с людьми, Второй дед, вероятно, не знал, что бывает нечто необратимое не в силу физических свойств, как смерть или увечье, а потому, что самое существенное в отношениях случается в один момент, после которого всему дано основанное на доверии измерение будущего времени — или все уже навсегда запоздало.

Второй дед заложил карьер — и все стало поздно, город был обречен воронке; для их с сыном отношений этот момент — все уже поздно — тоже наступил, а он все размышлял, каким подарком поразить мальчика, как показать ему отцовскую щедрость, и наконец придумал дар со значением, такой, что он должен был определить юность и зрелость сына.

По приказу Второго деда перетряхнули бараки и нашли другого резчика, в здравом уме. Несколько месяцев он не выходил на развод, спал по три часа, выполняя заказ Второго деда; тот приходил иногда, проверял, советовал, оставлял махорки на пару самокруток: особо

приплачивать резчику не нужно было, его жизнь и так была в руках Второго деда, и резчик трудился, каждой стружкой, каждым движением ножа продлевая собственное существование — Второй дед мог послать его в землекопы, и пожилой мастер сгорел бы в месяц на вскрышных работах.

Но вопреки желанию жить, вопреки желанию угодить Второму деду работа не спорилась; заказ был поперек ремесла, поперек умений мастера: он должен был сотворить лагерь в миниатюре. Сколотить сапожным молоточком бараки с нарами внутри, поставить вышки, сделать вошебойку, оружейную, баню, склад, другие здания — все игрушечное, чтобы могло на специальной подставке поместиться на столе; вырезать из дерева и раскрасить конвойных солдат, овчарок, поваров, банщиков, всю обслугу, а главное — заключенных; сделать тачки с пуговицами вместо колес, ломы из мебельных гвоздей, лопаты из жести, котелки, печки; в помощь ему отрядили моего знакомого гравера, чтобы тот помог резчику в самых мелких работах. Гравер мастерила под увеличительным стеклом оружие конвоя, вытачивал из битой чашки фарфоровые изоляторы на столбы с тончайшей, колющейся, если коснуться подушечкой пальца, проволокой, а швея из вольных шила тулупы охране и бушлаты арестантам. Из ваты изготовили сугробы — разложить около лагеря; в нем предполагалась вечная зима, но электрик сделал тусклое, желто-масляное, прогорклое солнце из лампочки в двадцать свечей, которое двигалось бы вокруг лагеря на специальном рычажке, как ходит в тундре солнце летом, а не зимой — не скрываясь за горизонт.

Целая лагерная вселенная создавалась трудами резчика, гравера и швеи, но чем дальше они работали, тем больше в них, подневольных, крепло ощущение, что они делают нечто недолжное, почти запретное; нарушают какой-то неясный закон; резчик и гравер признались в этом друг другу и даже думали сжечь игрушечный лагерь, устроив пожар в мастерской, но страх не позволил; они видели, что Второй дед слишком ревностно относится к своей затее, он приходил все чаще, все дольше оставался, рассматривая игрушку, и казалось, он уже забыл, что заказал ее для сына. Второй дед выгонял резчика и гравера из мастерской, оставался там один, и они видели сквозь щель, как начальник лагеря, освещенный пламенем коптилок и бликами огня из приоткрытой печки, темный лицом, слишком рослый для низких

потолков, переставляет фигурки заключенных и солдат, замирает, как Бог над новосотворенной землей, и что-то решается в те мгновения, когда он молчит, курит, выпуская дым на игрушечные бараки, так что кажется, будто это дымят их трубы и дым относит сквозняком на ватные снега.

Спустя три месяца игрушечный лагерь был готов; Второй дед устроил смотр трудам мастеров. По рельсам из проволоки бежал заводной паровозик с груженными настоящей рудой вагонетками, дымя едкой копотью: внутри был устроен котел, где поджигалась смола; медленно шло по кругу электрическое солнце; землекопы могли сгибаться и разгибаться, охрана — прицеливаться из винтовок, а пасти игрушечных овчарок открывались, обнажая красный зев — швея не пожалела кумачового лоскута; игрушечный лагерь во всем повторял настоящий, и только одной фигурки не было среди игрушек — фигурки самого Второго деда, хотя в помещении лагерьной конторы стоял бюст Ленина величиной с наперсток, выточенный из собачьей кости — другой не было, — а на стене висел переделанный из почтовой марки плакат с профилем Сталина.

Второй дед решил, что подарок должен быть сюрпризом; близилась годовщина дня, когда карьер дал первую тонну руды, ее собирались праздновать. Второй дед очень серьезно относился к этим производственным юбилеям, они значили для него больше, чем дни рождения близких, чем другие праздники вроде Первомая. Обычно такую годовщину он встречал в лаборатории, где опробовали качество руды; однако решил изменить своей привычке.

Вечером Второй дед внес в комнату мальчика подарок; сын, как ему думалось, спал, и он расставил на столе игрушечный лагерь и накрыл холстиной, чтобы утром мальчик сам снял ее.

Утром же произошло иное: мальчика нашли дрожащим, забившимся в угол комнаты, завернувшимся в холстину; за окнами занимался первый снежный рассвет, солнце продавливало мутную пелену облаков, в небе возник водянистый, желтоватый волдырь света, и свет этот вливался в комнату сквозь прямоугольник окна, выделяя стол и подарок Второго деда.

Лагерь был сломан — весь, до последнего сочленения, до последнего паза, гвоздика, клейки, нитяного узла, проволочной скрепы; мальчик, кажется, трудился всю ночь, уничтожая игрушку,

вложил всего себя в этот труд уничтожения и теперь дрожал от бессонницы, усталости, страха. Пальцы его кровоточили, ногти были содраны, холстина запятнана кровью; он сумел разломать все бесшумно, молча, словно совершал главное дело своей жизни — не семи прожитых лет, а всей жизни наперед; он боялся, в комнате пахло мочой, он, может быть, сейчас до готовности навсегда отказаться от собственной воли желал, чтобы все вернулось назад, чтобы лагерь собрался досточка к досточке, но в комнату вступил рассвет, текучие ночью, предметы обрели конечные, твердые дневные формы, и даже воображение отчаяния не могло теперь воссоздать разломанный лагерь.

Второй дед отшатнулся с порога. Наверное, он меньше поразился бы, если бы катаклизм уничтожил настоящий лагерь, чем этому разрушению игрушки. Вероятно, в те вечера, когда он приходил в мастерскую, выгонял резчика с гравером и оставался с игрушкой один, он успел проникнуться собственным замыслом и, может быть, даже сохранил бы игрушечный лагерь у себя в кабинете, не будь в этой блажи — блажи в восприятии других — ощущения чужачества.

Этот уменьшенный лагерь, лагерь-копия действительно принадлежал Второму деду. Было что-то менее всего метафорическое в смещении масштабов, в оптическом увеличении собственной фигуры, что отвечало не плоскому самолюбию, а выражало истинные, как ему думалось, пропорции: Второй дед в его собственном представлении не был ни богом, ни неким владыкой, он был самим собой, был человеком, и то, что он владел жизнью и смертью других людей, не возомнив себя через это кем-то большим, лишь подчеркивало для него, что на самом деле он и вправду больше. Он дарил сыну игрушечный лагерь, чтобы тот причастился судьбы отца, принял свою — из его рук. Бараки за окнами дома, в какое ни выгляди, бараки на столе — Второй дед отправил сына в лагерь, исключив все, что не-лагерь.

Это можно было бы назвать преступлением против действительности; немного наивная формулировка, но она точно отражает суть и подлежит расширительному толкованию: очень многое, что делали Второй дед и подобные ему, было именно преступлением против действительности.

А действительность всегда мстит урезающим, упрощающим ее, отрицающим целостность ее многообразия; мстит — потому что не обладает волей, намерением, которые могут различаться от случая к случаю, — так же непреложно, сколь непреложны законы природы; мы только не всегда способны распознать некое событие как не случайное, а закономерное.

Мы ждем для преступивших законы жизни явного возмездия, но так устроено лишь людское правосудие, а кара самой жизни отнюдь не всегда воспринимается как кара. Другого, чем лишение человеческого, наказания у жизни нет, хотя в нашем понимании это не наказание.

Надо смотреть как бы сквозь событие — что оно делает с человеческим в человеке? Смотреть насквозь — лишь тогда мы поймем, что многие, кто видится нам безнаказанным преступником, уже покараны; приговор свершен прижизненно, и человек уже мертв. Этот приговор имеет мало общего с юридической справедливостью, которая выражается ощутимо, зримо — в ответном ущербе, и поэтому сердце, ждущее ясного и прямого возмездия, не способно прочесть букву и постичь дух такого приговора.

Сделав свой заказ мастерам, Второй дед, сам того не понимая, взвел тугую пружину; прежде он был начальником среди лагерных начальников, не лучшим, не худшим в том времени, чьей движущей силой была обезличенная канцелярская жестокость; он был так же обезличен, не выступал из общего строя, за него говорили, за него управляли его погоны и китель, а сам он был лишь носителем погон, чем-то второстепенным, второразрядным по отношению к собственным званию и должности. Но теперь он — не зря же мастера чувствовали, что делают нечто недолжное, — теперь он переступил пределы службы и увязал свою судьбу и судьбу сына с лагерем кровно, на жизнь и смерть.

Будь Второй дед проще, вспыльчивей, он, может быть, избил бы сына, изошелся в гневе, крике; но в его натуре гнев не выражался напрямую, а удерживался внутри, созревал, — пусть на то нужны были всего минуты; гнев прогонялся по змеевикам его внутреннего устройства, обогащался темными оттенками, обретал отравляющую густоту и, в сущности, переставал быть гневом. Он претворялся в способность взять человека на самый болезненный излом, столкнуть

его с самим собой; способность обесмыслить даже самый предельный, исполненный правды поступок.

Гнев, выраженный открыто, как бы закрепляет событие, которое его вызвало, придает событию грамматическую и бытийную категорию совершенного времени; поэтому Второй дед, ведомый яростью, яростью зрячей, чующей, в которую он впадал мгновенно, словно она постоянно кипела у него под кожей, жгла язык, покалывала пальцы, — внешне оставался спокоен. Человек, поступивший поперек воли Второго деда, должен был сам отменить, сделать небывшим свой поступок, и даже искреннего отречения здесь было недостаточно: Второй дед не имел веры словам. Ему было нужно, чтобы поступок был опрокинут антипоступком, антиподом совершенного; Второй дед заметал следы, не оставляя в прошлом заусенцев, шероховатостей, тех отметин в памяти, которые свидетельствовали бы, что он содеял зло: свидетель сам уничтожал свое свидетельство, сам проходил в обратном порядке путь своего намерения, разосуществляя его.

Второй дед сказал, что мальчик должен починить игрушечный лагерь; пока не починит, из комнаты не выйдет, школа на это время отменяется, а еду будут приносить в комнату. Инструмента не дадут: сумел сломать — сумеешь и починить. Дверь Второй дед запер на ключ — с такой силой, что ключ погнулся в замочной скважине, замок заклинило и мальчик оказался заперт действительно безвыходно. В то, что сын сможет бежать через окно, Второй дед не верил: он, вероятно, ощущал свою волю как земное тяготение и запер сына еще и на ключ своей воли, стиснул его комнатой, как сжатым кулаком, и теперь решил ждать, не ослабляя хватки, ждать, предоставив действовать времени.

Оставленный наедине с невозможностью сделать требуемое, мальчик должен был чувствовать, как на него наваливается время, не несущее в себе избавления и не обещающее его даже в отдаленном будущем; ты сидишь, зная, что выхода нет, и проходящие часы лишь усугубляют в тебе это состояние, оно становится изматывающим, разрушительным.

Второй дед видел в сыне предателя, он отказался бы от мальчика, если бы тому были примеры, но в то время сыновья отказывались от отцов. И Второй дед не наказывал мальчика — он вынуждал его отречься от себя.

Семь лет не возраст, как думал Второй дед, привыкший мерить жизнь сроками заключения — десять лет, пятнадцать, и еще остается на потом пожить, — и семилетний ребенок должен был не просто отречься, он должен был проклясть себя каждодневным проклятием — и тогда Второй дед взял бы его, опустошенного, внутренне обмякшего, и вылепил себе другого сына.

Жена его уже не могла иметь детей, и бесплодность ее чрева угнетала Второго деда, еще чувствовавшего желание отцовства. Отцовство представлялось ему пластическим действием, близким к труду ваятеля, и не новую жизнь хотел он породить на свет — живое, пока оно живо, не поддается лепке, оно своезаконно, — а нечто безответное, пригодное для его созидающих, как он думал, усилий.

И может быть, именно поэтому жена его, прежде чем стать бесплодной, после рождения сына дважды рожала мертвых детей. Рожала, а потом ее женское естество само омертвело, стало и плотски бесчувственным, как будто организм ужаснулся действительным желаниям мужа, противоречащим предназначению женщины.

Мальчик не выходил из комнаты два дня; от еды он отказался еще в первое утро, и Второй дед велел не кормить сына принудительно. Он знал, что сначала мальчик воспрянет — вышло по его воле, отказ удался, — а потом арест начнет подтачивать его силы, и чем крепче, истовее мальчик будет верить, что способен что-то доказать отцу, отстоять себя, тем быстрее он истощится в этом противостоянии.

У ребенка не может быть редкого и для взрослых опыта, когда вопреки очевидному человек находит опору именно в безнадежности, беспросветности своего положения. Это не обреченное «хуже уже не будет», не тупик, а начало: человек признает, что нет никаких надежд, ни правдивых, ни обманных, и тогда безнадежность неожиданно оказывается твердой почвой, на которой можно стоять. Она реальна, бесспорна, ощутима, но теперь она не забирает силы, а умножает их; если нет иной реальности, кроме безнадежности, то следует принять ее, а принять означает пройти насквозь — и выйти с другой стороны, выйти, умерев для надежд на спасение, выйти не спасенным, то есть избавленным от своей участи, а испытав ее целиком.

Однако у мальчика нашлись другого рода силы; ребенок ведь ребенок только по числу лет, по житейской сметке, а возможность совершить поступок как поступок, а не импульсивное действие,

зависит не от возраста, а от точности чувствования, которая основывается на ощущении, что живо, а что не-живо в том, кажущемся тавтологическим, смысле, в котором Августин называет Бога жизнью жизни.

Охранительные силы, силы отрицания вели мальчика; эти силы отрицают не смерть, а именно не-жизнь, нечто третье между жизнью и смертью, хранят человека от ее посягательств. И мальчик в те два дня, что не отпиралась дверь комнаты, сумел выщербить перочинным ножом подгнившую немного доску-сороковку в полу, ночью вытащить ее и протиснуться в лаз, ведущий под дом.

Второй дед впервые растерялся: не мог же он объявить облаву на сына. Но поиски не понадобились — мальчика нашли.

Лагерный карьер, широкий и глубокий, уже в те времена как бы накренил окрестные горы, накренил равнину, на которой стоял зарождавшийся город. И если человек, от выпитого ли, от веселья или горя, шел так, что ноги сами несли его — ноги выносили к карьере. Во всей округе возник оптический уклон, задающий уклон сознания; карьер стал эпицентром вечно длящегося события, происходившего на глубине; всегда казалось, что карьер возник только что, что это совсем недавний провал, и человек, где бы он ни стоял, даже если карьер заслоняли от него стены, находился в поле его притяжения.

Мальчик, сбегав ночью из дома и не зная, куда идти, самой планировкой поселка был обречен выйти к карьере; ночью карьер не охранялся. В тот час он был для мальчика глазом земли, он видел мальчика всюду, спрятаться было негде. Карьер был детищем отца, и страх перед спящим отцом перенесся на недреманное око карьера; Второй дед приводил сына туда, на край верхнего уступа, и мальчику казалось, что есть какое-то всеобщее безумие в том упорстве, с которым люди, повинувшись отцу, копали яму, и витки карьерных уступов виделись ему отражением скрученной в пружину отцовской воли. Мальчик пошел к карьере, потому что только там, в середине зрачка, он мог укрыться от всепроникающего взгляда; зрачок видел все, но не себя самое.

Утром вышедшие на работу бригады нашли мальчика; под ним рухнул песчаный пласт, и он разбился; тело лежало на камнях в грудке песка. Он упал с той стенки, где взрывами вскрыло породы, содержащие эвдиалит — ярко-красный прозрачный минерал; при

дневном свете весь бок карьера был в красных пятнах. Эвдиалит — шаманья кровь, как его называли местные племена, верившие, что это следы битвы с темным шаманом, побежденным и заточенным в скалу над озером; эвдиалит горел теперь, словно смерть мальчика усилила его свечение, и невозможно было вырубить кирками, выкайлить все зерна минерала, вкрапленные в породу, как хотел сначала сделать бригадир, понявший, какую картину увидит Второй дед, и испугавшийся — камень свидетельствовал, камень обвинял.

Второй дед спустился в карьер; бригады вывели оттуда, и с ним был только врач. Вскоре начальник лагеря поднялся наверх; тело осталось на камнях, осталось врачу и санитарам. Второй дед отрекся от сына — тот посмел еще раз пойти против его воли. В случайность смерти мальчика Второй дед не верил, но объяснял неслучайность к наименьшей своей вине: как дерзость, как непослушание, как упрямство, незнание цены жизни; теперь он искал причины, заставившие мальчика поступить так, и искал их отнюдь не в себе: мальчика кто-то испортил, настроил против отца, окрутил, опутал, вверх в помешательство; разломанный игрушечный лагерь представлялся Второму деду безумием, душевной болезнью.

Второй дед сразу отмежевался от мертвого мальчика, вернулся в памяти к тому послушному, правильному сыну, каким он был еще несколько месяцев назад, и когда думал о мальчике, думал о нем — прошлом; сын его лежал на камнях, среди кроваво мерцающих эвдиалитов, но Второй дед уже не видел его: он беседовал с тем ребенком, держал в мыслях того ребенка, с которым еще не случилось непоправимого. Но все же страшное, властительное отцовство говорило в нем помимо его воли: изломанное падением тело мальчика было словно сдавлено и брошено оземь сильной рукой, и Второй дед сжимал кулаки так, что казалось, то была его рука; эвдиалиты жгли ему глаза, вечные, неуничтожимые, и он ушел из карьера, приказав начальнику карьерного строительства взорвать то место, где погиб сын. Пробурили вертикальные скважины с расчетом отвалить толстый пласт, взрывники заложили шпуры, но когда грохот глыб утих, а пыль и дым отнесло ветром, все увидели, что эвдиалитовая жила вскрылась еще больше, еще мощнее; свежие, не помутневшие пока от холода и дождей эвдиалитовые зерна краснели среди серого камня. Второй дед приказал взрывать снова, но порода уже не поддавалась, только пошла

глубокими трещинами; с тех пор начальник лагеря никогда не смотрел на северную стену карьера, и даже смотровую площадку передвинули так, чтобы не было видно места, где погиб мальчик.

Сын разбился; жена Второго деда вскоре умерла: два родившихся мертвыми ребенка сократили ее жизнь, силы ушли в беременностях, в родах, и оказалось, что мальчик один держал ее на этом свете. Ее жизнь перелилась с рождением в него, перелилась больше, чем то обычно бывает между матерью и ребенком; мальчик, первый и оказавшийся единственным сыном, рождаясь, вобрал в себя слишком многое от матери — не в смысле облика или черт характера, а именно в смысле самой способности жить, жизнотворительства — то была нечаянная жертва.

Когда он болел, заболела и она — ее внутренние состояния стали зеркалом внутренних состояний сына; два градусника можно было класть рядом, и ртуть колебалась одинаково, словно температуру мерили у одного человека. При этом мать как бы заранее уступила сыну дорогу, а он, появившийся на свет кесаревым сечением, без вмешательства врачей должен был бы погибнуть, задохнуться в утробе, и потому жил незаконно, бочком, на краешке; ему не было места в жизни, она не разомкнулась, встречая его, давая ему это место, и потому мальчик остался без защиты, без покровительства, которые даются каждому по праву рождения. Все было для него опасно и губительно — и гвоздь, и скользкий лед, и сквозняк из форточки; всякий случай, все непредвиденное и непросчитанное притягивалось к нему; мальчик жил, тратя жизненные силы так, что они не успевали восполняться, а мать — мать теперь зависела от него, и когда он разбился в карьере, она не пережила его.

Второй дед остался один; кончину жены он, казалось, почти не заметил, но на самом деле она изменила его. Он встретился с женой, еще не будучи тем, кем становился теперь, принеся сына в жертву лагерю и карьере; жена помнила его прежнего, и ее память, с которой он, даже если бы захотел, ничего не смог бы поделаться, и мешала ему, и удерживала от чего-то; само их совместное существование устанавливало какие-то границы, пределы его внутренним переменам.

Второй дед просто — в мужской нечувствующей простоте — выбрал ее в жены, а она сошлась с ним на жизнь и на смерть, и то, что чрево ее омертвело и она больше не рожала Второму деду детей, еще

не означало, что связь между ними пресеклась; женщина творит, создает мужчину не своими желаниями, а нравственными невозможностями, которые задает ему ее присутствие рядом. И когда связь мужчины и женщины обрывается ее уходом, мужчина может скоротечно, — если окружающее подталкивает его к этому, — распасться в нравственном смысле, потому что больше не встречается с честностью плоти — с верностью, и женщина больше незримо не поддерживает его, у него нет опор даже в привычке к ее существованию.

Для Второго деда этот распад проявился так; он как бы целиком перешел на сторону смерти, уверившись, что только она — постоянна, не подвержена случайностям; он, можно сказать, стал пробовать людей на смерть — поддастся человек или нет, — словно пытался понять, почему же погиб сын.

В то время в лагерь прислали партию раскулаченных; их запрещено было использовать на работах — приказ велел отправить их еще дальше, в низовья протекавшей неподалеку от города реки; считалось, что раскулаченные будут колонизировать дикий край, но любой, кто знал, что там, в низовьях, — лесотундра до самого океана, — понимал, что колонизация есть просто эвфемизм.

Эшелоны пришли, когда уже вскрылись реки; тогда же в лагере случился обвал в недавно начатой штольне.

Внутри породы, кажущейся незыблемым монолитом, бывают зоны тектонических трещин, которые нельзя обнаружить с поверхности; камень там тысячекратно изломан сдвигками горных пластов и существует в состоянии неразрывной расколотости: в эти трещины не вогнать и бритвенного лезвия, настолько плотно камень сжимает камень, но гора уже ослаблена изнутри, и если в такую зону попадает горная выработка, породы лопаются, трещины расходятся, потолок забоя рушится на головы шахтеров; давление, притиравшее глыбу к глыбе до зеркального блеска, «сбрасывается» в одном выплеске, и чем упорней человек будет стараться пробить ход в таких изувеченных породах, тем страшнее будет ответ горы: стук кирок, отбойных молотков, скрип буров будет отзываться в ее недрах, будто пробуждая спящие слепые силы, и каменное небо подземелья еще не раз подломит столбы крепи.

Штольня, которую недавно заложили в лагере, на второй сотне метров врубилась именно в такую зону; выработка велась в сланцах, в тонкослойной породе, бывшей когда-то донными осадками древних морей, в которых не было еще жизни, — сланцевые плиты были пусты и звонки, ни раковина, ни рыбий скелет не отпечатались в них. Нужно было пробиться сквозь сланцы, чтобы достичь рудоносных пород, но сланцы не поддавались: родовые схватки горного массива перевернули их толщу, и теперь сланцевые пласты залегали не горизонтально, как некогда отложились на дне, а вертикально, подобно тысячам прижатых друг к другу гильотинных ножей. И когда взрывы в забое сдвинули

равновесие внутри горы, ударили в каменный свод, распирая, раздирая незаметные трещины, тяжелые и острые сланцевые плиты посыпались вниз, сокрушая деревянную крепь, перерубая вагонеточные рельсы — и людей.

Работы в забое остановили; геологи сошлись на том, что достаточно еще один раз произвести взрывы — и опасная зона будет пройдена, а обрушившиеся породы можно укрепить, зажать стальными подпорками, спаять цементом. Но кто-то должен был войти в забой и пробурить отверстия, пятиметровые шпуры для взрывчатки; прежде повторных взрывов нельзя было ничего укреплять, они разрушили бы крепез.

Те, кто уцелел из бригады, которую посекло обвалом, идти отказались; к штольне приехал Второй дед. Все думали, что он будет угрожать расстрелом, и гадали, какая погибель — от пули или от камня — пересилит другую. У штольни собрались и знатоки смертного дела, и те, кто под смертью ходил; и для тех, и для других она была единственным, по сути, событием здешних мест, здешнего перевернутого мира, где жизнь становилась предельно однообразной, а смерть — чрезвычайно разноликой. Жизнь съезживалась, а смерть, наоборот, умножалась, учащалась, как учащается биение пульса. Она и была пульсом этого мира, где предметы начинали проводить смерть, как проволока проводит ток: теплая шапка становилась шапкой-за-которую-могут-убить, а лом и лопата превращались в инструмент-который-убивает. Жизнь тела ускорялась, отпущенные человеку десятилетия миновали за годы; но внутренней жизни это ускорение не касалось, и в преждевременной старости люди вырождались: немощь требует особых сил — сил существовать в немощи, в стариковстве, а эти силы не создаются столь же быстро, сколь быстро истощается человек в тяжком труде.

Но Второй дед не послал уцелевших горняков в штольню; он стоял у темного зева, откуда даже в жаркий день тянет хладной сыростью, вдыхая минеральный запах раздробленных сланцев, смешавшийся с вонью взрывчатки; в штольне по всем трещинам текла вода, иногда рушились глыбы со свода, и казалось, что под землей смутно движется тягостный, дремучий разум горы; он не мстил, не угрожал — он просто ворочался, не в силах осознать себя самое. Рост кристаллов, движения пород измеряются таким числом лет, что камень не заметит

человеческих событий; а мы, спускаясь под землю, входим в спрессованные эпохи, оказываемся в прошлом столь отдаленном, что вся длительность нашей жизни «схлопывается» до нуля.

Поэтому нам и жутко, когда камень отверзается, рушится, оживает, в этом предстает иная, не совсем природная катастрофа — то разрушается отвердевшее время, распадается сама основа мира, то, что в нем незыблемо, чем держится все остальное; нужно быть демиургом, титаном, чтобы шагнуть в эту катастрофу и найти, что внутренне противопоставить ей.

Не знаю, что ощущал Второй дед, глядя на створ штольни; но он велел доставить к штольне тех самых раскулаченных, кого должны были отправить дальше, в низовья реки. Их привезли, они были еще в прежней одежде; любой из лагерников уже обтерся, как вещь, обкатался на нарах, а они стояли кто расстегнутый, кто запахнутый, стояли слишком свободно; и Второй дед приказал объявить — кто рискнет и войдет в штольню, пробурит шпуры для взрывчатки, чтобы вызвать второй, искусственный обвал, того не пошлют в тундру, оставят в лагере.

Вероятно, Второй дед рассчитывал, что если кто и вызовется, то погибнет — породы не выдержат бурения. Но десять человек во главе с бывшим деревенским старостой, никогда прежде не видевших горного бура, сумели тихо пройти по штольне, замирая от скрежета камня, пробурить скалу, как указали на плане маркшейдеры, — и вернуться невредимыми; смерть не взяла ссыльных.

И может быть, Второй дед исполнил бы свое обещание, но там же, у штольни, выяснилось, что все десятеро — земляки отправленного на лесоповал резчика, сделавшего сыну Второго деда свистульку; бывший староста успел еще обрадоваться, что начальник лагеря знает их родные края, ему виделась в этом возможность каких-то послаблений — но Второй дед уже сел в машину и приказал готовить этап.

Всех ссыльных увели по насыпи строящейся железной дороги к реке, а там погрузили на баржи; вернулся только конвой, который ничего не рассказывал — людей высадили на остров, и буксиры с баржами ушли; с тех пор в тундру высылали еще многих, некоторые сумели даже выжить там, устроить поселки, но о судьбе того первого этапа никто ничего не знал; где этот остров и что там произошло.

А примерно через год Второй дед ослеп. Поздней весной, когда в тундре еще лежит снег, но солнце уже светит ярко и снег, заледеневший, сахаристый, блестящий, отражает жесткий этот свет, над тундрой повисает световая дымка. Но она не обволакивает глаз, как туман, а выжигает их, как выжигают лупой по древесине; половодье света, упреждающее разлив вод, рождает воспаленный день, и глаза тоже воспаляются от неестественной, жгучей, сияющей белизны.

Поздней весной Второй дед отправился на машине в дальний поселок по не растаявшему еще зимнику, по ледяной трассе, укатанной грузовиками, идущей, будто гать, через непроезжие тундровые болота. Но ручей проточил лед, подмыл дорогу, легковушка Второго деда разбилась, оглушенный водитель утонул в промоине, и Второй дед остался в тундре, в десятках километров от жилья.

Расстояние небольшое, несколько дней пути, но в те дни солнце набрало силу, снега еще почти не таяли, промерзшая земля холодила их, и лучи отраженного света превратились в лезвия; в глаза Второму деду взглянула белизна — не расплывчатая, близорукая белизна снегопада, а болезненная, скрадывающая цвет неба белизна поблескивающего льда.

Природная белизна слепа, она не имеет глубины, перспективы, которая есть, скажем, в черноте; белый на Севере — это сугубый цвет небытия, цвет смерти, цветовая стена, которая лишает различия ближе-дальше, запирает человека в нем самом. Мир превращается в лишённую горизонта сферу, и глаза болят, потому что видя — не видят, здесь нечего видеть, кроме белого цвета, сводящего с ума своей равномерностью, нерасчленимостью на оттенки, вещественной плотностью, — кажется, его можно раздирать руками, рубить топором. Ты впадаешь в колористический транс, в монотонное цветовое безумие; белизна ослепительным уколом врывается в зрительный нерв, и остается пустота белого, гладкая и саднящая.

За два дня Второй дед ослеп: тундра забрала его глаза. Его нашли люди, отправленные из поселка, куда он ехал, нашли по случайности: один из сидевших в кузове машины был боец охраны, солдат из «летучих» отрядов, искавших беглецов; по весеннему насту уходили в побег многие, и солдат знал, как нужно смотреть, чтобы уберечься от солнца и льда — в закопченное стеклышко; в это стеклышко он и

заметил темную точку далеко от дороги, в долгом распадке; смотри он просто так, даже прикрывшись козырьком ладони, черную точку поглотила бы, растворила белизна.

Второй дед почти что погиб; он дерзнул испытывать людей на смерть — и сам был ввергнут в нее; его вытянули, как за пуповину, острым взглядом розыскника, но за спасение он заплатил слепотой. Зрение потом немного восстановилось, Второй дед едва не пересилил немощь — и ослеп уже окончательно.

Теперь я знал, что он всегда видел перед собой, что последнее сохранила его память — белый цвет; на нем он пытался вывести письма, переигрывающие судьбу; вернуть сына — и вернется зрение, вернется прошлое, а годы, которых он не видел, легко уйдут, как не были.

Часть шестая

Мне предстояло отправиться на реку, найти остров ссыльных — пройти всю траекторию судьбы Второго деда; я чувствовал, что там, в том закутке, о котором и Второй дед ничего не знал до конца, есть какой-то предел; я назвал его для себя — предел забвения.

Теперь я вступал в пространство, где не было свидетелей. И остров, упомянутый гравером, показался мне точкой — пульсирующей точкой, из которой все начинается — и к которой все сводится.

Попрощавшись с гравером, я выбрался из города; мне нужно было спешить, словно истекал срок; я вспомнил сон, остров лиц, баржу, куда вошли и заключенные, и конвой, закрывающиеся створки трюмов; также и для меня закрывалось время странствия, город уже выталкивал меня в дорогу. То внутреннее состояние, которое удерживалось во мне с тех пор, как я решился узнать все о прошлом Второго деда, тоже истекало; состояниям, если понимать их как собранность восприятия, как дпящееся усилие быть открытым событиям, тоже отпущен срок, и его не переступить, дальше — искусственное дыхание, самовозгонка, голое долженствование.

Я не думал, как буду возвращаться; мысль о возвращении превратила бы поиск острова в путешествие туда и обратно. Но нельзя было достичь острова, а потом вернуться тем же путем — это противоречило бы его окончательности, его абсолюту точки.

Я двинулся к реке по насыпи бывшей железной дороги; иногда сворачивал, взбирался на сопки и смотрел вокруг: насыпь была низкой и не давала обзора. Пейзаж был словно порожден мозгом слабоумного, в котором бесконечно повторяются одно слово, линия, мотив; тундровые озера, болота и сопки столь походили друг на друга, что совершенно терялось представление о протяженности: местность не содержала в себе ничего, что взгляд мог бы распознать как новое, иное, и ты не мог отследить, движешься ли ты или шагаешь на месте.

Линию насыпи — вектор движения к цели — местность как бы растворяла в себе; ее размывали дожди, поглощали болота — так рассасывается рубец на коже; здесь нужно было быть кочевым человеком — там, где ландшафт не имеет внутри себя отличительных

черт, кочевье становится ментально точным принципом существования.

Расстояние тут можно было отсчитывать только по остаткам лагерей. Бараки, охранные вышки сгнили; столбы с колючей проволокой повалились. Сохранились только очертания, видимые с расстояния, и для находящегося в бывшем лагере лагерь не было: земля и земля, кочки и кочки, разве что валялся фарфоровый изолятор или кусок кирпича. Один такой изолятор я поднял; как метеорит, который можно найти в тундре, узнается по инородности — отлитая в металле космическая скорость, — так и точеный, похожий на шахматного ферзя кусок белого фарфора был иноприроден в этом месте, оно не желало укрывать его, выдавало, как за мешок муки выдавали беглецов.

Рельсы и шпалы с насыпи были сняты; не разбирали только мосты через реки. Пятиметровый земляной вал был насыпан руками заключенных; земля слежалась уже так плотно, что вал приобрел ту плавность, неназойливость очертаний, которая есть в степных курганах: они и нечто рукотворное, и нечто природное одновременно.

«Руками заключенных...» — сказал я сам себе; в этих словах было слишком много от заповеданного культурой — и слишком мало от реального ощущения; насыпь уже не ужасала, не заставляла горевать. Как это бывает со всяким масштабным сооружением, она призывала скорее поразиться ей самой, увидев ее как единое целое, в котором уже не распознать усилий отдельных людей, представляющее собой как бы зримый, овеществленный жест творящей надчеловеческой воли.

В каждой гигантской постройке есть элемент иррационального; соображения пользы и технической необходимости, определяющие облик и размеры этих сооружений, будто бы оставляют место еще для какого-то соображения высшего порядка, которым все соединяется и совершается. Некая воля говорит — это будет именно здесь, это будет именно так, и эта воля, покрывающая отрезок между отсутствием и наличием, и есть иррациональное.

И чем масштабнее постройка, тем значительнее в ней этот элемент иррационального: создаваемое становится настолько превыше сил одного человека, превыше повседневных людских надобностей, что человек вынужден предполагать существование какой-то высшей, не бюрократической инстанции, на которой лежит конечная

ответственность за изначальный выбор: это будет именно здесь, это будет именно так. А с допущением такой инстанции построенное обретает гипнотическое почти воздействие; архитектурная или инженерная форма наполняется мнимым содержанием, происходит подмена — теперь роль содержания играют масштабность и размах.

И впоследствии смотрящему очень сложно не поддаться этому воздействию, не счесть размеры постройки символом власти, которая была способна остановить историю, утвердив ее в незыблемых формах общественного устройства, зданий, сооружений и памятников; власти, о временах которой потомки будут вспоминать как о созидании истории, а собственные времена будут ощущать как упадок, нечто вторичное, не содержащее в себе прежних могущества и энергии.

Я шел по насыпи; мне тоже было непросто осознать, что ничего в этой насыпи нет, кроме затраченного времени подневольного труда, кроме сотен тысяч тачек с грунтом. И если был в насыпи какой-то масштаб, то — масштаб бессмысленности совершенного.

И то, что насыпь заброшена, никакой железной дороги нет, виделось не ошибкой, а следствием изначальной этой бессмысленности; насыпь была как некий ложный путь, и все человеческие силы, приложенные на этом пути, тратились по-настоящему, но впустую — сам путь был устроен так, чтобы эти силы отбирать, поглощать, и только.

Я представил, как здесь вращались колеса лебедок, работали кузницы с водяными молотами, и все эти ворота, шкивы, тросы, блоки, зубцы, валы, оси сложились в механизм, пускающий на ветер, в распыл подлинное человеческое усилие — усилие труда, мысли, самого намерения быть. Оно могло оказаться созидательным, что-то сдвинуть, чему-то способствовать, чем-то стать в историческом времени — но было пропущено через вращающиеся жернова, приложено к отчужденной от человеческой жизни цели и этим убито.

Я шел; уже закончились места, куда добирались охотники и рыбаки; началось безлюдье. Разница между местом, которое посещают несколько раз в месяц, и местом, где не бывают годами, разительна: дело не в чувстве первозданности природы — оно наивно и лишь замещает иное, более глубокое: чувство абсолютного отсутствия другого человека. Там, где род человеческий исчерпывается одним тобой, возникает странная, невозможная в иных местах тоска: тоска не

по теплу, не по общению, а тоска по человеку в антропологическом смысле; след чужого сапога на песке у ручья может заставить насторожиться — ты не знаешь, кто этот незнакомец: старатель-одиночка, беглец, блаженный, ищущий в тундре успокоения или откровения, — но ты пойдешь по этому следу, потому что даже возможное зло, с которым ты рискуешь встретиться, будет все-таки исходить от существа твоей породы.

Именно такая тоска, вероятно, сводит людей там, где встреча как явление бытия, кажется, не существует; где вероятнее всего разминуться и почти невозможно сойтись; где двое — уже слишком много для разреженных пространств.

В один из дней я поднялся на очередную вершину сопки; холодный ветер гнал быстрыми волнами легкие облака, и тем недвижней была земля. Но вдруг я ощутил, как одна из нитей паутины внимания, которыми взгляд опутывает видимое, слабо натянулась; сбоку от меня, в нескольких километрах, шел человек.

Я знал, что это человек, хотя видел лишь темное пятно — животное на таком расстоянии не заметишь; оно сливается с местностью, живет у земли, от земли кормится, и каждый шаг его вторит той поступи, которая, как ритм в музыке, есть в простирании ландшафта; животное обитает в горизонтали, в ней протяженно его тело, а человек — вертикальная веха; его движение заставляет двигаться все вокруг, создает смещающиеся оси координат, тогда как бег животного не затрагивает пространство, оставляет его недвижимым.

Человек; мне стало интересно, и я повернул ему наперерез. Через полчаса я уже мог рассмотреть незнакомца.

К рюкзаку его были приторочены объемистая лейка и странные, с очень частыми тонкими зубчиками грабли на короткой ручке. Он то замирал, то коротко перемещался, то сдирал граблями мох и лишайники с покатых, округлых каменных плит — и экономно, не тратя лишнего, поливал их водой из лейки.

Человек был немолод, он двигался, не до конца доверяя телу, но все-таки на него полагаясь; сухощавый, седоволосый, в одежде из вытертого брезента и болотных сапогах, без оружия, но с граблями и лейкой; взгляд его был целиком отдан земле.

Я встречал в тундровом безлюдье очень разных бродяг; кто-то искал по склонам сопки жилы с драгоценными камнями, кто-то

обшаривал покинутые поселки — говорят, там бывали невоскрывшие тайники; кто-то собирал бивни мамонтов по руслам рек, кто-то отыскивал разбившийся в незапамятные годы «Ан-2», вывозивший с прииска золотую крупку, кто-то просто уходил наугад, чтобы перехватить чужую находку, какой бы она ни была. Случались искатели древних капищ; сумасшедшие, желающие основать государство; сборщики метеоритов; вольные толкователи истории, ищущие следы Гипербореи.

Встреченный мной человек — по хваткам, по опытности — был скорее из старателей, из тех, кто ищет что-то реальное; грабли и лейка меня больше не удивляли — они явно служили инструментом поиска, только я не знал, что же он ищет.

Догоняя человека, в пологом распадке, прикрытом сопками со стороны насыпи, я наткнулся на череп. В болоте невозможно выкопать могилу, а здесь, в ложбине между скал, скопилась каменистая земля; в нескольких местах она просела ровными прямоугольниками, тундровые лисы вырыли там себе норы, входы в них угадывались по высыпкам утрамбованного лисьими телами грунта, по клочкам свалявшейся шерсти; около одной из нор и валялся череп — лисы выцарапали, выскребли его из глубины норного хода.

Лисьи норы уходили в размягченную землю лагерной могилы; теперь, когда глаза знали, что искать, среди мха и камней я находил то ребро, то позвонок, то берцовую кость; лисы вытащили их, разметали; мелкие грызуны, уничтожающие кости, становились добычей лис, и кости уцелели; в костные поры набилась земля, и кости были темны, первобытны, дожди не могли уже отмыть их. Около надломленной ключицы рос крупный подосиновик; клейкая и склизкая губка вывернулась из-под скукожившейся от солнца шляпки, и эта бескровная, не знающая боли плоть низшего царства живых организмов была мерзка; я вспомнил гриб, увиденный рядом с могилой Второго деда; белесый, мучнистый, похожий на морщинистое старческое ухо; человеческая плоть истлела, а плоть грибов обновлялась на грибнице, возрастала из мельчайших спор, и человек был чем-то очень непрочным в сравнении с этими грибами.

Мы сошлись у склона сопки; незнакомец курил и кипятил чай на бездымном костерке; я шел, вокруг светло царил день, но внутри у меня была темнота лисьей норы; лисы, переждав, пока я уйду,

выскочили на взгорок за моей спиной, юркие, как духи; они замерли среди камней, низкорослые, остроухие — не животные, а выводок тундровых божков, питающихся от чужой гибели, насельников моровых мест.

Незнакомец был все-таки вооружен; у него был верный расчет — раз нет ружья, подумают, что безоружен, и он носил пистолет, и целился теперь в меня, закрываясь второй рукой от солнца. Но пистолет не был мне угрозой; я переживал то же состояние, что и в детстве, когда на меня напал черный пес — и человек, ощутив мою слабость, спрятал оружие, показал мне рукой на каменные плиты, на которых подсыхала еще вода, смывшая грязь и сор, оставшиеся после соскобленного граблями дерна.

На светлом камне открылись выбитые, выдолбленные в нем рисунки; одни с ладонь, другие — больше человеческого роста. Там были катящиеся колеса — солнца со спицами; цветы с четырьмя лепестками, похожие на крест; большие и малые рыбы, плывущие в разных направлениях; извилистые и прямые линии, борозды в камне; распластанные, как распластывают шкуру, бобры; десятки оленей, бредущих растянувшимся стадом; охотники, идущие по следам оленей, настигающие их неестественно длинными копьями; цепочки медвежьих следов, птицы с костистыми крыльями и клювами гарпий; животные, похожие на ожившую пилу с улитьей головой; световые короны звезд; касатка с хвостом в виде молодого месяца; лодки и снегоступы; перевернутые, словно летящие по космическим орбитам собаки; треугольные глаза с овальным зрачком; разомкнутая окружность — так изображают влагалище в анатомических атласах; округлая, с короткими ногами и руками, женщина, внутри которой, повернутое головой к ее лону, парит, плавает в невесомости дитя; мужчина с непомерно длинным, змеящимся членом, делающим его похожим на сперматозоид; топоры и весла; звери, люди, киты, стянутые нитями, будто пуповинами, растущие один из другого — смешение различий, кровосмесительное родство всего живого.

Рисунки жили, дышали, как рыба икра и молоки в теплой воде отмелей; казалось, они даже пахнут —пряно, сладострастно; фигурки и орнаменты сходились, сплетались, расплетались, и все это был один акт творения жизни; сила рисунков была такова, что земляная чернота лисьей норы внутри меня исчезла; они не были искусством,

изображением чего-то — они были первородны, первоначальны, словно в них целиком, без какого-либо остатка, перешло существование тех людей, что когда-то создали их.

Это были петроглифы; я знал, что они встречаются в здешней тундре; их оставили племена, жившие за семь или восемь тысяч лет до нашей эры. Но в тот момент я об этом не думал.

В тундре возникает особое чувство дня; день — это помещение, чертог, нечто, имеющее объем; в тундре, где не нужны очки, только бинокль, где солнце летом почти не уходит за горизонт, это помещение дня особенно просторно; здесь, в высоких широтах, где уже близко сходятся меридианы и мала окружность параллелей, день стоит, — как огромный свод, — единый день всей Земли; астрономически это неточно, но правда впечатления именно такова.

И рисунки в камне — космос оленей, галактика касаток, вселенная охотников — еще больше раздвинули день, превратили его в сияющее и победительное единство всего живого, нерушимое и неподвластное смерти; день стоял, как храм, в котором заранее, до рождения, были оплаканы те, кого схоронили в ложбине меж сопок, чьи кости выгребли на поверхность лисы, и не было унижения в такой могиле; все разрешалось, все спасалось через коловращение солнц, через молодой месяц, ставший хвостом касатки, через младенца, спящего на весу в прозрачном животе матери.

Спасалось — но и смерть была сильна, она стояла за пределами дня-храма; озарение меркло, рисунки, проступившие было в камне, теряли рельефность, выцветали, становились тенями; и снова я чувствовал — под ногтями, на руках — землю той долины, где устроили свои норы лисы.

Как было совместить в себе долину, где даже низкорослые мхи отбрасывали смертные тени — и древние рисунки на скалах, ясно, строго и ликующе утверждающие жизнь? Как было совместить времена — десятилетия и тысячелетия? Все как бы поменялось местами, и дальнейшее прошлое вдруг стало ближе по духу, чем недавние года; собрат мой — хотелось сказать тому, чей каменный резец вывел летучих собак и пугливых оленей, поражаемых охотниками; хотелось обрести в себе тот мир, где возможны они — и невозможны насыпь, бесследная могила в безымянном распадке; но сказать и желать так —

не означало ли отречься от тех, кто был схоронен в ней, тех, кому тоже должно было сказать: братья мои.

Братья мои — это не имело отношения к вере; братья мои — только там я узнал, что значит скорбь: не горе, не обетование памяти — абсолютная отрешенность от себя. Человеческое «я» слишком незначительно в сравнении с чувствами, и оно не позволяет им, — которые как бы старше и больше отдельного человека, — случиться в полноте. Отрешаясь от себя, отрешаешься не от чувств вообще, а лишь от той «надводной» части каждого из них, которая связана самолюбием, обращена на тебя самого, которая заставляет постоянно оглядываться — а каков ты в чувстве?

И когда чувства перестают быть зеркалом, когда ты проходишь сквозь амальгаму — возникают глубина и перспектива, неведомые прежде; как мы смотрим на прошлое через себя сегодняшних, так и наши чувства опосредованы в моменте настоящего, и если эта опосредованность исчезает, приходит соединенность всех со всеми, поверх времен и разности судеб; соединенность по сродству природы чувств. И я стоял над уходящими в камень, теряющими очертания петроглифами, чуя спиной дыхание смертной долины, и не было уже разделенности — и то, и это: и изглоданный лисами череп, и колеса солнц, катящиеся, разбрасывая протуберанцы.

Незнакомец дал мне кружку; прокипяченный чай был горек, но горечь эта мягко и властно подтолкнула сердце, заставила его сокращаться резче и чаще, ободрила, придала сил.

— Ты не выслеживаешь меня? — спросил человек.

Несмотря на пистолет, он боялся; он не поднял бы на меня руки и знал это про себя.

— За мной ходят, — сказал мужчина. — Думают, что я выведу их на петроглифы. — Он показал на рисунки. — За такие хорошо платят, если выбить и суметь донести.

И свет, и тень отступили наконец; померкли каменные солнца, истаяла земляная тьма. Меня отпустило напряжение чувствования — и я четко, в подробностях увидел того, с кем говорил.

Он был болен раком: лицо его было будто бы надуту изнутри — так рисуют карикатуры уличные художники, преувеличивая, растягивая губы, щеки, всю лицевую мякоть; разросшееся мясо губ уже отвисало

вниз, щеки закрывали глаза, рот удлинился вдвое, и ни единый волос не рос на гладкой сарделечной коже.

— Это от облучения случилось, — сказал мужчина. — То, что внутри, в теле, еще хуже. А пистолет — чтобы застрелиться, когда будет совсем невмоготу. Наградной.

Мой неожиданный товарищ был военным; когда-то он искал в здешней тундре места под скважины для подземных ядерных взрывов; он приехал из лесного края и не знал, что тундра тоже, как лес, уводит, но по-другому: лес меняет местами стороны света, путает следы, а тундра вся открыта, и ты идешь, идешь, помня, что потеряться тут нельзя, все как на ладони, но вдруг оборачиваешься — и только сопки кругом, и сознание, занятое мыслями, которые ты обдумывал, не хранит никаких примет пути.

Вот так, уведенный, он и обнаружил первые свои петроглифы — знаки солнца, катящиеся солнечные колеса; и потом, уже заболев, после операции, после палат химиотерапии, бывший военный вернулся в эти края — рисунки, высеченные в камне, показались ему самым существенным, что он встречал в жизни; он не коллекционировал петроглифы, не снимал копий — просто искал, повторял пути древних художников, давал рисункам смысл существования — смотрел на них.

Мы пили чифирь; я спросил, можно ли найти кого-то, кто помнил бы эти места десятилетия назад. Бывший военный сказал, что в тундре еще осталось несколько кочевых семейств, которых в прошлые времена не удалось загнать в оленеводческий колхоз; теперь их пытались за деньги показывать туристам, но они откочевали глубже в тундру и встречали выстрелами вертолет, пытавшийся сесть у чумов. У них нет раций, их ничто не соединяет с другими людьми; они принимают только его — больного, ищущего древние рисунки ради самих рисунков; в нынешнее время года их наверняка можно встретить в среднем течении реки. Есть еще деревня, где живут потомки ссыльных, она еще дальше; он не был там около десяти лет, а когда был, люди уходили оттуда, оставляя дома.

Чифирь кончился, костерок потух; мы обнялись, он ни о чем не спросил меня и двинулся дальше вдоль склона, а я вернулся к насыпи и еще долго, шагая, видел фигуру, движущуюся вдоль холмов.

Через три дня я вышел к бывшему порту, куда вела разрушенная железная дорога; вышел к реке. Среди низких берегов, среди отмелей текла невзрачная, впитавшая серость неба вода, скудная отражениями, бликами, светом, и ширина реки как-то терялась в пологости берегов, в неспешности течения.

На отмелях лежали сотни бакенов; здесь были пластмассовые, похожие на поплавок, металлические и деревянные, выглядящие как верхняя башенка маяка — вся история судоходства на реке, все годы плавания по ней, собранные вместе. Река меняла русло, намывала новые мели, на которых поселялись подрагивающие, как перепончатая птичья лапка, никогда не цветущие кувшинки, обрушивала берега, где в мерзлоте прятались туши доисторических животных, древних оленей, и время было разломано в этих обрывах, как краюха хлеба — бери руками, запусти пальцы в каменный век; река меняла русло, но бакены больше не следовали за переменами, не размечали ее глубины, не протягивали нить фарватера, не теплились в темноте; когда прекратилась навигация, река вернулась в полное владение рыб, плавник — прародитель весла — отменил винт, и речные воды больше не тревожило вращение изогнутых лопастей.

Около берега из реки торчали сваи обрушившихся причалов; в них застряли принесенные водой деревья, сор половодья, вода втягивалась под эти завалы с хлюпаньем, с присвистом; а дальше, в широком затоне, образовавшемся из старицы, стояли, сев днищем на грунт, баржи и буксиры.

Обычно брошенный корабль — как брошенный дом; но баржи не оставляли саднящего ощущения; то были огромные ржавые короба, угрюмые и неуклюжие ковчеги; они медленно погружались, выдавливая своим весом топкую жижу; краска сходила с них неравномерно, пластами, — видно, одни маляры грунтовали и красили добросовестно, а другие нет — под заскорузлой краской обнажался второй слой, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой; одряхлевшее железо уже рассыпалось, падали внутрь трюма проржавевшие дотла борта, а намертво спаявшиеся слои краски держали друг друга; баржи стояли наполовину нарисованными, их гоняли по реке, трижды, четырежды перекрыв предел усталости металла, перекрашивая, но не подновляя, и металл сдался первым, а спекшаяся краска уцелела.

Буксиры замерли в стороне от барж, шесть кораблей; «...омсом... лец», «Ша...тер», «Горня...», «Пограничн... Заполярья», «Кап...тан П...асолов», «Бое...» — читалось на бортах, словно названия передавали морзянкой при плохой связи.

Я прошел с одного буксира на другой и отыскал единственную шлюпку, которую еще можно было спустить на воду; на втором буксире нашлись весла, на третьем — полбочонка вара, чтобы прошпаклевать борта. Обнаружился еще большой кулек окаменевшей соли, и я взял его — мне стало жалко, что соль пропадает; для здешних пресных вод, пресных небес соль казалась чем-то, чего недостает месту, и я бросил ее в ящик на шлюпке.

Вскоре я отплыл, шлюпка была слишком велика, чтобы один человек мог нормально управлять ею, поэтому я просто выгреб на середину реки и вверился течению; шлюпка осела, заново напитавшись водой, и река понесла меня прочь от старых буксиров, от бакенов на берегу, развернула передо мной холмы за поворотом русла; уклон земли влек ее воды к Ледовитому океану, и я плыл в этом же тяготении; стояло безветрие, и времени тоже не было — река стала временем, и время неуклонно стремилось к устью.

Так миновали дни; голые холмы, безлюдье, тишина, мерное струение воды, убаюкивающее, приучающее, что все в мире спокойно, безмятежно, плавно. Я размечал календарь плавания затесами на весле, но потом уронил его в воду, и оно уплыло; питался я совсем мало — я не двигался, не тратил энергии, и аппетит пропал; иногда мне казалось, что я скоро стану эфирным, прозрачным или превращусь в молодого водяного; рыбы смотрели на меня из воды, пристраивались в кильватер к шлюпке, словно ждали этого превращения. Двухметровая щука провожала меня некоторое время — щуки живут сотни лет, и она, наверное, помнила людей — рыбаков, матросов; потом она отвалила в сторону, и я снова видел только воду и холмы.

Поэтому, когда я заметил остатки моста — реку когда-то пересекала вторая ветка железной дороги, ее тянули к будущему поселку в тундре, который так и не построили, — я сначала не узнал их, точнее, не принял взглядом. Я видел что-то нелепое, непонятное, ненужное, негармоничное, какую-то ошибку; так, наверное, звери смотрят на построенное человеком.

На отмелях, где течение не так сильно даже в половодье, стояли наполненные землей и камнями ряжи, похожие на срубы изб; а на левом берегу возвышались конусы чумов, в сущности — увеличенные шапки кочевников, отрицающие идею дома: где бросил шапку, там и очаг. Вокруг были голые сопки, и чумы попадали в их линии, как волна повторяет волну.

Я причалил к берегу ближе к кочевью. В ложбине под боком железнодорожной насыпи стояли паровозы и вагоны. Вероятно, их бросили, когда на ветке смыло мосты, теперь они ржавели, уходя в тундровую почву; и, что странно лишь на первый взгляд, именно паровозы, а не чумы казались здесь хронологической неточностью.

Паровозы стояли, как сломавшиеся механические машины времени, они и были таковыми для других мест, где железная дорога действительно ускоряла время, открывала ему сквозной ход, где паровоз на самом деле встречали как символ наступившего будущего, где рельсы, семафоры и вокзалы сопрягали разрозненные времена большой страны в нечто общее для всех. Но здесь, среди тундры, эти механизмы не сработали или сработали вхолостую; здесь до сих пор длилось время-до-паровозов, время-до-чего-бы-то-ни-было; и я вспомнил паровоз из сна — тут был его тупик, конец его пути, и тундра, равнодушная к громоздкой машине, простиралась спокойно и цельно, не зная деления на стороны света.

Около чумов на ошкуренных шестах висели куски мяса; дым от костра, разведенного из мокрого тальника, — повсюду был этот дым, его было больше, чем нужно, чтобы закоптить мясо, отогнать гнус и мошку; казалось, это затем, что люди должны до седины пропитаться дымом, научиться волей останавливать истечение слез или вовсе утратить способность плакать; ветер налетал равномерными порывами, и в такт ему под сырыми ветвями, из которых, пенясь, вытекал вскипающий сок, вспыхивали алым угли.

Неподалеку от чумов паслись олени; они ходили вокруг шеста, двести или триста голов — их действительно нужно было считать по головам, потому что ниже шей их тела сливались в одно многоногое тело, и каждая спина была лишь как выпирающий мускул; их шаг был схож с течением воды в водовороте. Олени ходили у шеста, чтобы их не мучил гнус; пастух направил вожака, и стадо следовало за ним. Я представил, как это выглядит с высоты, и понял, что вижу часы, часы

без делений; шест был единственной вертикальной метой на десятки километров, и вокруг него, не отбрасывающего тени под пасмурным небом, текли времена года, измеряемые ростом оленьих рогов.

Люди появились внезапно — выступили из-за чумов; кочевой род не смешивал кровей с чужаками, и они были очень схожи, будто один человек в разные возрасты жизни, двуполое существо в обликах младенца, девушки, мужчины, старика, старухи; один человек — или все как один; с лицами цвета чая, в одежде, соединявшей ткань и оленьи шкуры, они словно самой жизнью совершали обряд отождествления с животными, и я, вероятно, казался им ущербным — во мне не было животной половины.

Увидев, что я один, меня пригласили к огню, угостили вареной олениной; не было ни отторжения, ни интереса. Меня спросили, нет ли у меня соли; я принес со шлюпки кулек — и люди вдруг переменились, обступили меня; в здешнем невещественном мире я ощутил соль как силу костей, силу того твердого, что есть в человеке, и кочевой народ ощущал это так же; теперь я мог спрашивать — мы стали близки, соединены этой солью, и я спросил, помнят ли они что-нибудь о том, как на реке в первый раз появились баржи, люди — в первый раз много-много лет тому назад.

Мне рассказали историю каравана барж — не как миф, не как легенду о плавучих речных домах, но меня не оставляло ощущение, что человек говорит как бы с дальнего берега, и не потому, что он в принципе бесстрастен, а потому, что предмет рассказа воспринимается им как явление природы или явление настолько чужеродного мира, что мир природы, может быть, ему и ближе.

Голос деда, видевшего на апрельской реке после ледохода баржи, полные людей, но не понявшего, что происходит, управлял голосовыми связками внука; тому предку-кочевнику, стоявшему на берегу, наверное, казалось — в переложении на его понимание, — что это плывут ковчеги, целые миры, содержащие в себе абсолют законосообразности, и если одни люди сбрасывают других, ослабевших, в воду, то это и есть настоящие, истинные законы этих миров, это и есть их правда; так, наверное, если бы Колумбовы сотоварищи по странствию все хромали, в воображении аборигенов воздвиглась бы страна-за-морем, страна хромцов. Да и что мог человек, выросший там, где когда-то стариков оставляли умирать, если

род уходит на новое кочевье, — что он мог внутренне возразить тем, кто выбрасывал ослабевших за борт? Но я вошел внутрь взгляда рассказывающего, как входят в комнату с широким окном, и смотрел изнутри этого взгляда — но собственным зрением, узнающим то, что не мог распознать мой невольный проводник.

Баржи причалили к большому острову посреди реки — так было удобнее капитанам буксиров; людей высадили на этот остров, на длинную отмель, где не было ничего, кроме плавника — обкатанных водой древесных стволов; был солнечный, теплый день, и заключенные, хотя охрана и стреляла, бросились в реку купаться. Вода помутнела от грязи, когда в нее вошли несколько тысяч человек, по реке плыли остатки одежды, сопревшей в тесноте трюмов, где люди стояли плечом к плечу; ледяная вода студила тело, и люди вскоре бросались обратно на берег, бегали по песку, обнимаясь, сбиваясь в кучи, чтобы согреться. Вода — талая вода вчерашних снегов, вода обновления, вода новой жизни — смыла долгий путь, смыла ржавчину и нечистоты, солнце играло в волнах так, что думалось — вот-вот появится рыба метать икру на отмелях; но солнечный свет был краток, краток нарождающийся день, и те немногие, кто был еще в силах рискнуть жизнью, — бросались в воду, цеплялись за проплывающие деревья, за облепленные водорослями, илом глыбы донного льда, всплывшие и влекомые течением; охрана стреляла, тугой холодеющий воздух хлестко бил по барабанным перепонкам, ноздри будоражил дым пороха, въедливый, острый.

Потом буксиры и баржи ушли, а люди остались на острове. Наступила ночь, а наутро пошел снег — с севера притянуло штормовые тучи; снег был густ, он потушил слабые костры из мокрых бревен; ссыльные искали спасения в промоинах, пытались вырыть норы в песке, устроить землянки с накатом, но снег проникал всюду, даже внутрь трухлявых стволов, куда забивались люди; переплыть реку в половодье было невозможно на тех лодках, что были у кочевого народа, легких плоскодонках, обтянутых шкурами, и поэтому они только видели, как над островом сгущались дым и гарь, как в этом облаке вспыхивали и гасли сполохи занимавшегося пламени; несколько дней, пока шел снег, оттуда доносились крики, а потом, в самую холодную ночь, был слышен только стон; снег прекратился, туман развеялся — но на острове уже не было живых; даже тел не

было видно — люди попрятались, кто как мог, и умерли в земляных укрытиях, выкопанных руками, сучьями, тем немногим инструментом, что был им выдан.

Когда река успокоилась, кто-то переплыл на остров; там был смрад, туда слетелись птицы с реки; с острова привезли мешки с мукой (ссылным оставили пищу, но не дали посуды) — но муку эту не стали есть; в следующие годы остров не раз накрывало половодьем, кости унесло, и сам остров отодвинуло по руслу; и только порой в нем открывались ямы, где в глубине лежали в вечной мерзлоте мертвецы.

Следующие поселенцы — их много проплывало по реке — не спрашивали о предшественниках; суда шли мимо острова, никак не примечая его; остров остался, как был — плоским земляным блином в русле, и только в кочевом роду, встреченном мной, передавали память о том, что там случилось.

Те, с кем я разговаривал, уже не могли сказать, где на реке этот остров; я проплывал мимо песчаных кос, мимо отмелей, мимо других островов — и все они были одинаковы, все непостоянны, все пропадали и возрождались с приходом высокой воды; острова без примет, острова пустынных широт; просто острова.

Я оттолкнул шлюпку от прибрежных камней; течение вновь повлекло меня, а люди около чумов смотрели мне вслед, как когда-то смотрели с берега на тех, кого высадили на остров; река, потревоженная рядами бывшего моста, успокаивалась, стремнины уходили ко дну, и шлюпка плыла ровно, будто бы ее двигали летящие облака, ход светил, течения воздуха в высоте неба, отраженные в воде.

Через несколько дней я увидел дома на взгорке; это была деревня ссылных. Дома казались перенесенными сюда миражом, зрительным обманом; на самом деле они стояли сейчас где-нибудь у речушки и лесов за тысячи километров отсюда, и лишь причудливая игра света в атмосфере высоких широт помещала их на взгорок, где их не могло быть.

Оставив шлюпку, я поднялся по тропке, зигзагом врезанной в откос. Деревня — десяток домов — не казалась совсем заброшенной: по дороге явно кто-то ходил, в песке подсыхали кляксы расплескавшейся воды. Но слишком густо выросли на земле огородов сорняки, слишком давно были забиты горбылем окна изб, и гвозди уже выпадали из древесины; а главное — все говорило о том, что люди

перестали смотреть за местом, где живут. И вдобавок было непонятно, откуда тут, в тундре, земля, откуда сорняки; откуда взялась почва.

У самого колодца, который в деревнях всегда держат в чистоте, собаки вырыли себе лежку, пыльную яму, полную шерсти и объедков; лопнувший провод висел, едва не задевая идущего по лицу, столб покосился так, что рука тянулась его подправить; всякая вещь в деревне просила у человека помощи: где подпереть, где выровнять, где подпилить, где поднять. Казалось, что люди здесь забыли все глаголы, обозначающие созидательное действие, забыли стук молотка или пение ножовки в распиле, да и о самих себе забыли тоже: находиться в деревне было невыносимо. Есть такой особый цвет — цвет старых досок забора, на который всю зиму брызгали снежной жижей из-под подошв прохожие, а весной эта грязца высохла, став землянисто-серой; цвет небрежения и равнодушия, и вся деревня была окроплена им, как будто он сеялся долгие годы с мелким дождичком; на крюк у калитки много лет назад кто-то повесил фонарь «летучая мышь», и теперь его стеклянный колпак был полон дождевой водой, а на брезентовом фитиле выросли фигурные кристаллы ржавчины. И невыносимо было не запустение, а то, что жизнь может приноровиться к запустению, принять его облик, до неотличимости слиться с ним.

У одного из домов огород был ухожен; чудилась только странность в том, что его весь засадили картошкой, — картофельные гряды оставляли лишь узкую тропку к дому, — засадили клубень к клубню, словно больше в деревне нигде ничего не росло. В доме кто-то был, из осыпавшейся трубы, испятнавшей замшелую крышу рыжими крапинами кирпича, шел дымок, но окна наглухо закрывали ставни.

За домом что-то скрипело, металл скрежетал о камень, звенел и снова скрежетал; синеватые сумерки, от которых воздух словно густел, становясь холодней, но не теряя прозрачности, спускались на деревню, и каждый скрежет отзывался невольными мурашками, остерегал подходить ближе — так могла звучать только закаленная сталь. Три яблони у дома — скольких трудов стоило вырастить их здесь! — теперь стали дичками, вся их сила ушла в побеги и листву, нетронутые завязями ветви роняли наземь коричневый лист, и во всем вокруг был этот цвет омертвевшего листа, цвет гниющего яблока, он придавал дому и земле нечто старческое, одряхлевшее. Кое-где на яблонях еще сохранились давние спилы в коросте садового вара, но вар

потрескался, отвалился, и, хотя древесная плоть обметала спилы тугим кожистым кольцом, внутри стволов уже завелась труха, а в земле, наверное, отмирали корни. Проволочные жгуты, которыми были притянуты к стволам грозившие отломиться ветви, слишком глубоко врезались в древесину и пережимали, перерезали кору.

Я вошел в этот малый неродящий сад, овеванный горьковатым зольным дымом, какой дает худо сложенная или полуразвалившаяся печь; холодало, и листья падали все реже, словно у них цепенели черенки.

За домом у точильного станка, переделанного из ножной швейной машинки, сидел косматый старик; я видел его со спины, широкой и сгорбленной, вполовину закрытой седыми спутанными прядями, в которых застряли яблоневые листья; мне показалось сперва, что на пальцах его — когти, что старик — оборотень, не до конца принявший человеческое обличье, но потом я увидел — это ногти, желтые, завернувшиеся, обломанные или криво обкромсанные. Старик точил топор на длинной рукояти — топор лесоруба; топор был сильно зазубрен, видно, им рубили доски какого-то старого строения и часто попадали по гвоздям; длинные струи рыжеватых искр от неровной кромки лезвия летели по двору, ничего не освещая, а лишь прошивая сумрак; крутились колеса станка, поскрипывали разохшиеся приводные ремни.

Старик, точильный круг — шершавый, со сколами, грубее, чем нужно для тонкой заточки, — и топор; я прошел чуть дальше, не решаясь пока окликнуть хозяина, и увидел второго старика. Он сидел на ступенях крыльца, склонившись над рыбацкой сетью, лежавшей у него на коленях, и такие же густые, дикие, перепутанные волосы скрывали его лицо. Этот старик штопал сеть, сматывая грубую нитку с большой, размером с ладонь, катушки, плел узлы кривой граненой иглой и что-то шептал про себя — борода его шевелилась, будто в ней поселилась мышь. Третий старик — тоже сидящий на крыльце, столь же седой и косматый, щепил лучину из лодочного шпангоута; деревяшка была с выгибом, с неудобным коленцем, и старик неловко елозил по ней длинным ножом.

Я поздоровался. Три старика повернулись ко мне, бросив свои занятия. Лиц их по-прежнему было не разобрать: волосы со лба падали на глаза. Ногти у всех троих были звериными или птичьими, и волосы

росли так застарело-густо, как могут расти только мох или сорная трава.

Старики непонимающе молчали. Отличить их по одежде было трудно: телогрейки, штаны не стирались так долго, что приобрели одинаковый неопределенный цвет грязи, и всякое новое пятно пропадало в предыдущих; у того, что держал топор, ладонь рассекал шрам, у того, что штопал сеть, в палец левой руки врос наперсток, а в палец правой, как в губу старой рыбы — воткнувшийся когда-то в заскорузлую, желтую, как свечной стеарин, кожу рыбацкий крючок; тот, что щепил лучину, носил на безымянном потускневшее кольцо.

— Собаки куда-то запропастились, — сказал рыбак.

Старик говорил так, будто они по-прежнему оставались втроем; будто они всегда жили втроем, четвертого не было и не могло быть, а потому меня не существовало в поле его сознания, и до конца понять, что здесь есть чужой человек, он смог бы лишь через несколько дней. Их одиночество втроем было старше их самих, в нем потерялось время, и старики состарились не только из-за возраста, но и потому, что дни их жизней были похожи один на другой, и эти дни не приносили им новых впечатлений, а лишь убавляли в памяти прежние.

— Собаки куда-то запропастились, — повторил рыбак, и двое других ответили ему:

— Запропастились.

Голоса их были будто старые вещи, которыми начинают пользоваться после долгого перерыва; звуки неплотно прилегали друг к другу, сцеплялись вкривь и вкось, болтались, как полуоторванная пуговица в прорези. Так могли бы говорить мертвецы, вновь обретшие плоть, но не могущие подладить друг к другу новый голос и прежние слова.

Старик, точивший топор, прислонил его к станку, чинивший сеть воткнул иглу в одежду, щепивший лучину убрал нож за обвислое голенище. Над рекой потянуло ветром с верховьев, откуда я приплыл, ветер зашевелил волосы стариков, отвел их с глаз.

Старики были слепы; рассудок был поражен, и взгляды остановились, как часы, в которых вышел завод. Хрусталик, роговица, радужка, вся оснастка зрения уцелела, уцелела зрительная кора мозга, но сознание отказывалось впускать зримый мир, отказывалось видеть. Глаза были такими, словно спящему приподняли веки, не разбудив его,

и зрачки оказались чем-то вроде окуляров бинокля, направленных внутрь головы, в темный космос сна, куда нет доступа бодрствующему.

Я стоял, не зная, какое время суток сейчас в их головах, есть ли там вообще время; в какой момент они лишились зрения, сохранились ли в их памяти дом, яблони, деревня, река, земли по обе ее стороны, понимают ли они, где мы и кто они сами. За годы слепоты их представления о собственной внешности постепенно исчезли, старики просыпались, каждый раз в некотором смысле не зная до конца, кто проснулся; их жизнь раздробилась на тысячи незрячих бодрствований, разделенных безднами сна, и всякий раз при переправе через эти бездны что-то терялось, но проснувшийся человек не знал об этом: он был заперт в бодрствовании, как в одиночной камере — без возможности восстановить связность своего существования, увидев себя со стороны. Верни им сейчас зрение — и они не узнали бы себя в зеркале: сама человеческая фигура, цельная, геометрически осмысленная, не соединилась бы в их ослабшем сознании с тем обрывочным, остаточным «я», которым они жили.

Старики были братьями, и, перестав видеть, они сделались еще более похожими друг на друга. От незрячести лица пришли в запустение; беспомысленность, упразднившая их жизнь, упразднило и отличия черт. В лицах осталось лишь то, что было вложено родительской кровью: в ущерб живущим в них обрели посмертное существование отцы, деды, прадеды, и казалось, они вот-вот начнут выходить, открывая плоть, как дверь, потянутся один за другим, и, когда выйдет последний, на месте лица будет зиять пустота.

Наконец старики поняли, что в деревню пришел кто-то чужой; они обступили меня, стали водить ладонями по лицу, телу; а я стоял и думал, что действительно достиг края памяти; слепота ссыльных стариков, слепота Второго деда — все соединилось; этого места уже не было в географии, случайному путешественнику эта деревня не откроется, он разминется с ней; здесь была страна, где жили люди из времен Второго деда, целокупная страна, когда-то защитившаяся слепотой от настоящего — и закосневшая в ней. Пока старики вылепливали касаниями рук для себя мой вид, я обдумывал, как не задержаться здесь, не разрушить замкнутость этого мира.

По сути, у стариков была одна память на троих; разъедини их — и памяти каждого в отдельности не хватило бы для полного описания событий, поэтому они часто разговаривали втроем, и возникало сборное поле памяти, живущее только в слове. Я спросил их про яблони, которые нельзя было представить здесь, вблизи Полярного круга, на вечной мерзлоте, не впускающей в себя древесные корни, и они рассказали, что вся деревня стоит на привозной, на ворованной — ссыльным запрещали покидать место ссылки — земле.

Десяток лет люди тайком снаряжали лодки в верховья, где был лес и была почва, рубили там деревья, вязали плоты, чтобы строить избы, а на плотках сплавляли землю; десять лет прошло, прежде чем в деревне появилась первая грядка — до этого ссыльные жили привозными продуктами и охотой. На реке даже ставили кордон, который переворачивал плоты — валить лес разрешалось, а увозить землю — нет; оленеводы подумали даже, что ссыльные едят землю — слишком уж много они ее перевезли, а зачем — неясно, в понимании кочевых людей земля не могла родить ничего, кроме ягеля. Может быть, жители деревни и бросили бы эту затею, но большинство из них были раскулаченные крестьяне, и всю устроительную силу, всю страсть жизни они вложили в расчетливое, не знающее жалости к себе и другим собирание земли, настоящей земли; местную почву они звали коротко — «грязь», она и была грязью, жидкой кашицей на льду.

А уже потом, когда деревня встала на родящей почве, нескольких ссыльных забрали в город, точнее, в лагерь, которым когда-то командовал Второй дед — там устроили ботанический сад, в стеклянных оранжереях с отоплением посадили цветы, чтобы показать, как поднимается ростками новая жизнь на северных пределах, и в полярную ночь из бараков были видны эти светящиеся стеклянные кубы, обтянутые по периметру тремя рядами колючей проволоки. Сад числился по лагерному хозяйству, и не было для местного люда ничего ненавистнее этого сада, пожиравшего тепло и свет, сада, откуда к трапу начальственных самолетов привозили корзины красных цветов, мгновенно стекленевших на морозе; цветы эти разбирали потом по квартирам офицеры охраны, а что оставалось, свозили к памятнику Ленину.

За право работать в саду, в парящей жаре оранжерей шла война, выигрывали ее блатные, и охрана ничего не могла с этим поделаться;

единственный знавший свое дело садовод, бывший хранитель дендрария, скоро был убит, его ткнули оголенным проводом, чтобы занять его место, сад захирел, цветы стали есть, рубить ножом, как зелень, и варить в котелках из консервных банок. И тогда руководство лагеря, которое уже не могло отступить — ботанический сад получил ведомственную славу, в лагерь обещали откомандировать специалистов, расширить сад и сделать его музеем успехов полярной агрономии и садоводства, — руководство лагеря решило собрать бывших крестьян и составить штат obsługi сада из них. Поэтому вспомнили про ссыльную деревню и взяли, не арестовывая повторно, людей оттуда — просто прислали конвой, начальник отобрал десяток человек и отправил в город.

В саду были и деревья — яблони, вишни, сливы; в зиму их укутывали войлоком, ствол обкладывали соломой, но и войлок, и солому крали, чтобы утеплить одежду; у этих деревьев даже ставили часового. Сажены еще недостаточно выросли, чтобы давать плоды, поэтому когда приезжали визитеры из высоких чинов, в любое время года по веткам развешивали фрукты, заранее пересчитанные, чтобы обслуга не прикарманила плодов и потом сдала все до единого по списку.

Но однажды гость решил полакомиться яблоком, обнаружил тонкую леску, которой оно было за черенок привязано к ветке, и с досады швырнул небольшое, светящееся, как фонарик из воощаной бумаги, яблоко «золотой китайки» куда-то в траву; чин даже оскорбился — он по-детски искренне считал, что попал в полярный райский сад, где деревья плодоносят все двенадцать месяцев, и, привыкший ждать обмана от людей, да и сам знаток приписок и липовых отчетов, был неприятно удивлен, что в обман можно вовлечь и природу. Он обошел еще несколько деревьев, приговаривая «не ожидал», «не ожидал», словно деревья сами нацепили на себя плоды, как фальшивые медали, чтобы в таком виде предстать перед ним; брошенное яблоко потом поднял один из ссыльных, приставленных к саду.

Яблоко хотели съесть — это был первый фрукт, который ссыльные держали в руках за много лет; развеску по деревьям им не доверяли. Но сама форма яблока — округлая спелость созревания — насыщала голодные, забывшие все, кроме инструмента, ладони; ссыльные передавали друг другу яблоко, будто только что народившееся в светлой соломе, передавали и ели его глазами — тот случай, когда метафора становится буквальным описанием происходящего: яблоко было духовной пищей, пищей для глаз, которой хватало всем.

Один из крестьян — его считали мудрецом, но слово это было неточно, — он был читчиком и толкователем Писания, из каких выходят главы малых крестьянских сект, верующих истово, да еще и с каким-нибудь вывертом. Когда в бараке кто-нибудь из образованных толковал ему про палеонтологические находки, про животных иных эпох, по останкам которых можно восстановить историю Земли и опровергнуть Библию, он отвечал: «И о вас, ученых людях, Господь, создавая Землю, подумал, подбросил игрушек, чтобы было вам чем

себя занять»; среди односельчан, сосланных вместе с ним, он главенствовал, его ума, где явления и вещи связывались иначе, чем у других людей, побаивались. И этот читчик, неслучившийся сектант, уловил суть происходящего: как Христос накормил тысячи пятью хлебами, сказал он, так и мы нынче вкушаем — многие — от одного плода, а плод не убывает. И чтобы не убывать ему и далее, сохраним его и отправим в деревню — поселение среди тундры упорно называли деревней, — велим посадить в землю, чтобы плод приумножился плодом.

Я мог понять того крестьянина, хотя сам не знал крестьянского труда; я рос вместе с дачными яблонями и половину года жил по яблоневоу календарю; я помню из детства, как весной ударяли заморозки, и по всем садам ночью горели костры, легкий морозный туман мешался с дымом, который в безветрии заморозков держался у земли, и дрожащий, текучий, разогретый воздух окутывал теплом, уберегал яблоневый цвет. Холодной ночью запахи складывают свои незримые опахала, но такими ночами цветы яблонь пахли от жара костров, и казалось, что это запах звезд, запах — обещание.

В августе начинался неумолчный глухой стук — под яблони подстиляли солому, но яблоки все равно были слишком тяжелы, слишком налиты, и солома не до конца смягчала удар; яблоки падали — днем их звук заглушался, а ночью казалось, что в саду стучит хронометр, что началось какое-то другое время, время зрелости. И когда впоследствии я читал о Преображении Господнем, мне помог уяснить смысл его — насколько я мог это уяснить — тот давний образ яблоневого сада в августе, на переломе лета в осень: Преображение свершилось, когда наступило Его время и приблизился Его срок.

Яблоко — это плод времени; и хотя не сказано, что вкусившие с Древа вкусили именно яблоко, какой еще плод мог бы олицетворить те неизвестные плоды Древа на полотне? С яблока началось человеческое время — Сиф родил Еноса, Енос родил Каинаана... Поэтому старик-крестьянин, велевший отправить яблоко в ссыльную деревню, чтобы там выросли яблони, — он пытался запустить, как запускают мотор, время этой новой деревни, вставшей на привезенной почве, укоренить деревню в том месте, где она — по случайности, по выбору тех, кто направлял ссыльных, — оказалась; одно поселение, хоть ему и сто лет,

все же стоит на гольной земле, словно лишь вчера срубили избы, а другое копит время, прорастает в него.

И вот теперь трое стариков сказали мне: мы не случайно точили сегодня топор. Мы решили срубить три старые яблони; они больше не дают яблок, у нас нет дров, а разбирать дома на дрова нет сил. Сруби эти яблони — ты чужой, для тебя они ничего не значат; ты уйдешь, а нам будут огонь и тепло.

Старик-точильщик протянул мне топор на длинной рукояти; около дома под желоб крыши была подставлена старая кадушка с железными обручами, и я, не зная, как поступить, отодвинулся к ней, облокотился; и возникло воспоминание, связавшее кадушку и яблоки, подсказавшее ответ.

Осенней ночью я шел к полустанку на узкоколейке, по которой возили торф с брянских болот; ранним утром полустанок проходил рабочий поезд, и на нем можно было уехать к большой железной дороге.

Болотная ночь иная, чем в бору или в поле; в болотах темнота похожа на грязь, брызгающую в лицо, пропитывающую одежду; кажется, сплунь — и это будет не слюна, а сгусток той же темноты, набившейся в рот. Вторые сутки кряду лило, болотная почва уже не впитывала воды, все кругом хлюпало, пузырилось, текло, в желтое пятно света от фонаря, который я иногда включал, впрыгивали размякшие от дождя, побледневшие, с облипшими ножку перепонками мухоморы, и казалось, что я иду нескончаемыми «ведьмиными кругами»; дождь размывал все, что слежалось за долгую сентябрьскую сушь, от деревьев, от земли, от воды пахло болотной гнилью, закисшей нечистотой, и ею же пах дождь, успевавший, казалось, напиться испарениями трясины. И если в обычной ночи чувствуется движение времени — миновала ли полночь, долго ли еще до восхода, ощущается, как ночь словно течет через тебя, то болотная ночь была как паралич времени, она застыла в какой-то одной точке, и света не было в ней.

Окошко будки у переезда на полустанке, конечно, светило, но это был неживой свет люминесцентной лампы, а я так долго шел в темноте, что сам себе казался болотным чудищем, волочащим за собой то ли тину, то ли водоросли из омутка; я почти уже боялся света, боялся, что сам стал темнотой, что я прохвачен ею, как простудой, и

теперь, если направить на меня лампу, утеку грязной водой за порог, меня бросало в жар, в дрожь, словно что-то трясущее, скользкое и гадкое было проглочено с болотным воздухом, с каплями дождя.

На полустанке дежурила женщина; был четвертый час утра, рабочий поезд приходил в пять. Я не запомнил ее облика: вероятно, она слишком сжилась со своей ролью — выходить ночью и днем к поездам, проверяя, не искрит ли где заклинившая тормозная букса, мелькать во взгляде машиниста фигурой в дождевике или телогрейке, существовать во взаимной безучастности, — поезд идет так быстро, что не разглядеть приветственного взмаха руки, — и только гудок иногда напоминал ей, что ее видят; наверное, что-то случилось в ее жизни, обрекшее ее на затвор в будке на краю болот; она впустила меня, усадила к печке, а сама пошла в угол комнатухи, где стояла тяжелая, распирающая ржавые обручи деревянная бочка. И столько было в ее движении радости, предвкушения заботы обо мне, что я прошел следом за ней: что там, в этой бочке?

Она приподняла волглую, потемневшую, обметанную белесыми усиками плесени крышку, отвернула слой мокрой слипшейся соломы, затем — слой созревшего смородинового листа.

В бочке лежали серебристой, лунной желтизны моченые яблоки, своей младенчески сморщенной кожицей похожие на новорожденные планеты; я отступил — от кадучки с яблоками исходил неяркий свет, сияние давно минувшего лета; этот свет растворил в себе болотную темноту, которую я невольно притащил в дом, мягко, бережно озарил край ее лица, и я понял, что моей хозяйке гораздо больше лет, чем я сперва подумал; утро — утро наступило, и мне на миг показалось, что я — путник, случайно попавший на ночлег к отшельнице-богине, пестующей эти яблоки-планеты, хранящей их вдали от людей, и если она подарит мне одно из яблок, я стану кем-то, кем не был и не думал быть. Яблоки не обещали ни силы, ни вечной молодости — одну только веселую страсть жить; они пахли хмелем без грубости хмеля, чисто, ясно, свежо, и губы уже предвосхищали их прохладный, пузырящийся, кислящий вкус.

Я ответил старикам, что не стану рубить яблони, и обещал набрать топляков на реке; тогда они сказали — постриги нас, и старик-рыбак протянул мне ножницы, такие же, как те, что висели на даче, когда Второй дед предложил остричь меня наголо; почерневшие, угольного

цвета, старинные — это ощущалось по форме ножниц, вычерченной так, словно люди в прошлом иначе кроили ткань, иначе касались вещей, вообще иначе видели.

Я замер; мне показалось, что постричь стариков — предуготовить их к смерти; а они попросили еще и мыла, и я, предчувствуя его запах искусственной свежести, химической чистоты — последней чистоты для них, — испугался; но потом вымыл каждого в бочке с дождевой водой, срезал ножницами длинные спутавшиеся пряди, и старики, переодевшись в белое бязевое белье, стали касаться друг друга, пользуясь один другим, как зеркалом.

Я принес им бревен, напил и наколот дров; старики сидели, привыкая к себе новым — и не могли привыкнуть, сила привыкания иссякла в них, они только слушали, как визжит пила, как звонко бьет в смолистую древесину топор, и эти звуки — звуки начала, дела, строительства, — казалось, доносились до них все тише.

Я не стал спрашивать стариков про остров; их прошлое виделось мне чем-то очень хрупким, неустойчивым; тронь что-то там, в прошедшем времени, — и случится обвал, рухнет подточенная память, сокрушится сердце, сжившееся с болью.

Старики молчали, и я ушел; слова прощания уже не достигли бы их. Шлюпка, подхваченная прибрежной стремниной, поплыла быстро, дома на берегу пропали в сумерках, большое яблоко луны бросило на воду мерцающий свет, и я направил нос шлюпки по лунной дорожке.

Я плыл всю ночь; река пронесла шлюпку над мелями и омутами, над рыбьими спинами; а утром, когда с речных заливов потянулся холодный туман, я увидел остров.

Я узнал его — округлый, безвидный, надвое делящий реку; окруженный туманом, он, казалось, зародился в сгущении речных испарений и вместе с ними исчезнет, когда поднимется солнце; зеленые космы донной травы, струи течения — все стремилось к нему, все на него указывало; он поднялся из вод, как спина кита. Шлюпка ткнулась в песок, и я ступил на берег, след мой, отгиснутый в песке, тут же наполнился водой.

Остров был просто плоскостью, овалом; казалось, эту землю вырезали из середины азиатских степей, где народы кочевали, перевоза с собой свою историю, существующую лишь в памяти сказителей, историю, которую можно было развернуть и свернуть, как юрту; и

тамошняя земля была целиной не только потому, что ее не касался плуг земледельца — лишь оседлость человека дает месту бытие во времени, а там, где человек никогда не задерживался, время не начиналось, и эти места, как остров, на котором я стоял, обособливались в своем несуществовании для общей человеческой памяти.

На острове росли трава да редкие кусты карликовой березки; он весь просматривался, на нем не было ни всхолмья, ни ложбины. Если я что-то и думал найти, то теперь это было бессмысленно: то, что сначала явилось в размерности точки на карте, получило действительный масштаб, но оказалось столь же условно.

Я пошел по острову; туман развеялся, в небе возник черный коршун-падальщик; он облетел остров по кругу, потом снизился — и спикировал вниз.

Там, впереди, была черная дыра.

За сотню шагов стало видно, что это провал в земле: похоже, вода просочилась понизу, размыла грунт, и возникла воронка с неровными краями, в нее лохмотьями свешивался ягель. В этой промоине посреди плоскотины острова и был весь смысл моего путешествия; она была единственной отметиной, единственным отверстием в пływучей земле, которое эта земля не могла сравнять заподлицо, и она опасно и страшно звала к себе. Что-то произошло внутри острова, и земля отверзлась — снизу вверх.

Чем ближе я подходил, тем сильнее от промоины веяло холодом — не воображаемым холодком, возникающим от волнения, от опаски, а именно холодом. Он изгонял слабое тепло северного лета, остужал кровь, но слабел и сам, и в нем медленно оттаивали запахи-призраки, запахи-мертвецы; они плыли, гонимые волнами холода, и казалось, что я подхожу к давнему, заснеженному пепелищу.

Услышав меня, коршун вылетел из воронки; он что-то нес в клюве, не разобрать, что; он поднялся выше, тяжело набирая высоту, и стал летать широкими кругами, видя сверху то, чего не видел я: дно промоины. Черная птица чертила в воздухе ту же воронку, будто заклинала смерч или, наоборот, не могла преодолеть притяжение ямы, настигшее ее и на высоте; черная птица, коршун-падальщик, прижизненно гниющее изнутри существо, которому поэтому не

страшен трупный яд, — я боялся и думать, что уносил он в клюве, что нашел он в промоине, но продолжал идти.

Я остановился, не доходя до края нескольких шагов; я уже видел стенки промоины, пласты льда вперемешку с землей, стенки были источены водой, но вечная мерзлота не таяла, а лишь оплывала, округляясь выступами, гладкими и скользкими; к краю подходить было нельзя — почва расползалась, обнажая лед, скат уходил вниз все круче, но и остаться в трех шагах, не увидев дна, тоже было невозможно: я чувствовал, что если вернусь за шестами, за веревкой, промоина закроется, пропадет, что смотреть в нее можно только таким, каким пришел, не надеясь уберечься.

Осторожно, по миллиметру передвигая подошвы, я приближался к краю; воронка, словно дрящущая горловой спазм, втягивала в себя; мир был велик, она была мала, но вблизи так не казалось: ее малость была опасной малостью пасти, которая будет увеличиваться с каждой проглоченной долей, пока не вырастет в половину мира и не сожрет вторую половину. Пока же эта пасть выжидала, таилась на отдаленном и пустынном острове, набираясь сил, но коршун-падальщик уже знал, куда ему лететь.

Взгляд за край воронки я не помню; то, что я увидел, ударило не по глазам, а со скоростью света распространилось в моем теле, и тело дрогнуло от безвыходности сознания; сознание пыталось скрыться, чтобы не вмещать увиденного, но пути не было, и тогда во всем теле словно угас день; я падал в яму — и падал в темный провал внутри себя; сама почва сознания, столь привычная, столь надежная, что ее не ощущаешь, а ощущения и впечатления лишь накладываются на нее, вдруг расступилась, и под ней задышала тьма; когда закрываешь глаза, внутренний взгляд всегда улавливает какой-то свет, пусть порой и слабый, отдаленный, но тут света не было вообще: меня словно лишили внутреннего зрения, ослепили сознание, отрезали его от органов чувств, и падения на дно я уже не ощутил.

То, что было дальше, происходило не на грани яви и бреда, не в яви и бреду поочередно; я как бы оказался в двух этих состояниях одновременно; кровь из распоротой об острый ледяной заусенец руки текла на лед, она была теплой, но лед не таял, хотя должен был таять; воронка углубилась, стала подобна колодцу, окружье светлого неба отдалилось, сузилось, и в нем кружилось черное пятно — коршун.

Вокруг меня лежали исклеванные трупы зверей — лис, волков, песцов, всех, кто перешел замерзшую реку, чтобы поживиться у промоины, и падал вниз; этими трупами питались птицы — единственные, кто мог спускаться в воронку и покидать ее; от холода вечной мерзлоты мясо не гнило, звери только скрючивались, их тела уменьшались в размерах, и казалось, что все это — дети, невыросшие лисенята и волчата, убитые здесь, в яме-капкане.

Мертвые звери — у одной лисы птичьими когтями был вспорот живот, из кишок вывалились непереваренные тундровые мыши, будто лиса не съела их, а вынашивала, готовясь родить, — отвлекали на себя внимание, не давая взгляду охватить воронку целиком, увидеть то, что притягивало сюда зверье. Стенки бугрились, из них торчали обгорелые бревна, бревна были и на дне — старые топляки, принесенные водой; в том, как они лежали, просматривался порядок, и я понял, что в промоине кто-то пытался устроить землянку, укрывище, а под ним разжечь костер; но, вероятно, от жара пламени стенки подтаяли, и бревна рухнули вниз — на людей.

С этой мыслью зрение мое изменилось, и в черных торфяных буграх, в ледяных наплывах я различил очертания человеческих фигур.

Воронка была полна мертвецов; вечная мерзлота сохранила их нетленными. Отверстие в стене, забитое смытой травой, оказалось ртом; округлый выступ — головой; смешанные с землей, растворенные в ней, мертвые словно тщились вышагнуть, сломать корку льда; то, что показалось мне древесными корнями, было руками; мерзлая плоть обрела цвет земли, и узнать ее можно было лишь по форме.

Черный, серый, оттенки коричневого — пятно моей крови было здесь единственным ярким цветом; когда я смотрел на кровь, я переставал видеть мертвецов — цвет заслонял зрение, слепил яркостью; у мертвых цвета не было, и к каждому вела долгая дорога взгляда, частицу к частице собирающего очертания тела, отделяющего покойника от крученых торфяных коряг, от булыжников и комьев торфа.

Я находился в желудке у земли; здесь лежали мои братья, и нетленность их была не нетленностью святости, а лишенностью смерти. Они не прошли путем тления, срослись с землей, но не стали ею; для всех остальных людей они исчезли, пропали безвестно, и даже

смерть не была той последней вестью, которую мог бы подать человек; а значит, и смерть не случилась до конца; мертвые остались только с мертвыми, живые — только с живыми. Но смерть — это не исчезновение, не мгновенный переход от наличия к отсутствию; умирает один человек, но те, кто вокруг, должны докончить его смертный труд скорбью и оплакиванием; девять дней, сорок дней — часть *события смерти*, которую свершают живые. А если живые и мертвые рассоединены — эта незавершенность, этот вечно длящийся момент, обратившийся в лед, пережимают течение времени.

Я не мог выбраться из воронки; гладкие, ледяные, зализанные водой, ее края не давали опоры; и мне нечем было вырубить ступени. В бреду мне показалось, что я смогу выложить лестницу из мертвецов, если сумею вытащить их из объятий льда; но вдруг пришло спокойствие — выход был в том, чтобы копать яму вглубь, не искать спасения, а углублять провал. И я нашел надломленный сук и стал рыть им смерзшийся торф; рыть могилу — в могиле.

Не помню, сколько времени это длилось; я копал отверстие, колодец, копал сквозь угли, древесную труху, ветошь, копал между замерзшими телами, обходя руки, плечи, ступни; и когда силы оставили меня, я упал там, в своем колодце, упал на мертвеца, и в холодном, остужающем мареве увидел давнее-давнее детство.

Тогда была ночь, срединная ночь осени. Я стоял на носу теплохода, весь его свет был позади, позади были пассажирские каюты и рубка, а здесь, где корабль только начинался, где из-за встречного ветра не слышен был шум его машин, где из всех запахов существовал лишь запах корабельного железа, будто подслеповатый и потому не отпускающий поручней, бортов, палубы, не содержащий в себе ничего жилого, теплого, очеловеченного — здесь было место, которое почти не принадлежало теплоходу; я двигался вместе с кораблем, но как бы на мгновение опережая его.

Темнота и речной воздух, что открывались мне, были иными, чем при взгляде из каюты или с середины палубы. Там свет делал темноту чем-то таким, что лишь обозначает время суток; голоса и музыка отводили воздуху роль официанта, который только и должен что мгновенно подносить нужный звук; здесь, где нос корабля вторгался в самую плоть ночи — и ночь еще не отшатывалась, оставляла распахнутыми подобные раковине створки, открывающие влажное,

студеное утро, я смотрел на ночь как бы изнутри ее самой, тогда как все другие люди на корабле смотрели на нее снаружи, из светящейся люльки, укачиваемой волнами.

Оборачиваясь, я видел корабль так, как его видит темнота впереди по курсу: он догонял, я отступал; я стоял на палубе, но все пассажиры, все столы ресторана, все пальмы в кадках, все постели в каютах, все квадратные кусочки гостиничного мыла в душевых были для меня принадлежностью мира, к которому я сам не принадлежал; повторяющие друг друга, утратившие при таком взгляде различия черт, люди казались чем-то вроде насекомых, ползущих, летящих на свет, но в этом сравнении не было уничижения: сам я тоже не был человеком, и чернота струилась между моих ребер, словно я был ее утопленником, а легкие заполнял дикий, раздерганный ветрами воздух речного фарватера.

Мы дышим одним и тем же воздухом, и наш недавний выдох становится чьим-то вдохом, мы все словно пьем друг у друга с губ, не теряя ни капли; существуем в среде собственного дыхания, как существуем и в среде, обжитой нашим собственным взглядом, где ему все доступно вблизи, где он может проникнуть в каждый закоулок, увидеть любую вещь со всех сторон; поэтому мы и можем на ощупь пройти по квартире — она равно наличествует и в реальности, и у нас в голове.

Я же оказался там, где, если бы не корабль, человек оказаться не может: посреди реки; это пространство для смотрящего с берега спрессовывается в пустоту промежутка и заметно лишь благодаря действию законов перспективы, благодаря существованию другого берега, от которого может оттолкнуться взгляд.

Это укрытие-у-всех-на-виду, которое даже при свете дня не может в объеме, в многомерности открыться стоящему на берегу; тут устраивают игральные ветры; здесь же, если представить, что ночь есть сплошная темнота и всякий свет внутри нее — лишь малый остров, здесь, над водой, находится средоточие темноты, отсюда она выходит на берег, подступает к окнам домов в деревнях, к фонарям на пристанях, окружает, обволакивает и прожектор, и малую свечку, — и сюда, в самое средоточие тьмы, в ее безразмерный резервуар, вошел и продолжал двигаться в нем корабль.

Я стоял на носу теплохода столь долго, что если бы взглянул на часы, то не понял бы смысла этой вещи. Я перестал подмечать, идет ли еще корабль или остановился, есть ли он вообще у меня за спиной; редкие вспышки бакенов, огни домов на берегу, радужными иглами касающиеся ресниц, виделись отстоящими от корабля на дальность световых лет. Темнота той ночи не скрывала, а поглощала целиком, и лишь освещенный электричеством корабль избег этой участи; так, наверное, исчезали леса, холмы, затемненные дома, мосты, заводы, заборы — все предметы, которых не касался хотя бы отблеск света; темнота была словно чудовищная пасть без тела, состоящая из пастей поменьше, и то, что мне казалось сначала плотью моллюска, было беззвучно пульсирующей плотью зева, нутром тысячи глоток. И я не понимал уже, что будь я сейчас в каюте, я видел бы просто темноту, то есть не видел бы ничего, и не знал бы, сколь близко подступает к человеку небытие, и не чувствовал бы провозвестие смерти в умирании цвета и утрате черт; я был целиком отдан ночи, целиком открыт ей.

То не глаза мои слезились от холода и ветра — то весь мир стал текучим, зыблущимся, неверным, в воздухе открывались незримые прорехи, и он проваливался сам в себя, как земля; а земля, берега — все пустилось в плавание, все сорвалось с якорей, и все те силы, что удерживали мир в неподвижности, теперь, высвободившись, сталкивались, свивались в жгуты, связывались узлами и вновь рассоединялись над шаткой пустотой фарватера.

Чувство, возникшее во мне тогда, было много старше меня; оно принадлежало кому-то из столь давних моих предков, что нас связывала не наследственность черт и даже не память тела: оно сохранилось, свернувшись в кровяных тельцах внутри костей, вытянувшись в нитях спинного мозга.

Мне казалось, что пустота вопиет; когда ветер чуть стихал, я слышал колеблющееся пение, схожее с игрой каменных эоловых арф, никогда не восходящей до музыкальности, выражающей лишь одномерную, отлитую в кристаллические формы тоску вещества; пение доносилось издалека, словно через ряд неких окон, то открывающихся, то закрывающихся; и с этим пением, то близким к вою, то утончающимся до звучания флейты, во мне возник первородный ужас, страх небытия, настолько древний, что это чувство

не знало, что оно — ужас и страх, как зверь не знает, что он — зверь. Наверное, это чувство испытал первый человек, сумевший разделить в сознании себя и факт собственного бытия — и обрекший себя знанию о смерти; знанию еще бессловесному, насквозь пронизывающему позвонки, соединяющему кости, мышцы, мясо в телесный состав.

Эоловы арфы пели над срединной рекой, над аортой великой равнины, черная вода пенилась под ветром, и каждая волна была как толчок крови; отверстая пасть темноты пила реку, и не было в мире вертикальных черт, не было расстояния между небом и землей.

Но вдруг из пляшущей тьмы возникло нечто белое, недвижно стоящее в русле реки, похожее на огромную кость о четырех суставах; а сбоку, на берегу — черное, чернее окружающей темноты, гигантское ухо, растущее из холма и обращенное к небу, слушающее эоловы арфы.

Белый силуэт действительно выглядел как утолщающаяся книзу кость, которую кто-то вставил в пасть зверю, чтобы зверь не мог сомкнуть челюсти. Белизна его была благородной белизной мрамора, бесстрастной, дарящей статуям отрешенность от мира; темнота пыталась зачернить ее, но не могла: белый цвет не обладал свечением, но и не давал другим цветам смешаться с собой.

Белый столп возвышался среди вод, он приближался, и все яснее становилось величественное спокойствие его форм. Пять ярусов восходили один над другим, как паруса, и теперь казалось, что это корабль, высокий парусник, идущий встречным курсом. Среди хаоса и разлада ночи, среди темноты, размывающей любые границы, любые линии, уничтожившей горизонт, смешавшей небо и землю, белый столп наново разделял их; его отвесные ярусы, нижние ступени великой лестницы, выстраивали ярусы небес, его устремленность ввысь задавала вертикальную ось. Белый столп соединял колонны, портики, ярусы в одно целое; четыре стороны столпа расчерчивали пространство, отделяли одну от другой стороны света, возвращали верх — верху, а низ — низу. В трех центральных ярусах столпа видны были проемы, похожие на замочные скважины; пустующие ниши, обещание незримых врат, готовых открыться над шпилем, на высоте головокружения.

Вся темнота, сколько ее было в ночи, отступалась от столпа; эоловы арфы пели в пустоте проемов, но в звуке этом больше не было

ужаса, лишь тоска безъязычия; черное ухо земли слушало белый столп, как будто он был — слово. И мир вернулся в свое русло, обрел твердое основание в белом столпе посреди черных вод.

Рев туманной сирены со встречного судна оглушил меня, перекрыл страх ума мгновенностью физического испуга, и я узнал, где я. Мы проплывали над старым затопленным городом, от которого осталась лишь колокольня, которую забыли взорвать и оставили как ориентир для судов; эоловы арфы были сгустками ветра, обращающимися под сводами звонниц, а черное ухо на берегу — космической антенной узла дальней связи.

В глубине под килем корабля стыли занесенные песком фундаменты, плыли над давними мостовыми утонувшие листья; в реке наступала своя, подводная, осень, рыбы прятались в осевший с лета ил, раки рыли норы в земле бывших огородов, а на берегу днями чистили днища прогулочных лодок.

Но был и белый столп, белая лестница к незримым вратам в вышине; они существовали так же объективно, как колокольня — но в другом регистре зрения; белая лестница явилась мне на дне ямы, и когда я очнулся, я ощутил, что мертвец, на которого я упал, согрет теплом моего тела; в руках у него был топор — один из тех, что давали ссыльным для обустройства, — я смог вынуть топор из неживых пальцев.

Я вырубил ступени во льду; я был первым, кто выбрался из этой ямы, — и я чувствовал, что провал после этого закроется, исчезнет, его замочит в половодье; живые и мертвые встретились, и мое тепло стало их теплом.

Шлюпка несла меня к Ледовитому океану. Я чувствовал, что я безумен, что во мне — вирус знания, которого не должно передавать живым; что-то еще было недопонято, и без этого понимания знание оказывалось губельным, смертоносным.

Река становилась все шире, рана саднила, поднималась температура; безумие стучалось в виски, и ко мне возвращалась память о давней встрече с сумасшедшими, о Втором деде, в котором я чувствовал ту же горячку, тот же вирус, тот же страх.

В детстве мы гуляли с ним в окраинном парке; там пахло подкисшим гороховым супом; запах этого супа — где бы ты его ни почуял, — всегда через несколько минут материализовывал забор, с

«колючкой» или без, но непременно глухой; воздвигал за ним блочную или кирпичную коробку. Так было и здесь: за бетонной оградой виднелось здание психбольницы.

Я вел Второго деда парковыми дорожками и рассказывал, что вижу; внезапно из-за забора донеслись птичьи крики больных — они словно общались на своем, недоступном врачам языке, в котором были свободны или действительно сместились куда-то ближе к чайкам, и казалось, что люди вот-вот взлетят, рассядутся на сучьях и начнут обрастать перьями. Второй дед вздрогнул; это было так необычно, что я испугался. Он никогда не вздрагивал, словно все его тело было отморожено, а тут вдруг некое воспоминание сначала толкнуло его, а потом выгнуло; он попытался притвориться, что потягивается от усталости, но притворство не помогло: птичьи вопли сумасшедших — редкий, редчайший звук для человеческого голоса — напомнили ему что-то из прошлого, что не могло потеряться среди других звуков, поскольку не походило на них, и Второй дед прошептал, думая, что я отошел и не слышу: «я не сойду, не сойду!» — прошептал и застыл на пятачке земли, сдвинув ноги, словно и вправду стоял на узком светлом месте своего сознания, не сходя в сторону, чтобы не оказаться во власти каких-то темных вихрей, увлекающих, уводящих его.

Потом, когда крики стихли, Второй дед подробно расспросил меня, как выглядит больница и даже, к моему удивлению, — нет ли щели в заборе, чтобы посмотреть, что там за больные. Щель нашлась, но больных уже увели; я видел только шиферные навесы — такие же были в детском саду — и двоих санитаров, поочередно катающих друг друга в инвалидной коляске: они носились по асфальтовой дорожке, объезжая куски кирпичей, и безрадостно, но возбужденно хохотали.

Впоследствии я вернулся в этот парк уже взрослым; вернулся, собирая воедино память о Втором деде — и встретился с сумасшедшим, бежавшим из больницы.

Человек мчался по лесу, мчался дико: словно двигался не он сам, а кто-то другой, скрюченный, стиснутый в тюрьме его тела; человек в человеке. Этот узник и бежал, и одновременно пытался высвободиться; беглец падал на землю, катался по листве, бился об деревья; крик его доносился глухо, словно он кричал животом. Но и бег, и припадки были лишены стремительности, тело противилось, тело связывало беглеца, иногда оно побеждало, и человек

останавливался, делал несколько бессвязных шагов, не зная даже, как он здесь оказался, но потом вновь, заплетаясь, спотыкаясь, бросался в бег; так мог бы спастись кто-то, зашитый в звериную шкуру или в мешок.

Беглец приблизился, и я смог увидеть его лицо — пустое, не отражающее ни одного чувства из тех, что взрывались сейчас в его крови; лицо, немного стекшее с черепа вниз под собственной тяжестью.

Сумасшедший бежал к реке; илистой, заваленной шинами, ржавым железом, но все же местами глубокой; достаточно глубокой, чтобы утонуть. Речку эту наверняка было видно из окон больницы; замусоренная, грязная, вонючая от стоков, она не замерзала зимой, только густо парила, и в морозы над ней собирался едкий, цвета собачьей мочи, туман; от речки веяло нехорошим, как от изгаженного проема между гаражами, в ней были какое-то самоутверждение в самоуничтожении, какое бывает у алкоголиков в последней стадии, какое-то приглашение к распаду; не случайно по ее берегам собирались выпивать все окрестные бродяги, мутные, как ее заиленная вода. Значит, беглец не был до конца сумасшедшим, он опознал, разобрал, что есть эта речка, и бежал теперь, чтобы покончить с собой.

Санитары отрезали его от речки; видя это, беглец схватил бутылку, разбил ее о дерево и стал колоть себя, но «розочка» вышла с короткими зубцами, и он только кровянил свои стиснутые припадком мышцы, неглубоко раздирал кожу.

Я тогда вспомнил, что уже видел *так* бежавшего человека.

Несколько лет я приезжал работать на дальний горный прииск; в тех местах дороги существуют только зимой, когда замерзают болота и укатанный снег схватывается крепче асфальта; летом туда можно добраться только на вертолете. Из-за отдаленности эти места становятся тайниками времени, отделенными от общей жизни страны; там висят на закрытом клубе лозунги, белые буквы на красном, избирательные урны туда доставляют тоже вертолетом, а попутно прилетает милиция — разобрать ссоры, кражи и прочие мелкие преступления за полгода; по сути, там нет власти, кроме приискового начальства, нет примет обновления времени, и в эти края со всей страны как-то собираются люди, нигде не приткнувшиеся, не устроившиеся, те, кто не может войти в жизнь, как в быстро

крутящуюся дверь. Там, на отшибе, возникает единство тех, кого нигде не ждут, кому некуда писать.

Это сильные люди, но что-то упущено, утрачено; они по необходимости жестки, но твердость и жесткость не дают им что-то ощутить, что-то понять. Это сильные люди, которые подспудно боятся жизни; постепенно утрачивают себя, распадаются незаметно, по частице; они могли бы черно тосковать, болеть душой, но внутри нет способностей к тоске, к сильным душевным движениям, и поэтому им остается пить, бросать себя в браваду и ухарство.

Летом-то еще ничего, есть ощущение простора, перемен погоды, соразмерных маете в душе. А зимой, когда только темень, снег, все замело и ты один в бараке, непроговоренные мысли о тщете жизни исподволь начинают подтачивать тебя. И ты не знаешь, что делать с этими мыслями, у тебя нет привычки взаимодействовать с ними, безопасно впускать их в свои орбиты. И ты становишься не нужен сам себе; с тебя снимается защитный каркас силы и жесткости, а других защит у тебя нет.

На прииске жили в больших железнодорожных цистернах из-под солярки или мазута; их когда-то привезли на подвеске вертолета, врезали двери, настелили пол, утеплили металлические стены и проделали круглые оконца; но это все равно была жизнь в подводной лодке, стоящей посреди гор.

Там было двое друзей: Миша-не-разлей-вода и Коля-не-разлей-вода, местный радист и один из проходчиков. Их так и звали — Не-разлей-вода, числили за одного человека; они на паях владели единственной на прииске стиральной машиной, в которой гнали брагу-скороспелку, вдвоем охотились, — шутили, что для них оружейники и изобрели двустволку. Они единственные из всех мужчин никогда не ссорились между собой, в драке вставали плечо к плечу; и было даже что-то странное, неестественное в их взаимной приимчивости, словно между ними не было трения как свойства материи. Я приезжал год за годом, что-то менялось, люди сближались и расходились, но эти двое неизменно были вместе, и с какого-то момента мне начало казаться, что это не кончится добром; что однажды — по пустячному поводу — произойдет взрыв, и двое люто схлестнутся, возмеща с лихвой многолетнее смирение пред чужими слабостями; мне казалось, что они уже ненавидят друг друга, только еще не знают об этом, и каждый

дружеский жест, каждая услуга, каждое слово только добавляют масла в будущий огонь.

Я не знаю, почему я стал так думать; тени ли будущего запали в их лицах, а может, вся их остальная жизнь что-то показывала; у радиста перед домом лежала друза прекрасного горного хрусталя, «щетка» мелких, в сантиметр, прозрачных кристалликов, и об эту щетку входящие вытирали ноги; когда друза загрязнялась, радист выбрасывал ее и клал новую; проходчик однажды спас и выходил собаку, которой вездеход отдал лапу, и пес отблагодарил его — хромой, прибежал в зиму, в мороз, когда проходчик пьяный упал в снег на пути к дому, растормошил, не дал уснуть — и замерзнуть; а потом в следующую зиму износилась шапка, и проходчик застрелил пса на мех для ушанки. Эта друза хрусталя, о которую вытирали ноги, этот убитый ради шапки хромой пес, спасший когда-то жизнь хозяину, — все оно не могло быть случайно, все выдавало внутренний кураж распада; все это сходило с рук, принималось за финты характера, за тяжелую мужицкость, и отравная эта гниль глубже и глубже поражала обоих.

Разрешилось все в одну зимнюю ночь; радист и проходчик пьяные шли с базы на свой участок; как потом рассказывал проходчик, радист упал, попросил спичек разжечь костер — стоял сильный мороз, но проходчик не дал — у него осталась только одна спичка, а он еще рассчитывал перекурить на полпути, и так ему хотелось высморчить эту «беломорину», что он пожалел спички, да к тому же думал, что радист придуривается, скоро встанет и пойдет; радист стал ругать проходчика — жалеешь, мол, спичку. И тут проходчика взяла обида, он спалил эту спичку и пошел один к поселку, будучи уверен, что радист отлежится и пойдет за ним. Но радист был слишком пьян, он уже не мог встать, крики его уносил в горную ложбину ветер, и он замерз, уснул, коченея; в пальцах его нашли ту сожженную спичку.

Вызвали вертолет с милицией; проходчик, когда узнал, заперся в своем металлическом, из цистерны, балке, и стрелял по каждому, кто приближался; труп вытащили на волокуше и положили на бильярдный стол из предбанника шахтерской душевой. Дизель электростанции на прииске работал до восьми, и потому вечером играли в бильярд в шахтерских фонариках на голове; у стола были прорваны сеточки, подвешенные к лузам, и шары всегда укатывались в сырой мрак.

Теперь стол стоял за стеной душевой, ножки утопи в снегу, и на нем лежал мертвец; в волосы ветром набило снег, голова казалась смерзшимся капустным кочаном — бывает такая белая хрустящая капуста, листья у нее волнистые, почти кудрявые; рот, ноздри, все забило снегом, и голова без отверстий была скульптурна, словно мастер отвлекся на минуту и сейчас вернется — прорезать глаза, рот, ноздри. Снег все крепчал, поднялся буран, милицейский вертолет, не долетев, повернул, горы заплясали волнами, утробный звук стал доноситься из металлических капсул цистерн, когда по ним с размаху ударял ветер; трое суток люди сидели по домам, выпивали за помин души, и я тогда вспомнил рассказ радиста о его детстве.

Радист родился в том поселке, где стоял, ожидая летной погоды, милицейский вертолет; отец его был радистом на дальней полярной станции, на одном из тех островов в ледовитых широтах, которые — в картографическом смысле — использовали как бумагу для поздравительных открыток; они названы в честь принцев и генералов, позабытых политических деятелей, капитаны полярных судов именовали их в честь возлюбленных, ученые — в честь своих учителей; советская власть давала островам имена газет, институтов, награждала именными островами; на карту наносились реалии нового времени — возникали острова Большевик, Пионер, Комсомолец, остров Октябрьской Революции; весь этот архив поздравительной переписки посредством географии хранится на антресолях высоких широт.

На одном из таких островов стояла метеостанция; там работали трое — начальник станции, метеоролог и радист. Раз в полгода к ним прилетал самолет; под посадочное поле выбиралась льдина покрепче, привозили еду, газеты, курево и питание для радиопередатчика. Раз в полдня станция выходила в эфир — сообщить сводки погоды; по ним, одним из многих, делался прогноз для судов и аэропортов. Радист и начальник станции были партийные, проводили, выставив метеоролога из избы, партсобрания; но однажды летом, когда самолет не мог сесть у станции — льды таяли, радист принял радиограмму: ему, как члену партии, поручалось арестовать начальника станции — бывшего начальника, в той же радиограмме радист объявлялся и.о. — как врага народа; арестовать, изолировать и отправить самолетом, который прилетит через два месяца, на Большую землю.

Арестовать и изолировать — на острове, где была единственная изба без перегородок внутри; арестовать и изолировать — человека, с которым радист работал вот уже четыре года, четыре зимовки; арестовать и изолировать; радист подозревал, что если он так не поступит, метеоролог впоследствии выдаст его; радиogramму он принял — и прием подтвердил.

Радист арестовал своего начальника — объявил ему содержание радиogramмы; вместе с метеорологом они выкопали в мерзлом грунте землянку, сложили там каменную печь, нары, и бывший начальник сам перешел туда; они бы могли просто оставить его свободным на острове, откуда невозможно бежать, жить с ним эти два месяца в избе, но радист не знал, что думает метеоролог, метеоролог не знал, что думает радист, и любой вопрос, любое слово могли потом составить приговор.

Радист думал, что начальник будет бранить его, попытается убить; но тот сидел в землянке, утепленной многослойным, пропитанным резиной брезентом от палаток, ел свою порцию пищи, оказавшуюся пайкой, и только попросил принести ему атлас. Получив его, начальник отрешился от своих товарищей; говорил сам с собой, будто их уже не было рядом.

А за день до того, как должен был прилететь самолет, бывший начальник ночью — белой летней ночью — связал обоих; они учредили пост, чтобы его охранять, но метеоролог уснул; связал, забрал карабин, одежду, продукты и ушел во льды, к полюсу, прихватив тот самый атлас, над которым просидел два месяца.

Как потом говорил радист, начальник пожалел их — чтобы не мучились, сдавая его прилетевшим; самолет потом долго кружил надо льдами, но так и не нашел беглеца — льды расходились, всюду чернели долгие, на километры, полыньи. Наверное, какая-нибудь экспедиция еще может найти этого человека, его окоченевшее тело; застрелился ли он, утоп, обессилел от голода; радист вспоминал, что начальник был светло безумен, когда уходил; его достали на самом краю обитаемого мира, заперли в клетку слова среди ледяной пустыни, среди открытости всем сторонам света, и, заключенный в слово, прижизненно умерщвленный буквой, он все повторял заученные наизусть строки радиogramмы, искал среди них то самое, тюремное,

кандальное, слово — и не находил, так и ушел во льды, просеивая, взвешивая каждую букву — не она ли?

Радист потом был судим, а после постарался исчезнуть в самый глухой поселок, со всех сторон окруженный тайгой и горами; он стал бояться открытых мест, ему мерещилось, что он все время на виду, слишком приметен; а потом он сошел с ума, утверждал, что в окружности не триста шестьдесят градусов, а больше, и между градусами есть какие-то щели, в которые можно протиснуться, только с виду маленькие и незаметные, а на самом деле широкие; его списали с работы, когда во всех радиограммах он стал видеть одну, с приказом арестовать самого себя, и трясся, и рвал журнал, а потом принимался отбивать сообщение в никуда, что он знает, где искать своего бывшего начальника, что начальник убежал от них на острове через ту самую щель между градусами, и если этот случай исследовать, выйдет большая польза, потому что наверняка к нам через эти щели проникают незамеченными шпионы; он умер от разрыва сердца, когда ему пришлось идти через летное поле.

Сын, тоже радист, говорил об отце отчужденно; пересказывал его мучения через свои — каково было с таким отцом; отец все доверил ему, а сын тяготился этим доверием, не знал, что делать с отцовской откровенностью, она угнетала его, он стыдился отцовского надлома, спешил все это передать, проговорить, чтобы хоть частью высвободиться; а погиб так же вывихнуто, нелепо, будто искупая грех отца; жизнь обернулась безделкой, горелой спичкой.

Буран держался трое суток; потом снег стал утихать, люди откопали входы в дома, тучи неслись еще быстро, солнце, проглядывавшее меж ними, просвечивало взвихрения облаков, колодцы, провалы, и солнечный свет достигал темного дна этих колодцев, разверзавшихся в небе; солнце было грозно, перевозданно, словно переродилось за три дня бурана, в лучи его влились блики того света, что сиял огненным столпом и неопалимой купиной в пустыне. Снег еще падал, налетал зарядами, и в каждом заряде чудилась то ли конница, то ли летучие фигуры.

Сугробы перед балком проходчика вылизало до наста, и вдруг все увидели, что он бежит, бежит прочь из дома, проваливаясь, пробивая наст, но снова выдерживая ноги, будто земля ловила его; бежит — и стреляет в небо, словно отстреливается от кого-то, кто там, наверху,

неуловимый и легкокрылый, преследует его. Патроны вываливались у него из карманов, он падал, лицо его было раскровавлено, руки красны, но он переламывал двустволку, целился на бегу и стрелял, бил не дуплетом, а по очереди из двух стволов, успев переместить ружье; стрелял и бежал к высокому обрыву, кручами нависавшему над ручьем.

Легкие лучи света озаряли над ним снежные заряды, области глубоких, искристых мерцаний перемещались в небе. Беглец стрелял во все, что, как ему казалось, близится к нему сверху, настигает, нагоняет; в любом приближении, тени ли, солнечного луча, — он видел угрозу и бил в ответ из ружья.

Кто-то сказал, внутренне все поняв: «От ангелов отстреливается».

Сумасшедший в парке тоже бежал так, будто за ним гнались совсем не санитары; и теперь, лежа в шлюпке, плывущей к океану, чувствуя в себе безумие, я изнутри этого безумия увидел, как скитаются души, несущие и тяжесть грехов, и беспамятство рождения; как, спеленутые телом, бегут они от ангелов, которые одни могли бы спасти их, думая, что это явились за ними ангелы возмездия; спешат разорвать узы жизни, но, заточенные в крепость тел, обречены нести все неслучившееся, непонятое, неузнанное до конца и даже не знать, чем они мучимы; и я ощутил, что безумие отступает, жар его уходит, и крови Второго деда, которому почудился в птичьем вопле сумасшедших крик раздавленного на лесоповале резчика, — этой крови больше нет во мне.

...Меня подобрал рыбацкий сейнер; силой маятника меня протащило с Севера на Юг, через поезда, вокзалы, аэропорты, автобусы — на берег Атлантики, под бок Африки; я был обратным движением, возвратным ходом времени, меня сжало и выбросило; и теперь я стою на пределе Европы и начинаю путь назад — в слове.